ВАЛЕРЬЯН ПОЛЯНСКИЙ
(П. И. ЛЕБЕДЕВ)

ПРОВЕРЕНО
в 19[illegible] г.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА—1935

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПУТЬ РАЗВИТИЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

I

В конце 1858 г. Чернышевский сидел у Кавелина, и между ними завязался разговор о Добролюбове. Искренно и с сожалением Кавелин говорил: «Странное дело, я не могу чувствовать к Добролюбову того мирного расположения, как, например, к вам. Отчего это? Образ мыслей у нас, повидимому, одинаков; а как человек — он превосходнейший человек; мое мнение о его сердце и характере доказывается тем, что я допустил его совершенно овладеть мыслями моего сына, чего не сделал бы, если б мог считать что-нибудь дурным в Добролюбове. Но отчего же я чувствую, что он совершенно чужд мне, между тем, как, например, вы не вовсе чужды».

Чернышевский ответил: «Это оттого, что в Добролюбове нет тех слабостей и шаткостей в мыслях и характере, которые дают вам некоторые точки опоры, чтобы притягивать мой образ мыслей и поступков в некоторое согласие с вашими требованиями. Взгляд его тверже и яснее, чем у меня, потому не остается у вас возможности понимать его в вашем смысле, как можете вы в значительной степени делать с моим взглядом».

«Да, — заметил Кавелин, — вот вы принадлежите к поколению, которое должно итти дальше нашего, а поколение Добролюбова должно находиться в таком же отношении к вашему; между вами и нами есть связь; между вами и ими тоже есть связь; а между нами и ими, видно, уже нет и связи. Что ж делать? Это грустно для нас; но так нужно для прогресса».

Кавелин прав: между ним и начинающим писателем ничего не было общего. Один либерал, другой демократ, революционер. Один разошелся с Герценом, считая его деятельность чрезмерно революционной, и впоследствии приветствовал арест Чернышевского; другой порвал с Герценом как с человеком, оставившим путь революции. История отодвигала либерала на задний план; революционер шел на передовые позиции. Если бы не ранняя

смерть и иначе сложились социально-политические условия, Добролюбов несомненно был бы во главе крестьянской революции.

Когда Добролюбов умер, реакционная журналистика старалась не только снизить общественное значение молодого критика, но пыталась свести его на-нет. Отличался «Русский Вестник», на страницах «Библиотеки для чтения» усердствовал Е. Зарин. Чернышевский с презрением ответил этому бездарному пошляку: «Мы не были, милостивый государь, так тупы и глупы, чтобы не считать его первым человеком в нашем кругу».

Действительно, литературная деятельность этого замечательного юноши в сущности равнялась всего четырем годам, но он сумел подняться на такую высоту общественной мысли, какая только была возможна в условиях русской экономической действительности того времени. Рядом с ним стоял только один человек — Чернышевский.

Добролюбов — исключительный человек и как литературно-художественный критик, и как представитель революционной демократии 60-х годов.

✓ Добролюбовым интересовался К. Маркс. Николай — он, направляя ему сочинения молодого критика, писал: «На-днях я послал вам произведения одного из лучших русских публицистов и критиков — Добролюбова. В часы отдыха они доставят вам настоящее наслаждение. Надо заметить, что автор умер очень молодым: ему было только двадцать пять лет. Он был другом автора «On Mill's Pol. Economy» («Примечаний к политической экономии Милля»). Маркс ответил: «С сочинениями Эрлиба я отчасти уже знаком. Я сравниваю его как писателя с Лессингом и Дидро» [1]. Маркс читал «Темное царство» и другие статьи, делая на полях книги различные пометки.

✓ Очень высоко ценил Добролюбова и Энгельс. В 1884 г. проживающая в Лондоне Евг. Паприц, в связи с предполагавшимся нелегальным изданием в Москве журнала «Социальное Знание», обратилась к Энгельсу с просьбой указать, где и какие мало известные работы Энгельса можно достать для перевода и напечатать в предполагавшемся журнале. В своем письме Е. Паприц высказала мысль, что русские революционеры живут больше чувством, а «прочных принципов», «настоящих научных знаний» не имеют [2]. На это Энгельс ответил ей указанием, что у нас были школы, более известные революционным пылом, чем научной мыслью, и все же не было недостатка ни в критическом духе, ни в стремлении к чисто теоретическим исследованиям достойной нации, которая произвела Добролюбова и Чернышевского. Истори-

---

[1] «Летописи марксизма», II (XII), 1930, стр. 42.
[2] «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. 4, стр. 363.

ко-критическая школа в русской литературе бесконечно превзошла, все что сказано в этом отношении официальной наукой Франции и Германии [1]. Еще раньше, в 1874 г., Энгельс писал: «Страна, давшая двух писателей величины Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов, не погибнет еще от того, что породила вдруг такого шарлатана, как Бакунин, и несколько незрелых студентов, которые по-лягушечьи пыжатся громкими словами и, в конце концов, друг друга пожрут» [2]. Более высокой оценки нельзя ожидать.

Внешними событиями короткая жизнь Добролюбова не богата; в ней нет ничего такого, что могло бы поразить и захватить блеском, трагичностью, необычайностью событий и положений. Это обычная трудовая жизнь литератора того времени. Над свежей могилой критика Некрасов сказал: «Бедное детство в доме бедного сельского священника; бедное полуголодное ученье; потом четыре года лихорадочного неутомимого труда и, наконец, год, проведенный в предчувствии смерти,— вот и вся его биография». К словам поэта-друга мало что можно прибавить, кроме поправки о сельском священнике [3]. Жизнь Добролюбова глубока и поучительна своим внутренним содержанием, величайшим напряжением мысли и чувства.

Богатый, быстрый внутренний рост этого талантливого юноши представляет исключительный интерес.

★

Добролюбов родился в Н.-Новгороде 24 января (ст. ст.) 1836 г. в семье священника. Учился в духовном училище и семинарии. Семья жила небогато, но и не нуждалась. Отец обладал замкнутым характером, целиком был поглощен обязанностями священника, которые выполнял серьезно, с сознанием долга, а также заботами по дому. Сын относился к нему скорее с уважением, чем с любовью. К матери же, женщине умной и сердечной, у него была самая глубокая, самая нежная любовь. Деспотического настроения в семье не было, — чувствовалось хорошо и свободно. Однако уклад жизни был таков, что мальчик не мог удовлетворить свою пытливость, свои природные способности. Мало давало ему и ученье. В училище и семинарии он был лучшим учеником, поражая своей начитанностью товарищей и учителей, но он сам

[1] Приводимое письмо Ф. Энгельса еще не опубликовано.

[2] «Под знаменем марксизма», 1922 кн. 5—6, стр. 57.

[3] Желающие детально ознакомиться с биографией Н. А. Добролюбова со стороны фактической могут прочесть: *М. Клевенский.* «Н. А. Добролюбов». Биографический очерк к Полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова, Гослитиздат, 1934. — *Н. А. Добролюбов,* «Дневники», под ред. Вал. Полянского, изд. 2-е Всесоюзн. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1932.

признавался, что семинарское образование слишком мало привлекало его. «Глупое зубрение уроков» не давалось ему, «гораздо более нравилось чтение книг, и вскоре оно сделалось его главным занятием и единственным наслаждением и отдыхом от тупых и скучных семинарских занятий». Он «читал все, что попадалось под руку: историю, путешествия, рассуждения, оды, поэмы, романы,— всего больше романы. Начиная от Жанлис и Ратклиф до Дюма и Жорж Санд, и от Нарежного до Гоголя включительно, все было поглощаемо с необыкновенной жадностью». В семинарии научился он писать на различные темы большие сочинения на русском и латинском языках, «искусился немного в философии»; но ясно сознавал, что «все это по-семинарски, и надо еще в этом отношении очищать и сглаживать познания, чтобы сбросить с них всю пыль и шероховатость школьного изучения».

Свою семинарскую обстановку Добролюбов ярко характеризовал в своем дневнике: «Осужден вращаться в этом грязном омуте, между этими немытыми, нечищенными физиономиями, в этой душной атмосфере педантских выходок, грубых ухваток и пошлых острот... И ничего в вознаграждение в эту бедственную жизнь, ни одного светлого проблеска ума и чувства в этой тьме невежества и грубости, ни одного отрадного дня за дни и месяцы тоски и горя». Даже лучшие воспитанники скверно влияли на юношу. В. Лаврский, например, научил его, «по природе серьезного, смеяться над всем, что только попадется на глаза», заставил его, «человека довольно основательного и медленного, смотреть на предметы поверхностно, произносить о них суждение, посмотревши только форму и не касаясь содержания»; из ума его «он сделал остроумие, из презрения ко многому — насмешку над этим многим, из внимательности — находчивость». Радостные воспоминания у него только от преподавателя И. М. Сладкопевцева.

Отец Добролюбова был человек умный, образованный. У него была по тому времени обширная библиотека, свыше 650 томов. Половину книг составляли книги «светские». Духовный сан не помешал ему иметь у себя «Дух законов» Монтескье, «Энциклопедический словарь» Плюшара, «Опыт о человеке» Попа, «Повести» Бальзака, «Отечественные Записки», «Современник», «Вестник Европы». Большинство книг было прочтено мальчиком ранее 1849 г. Мальчик брал книги и у знакомых, сначала у известного знатока музыки, автора биографий Моцарта и Бетховена, Улыбышева, а потом у князя В. А. Трубецкого, жившего в их доме и всегда радушно принимавшего мальчика. Добролюбов вел реестры прочитанных книг; из этих реестров видно, что за 1850—1852 гг. он прочел Державина, Богдановича, Лермонтова, на латинском языке «Horatii Opera». Одновременно он вынужден был

писать сочинения на темы «О необходимости для человека божественного откровения» или «Голос православной церкви имеет ли силу, равную свидетельству св. писания?», засоряя свою мысль богословской схоластикой.

К концу 1851 г. у Добролюбова определилось желание поступить в университет. Он серьезно думал о своих занятиях и подготовке к вступительным экзаменам. Тянуло его к журналистике, ему хотелось быть в кругу известных литераторов, но отсутствие средств для университетского образования и желание родителей видеть сына в духовной среде изменили планы. Осенью 1853 г. Добролюбов поехал в Петербург поступать в духовную академию, но совершенно неожиданно стал студентом историко-филологического факультета Главного педагогического института.

Институт не семинария, но и в нем задачи образования сводились к тому, чтобы «окончившие курс студенты были готовы знаниями своими и верною службою государю принести честь месту своего воспитания», «чтобы они не ослепились приобретенною ими мудростью», а всегда помнили слова учителя церкви: «Не надо знать, чтобы веровать, а должно веровать, чтобы знать». Добролюбов сумел через все это перешагнуть. Полки в его шкафу ломились от книг. Он читал художественную литературу, изучал Ж. Ж. Руссо, левых гегельянцев: Руге Бруно Бауэра, Дав.-Фридр. Штрауса, Людвига Фейербаха, Белинского, Герцена, внимательно следил за «Отечественными Записками» и «Современником», зачитываясь статьями Чернышевского. Следил он и за русской заграничной запрещенной прессой, за «Колоколом» и «Полярной Звездой» Герцена. В январе 1857 г. он спорит о Герцене с С. П. Галаховым, сыну которого давал уроки; в этом же году он дает товарищам читать сочинение Герцена «О развитии революционных идей в России».

Осенью 1854 г. в институте образовался кружок, «добролюбовская партия», как его называли. Пошли споры — сначала о «верованиях», а затем на философские и политические темы. Член кружка Б. Сиборский в своих воспоминаниях рассказывает, что Добролюбов был главным поставщиком заграничных книг; переводили их общими силами, вслух прочитывали и спорили. Несмотря на репрессии институтского начальства, кружок выписывал журналы, газеты и под прикрытием изучения «передовых литературных течений» занимался политикой.

В декабре этого года Добролюбов написал острую, злую сатиру на Греча по поводу его пятидесятилетнего юбилея. Стихотворение пошло по рукам. Кто-то проговорился, и начальство дозналось, что оно написано Добролюбовым. Сделали обыск. Стихотворения не нашли, но захватили другие бумаги, изобличаю-

щие смелый оппозиционный характер автора в отношении к русской действительности, к русскому правительству. Грозили исключением, Третьим отделением, ссылкой в Сибирь. В конце концов делу хода не дали; не то пожалели выдающегося студента, не то сирот, оставшихся после смерти отца и матери на его руках, а вернее не хотели бросать тень неблагонадежности на институт.

К концу 1855 г. Добролюбов — уже политически зрелый человек. Он ратует за личность, за благо народа, за свободу и презирает, проклинает все, что стоит на пути прогресса, что поддерживает рабство духа, порабощение страны. Он атеист, революционер, социалист. Он еще не знает, кто из него выйдет: революционер-практик, агитатор, баррикадный боец или революционер-писатель, внедряющий в сознание широких масс идеи революционной демократии и социализма. Однако уже в институте он склоняется к литературной деятельности.

В девятнадцать лет Добролюбов приступает к изданию рукописной газеты «Слухи», позже «Сплетни». Вышло 19 номеров; 14 из них написал сам издатель. Это уже серьезная работа, нелегальная политическая деятельность, хотя и ограниченная узким кругом лиц, но ведущая в Петропавловскую крепость, в Сибирь, на каторгу. Добролюбов беспощадно бичевал николаевский режим, вскрывал всю его гниль и ничтожность, обнажал причины севастопольского разгрома, боролся против крепостного права, сочувствовал крестьянским восстаниям, поднявшись до признания неизбежности революционных методов борьбы и призыва к ним. Призывая к сотрудничеству, он предупреждал, что дело, которое он начинает, «легкое само по себе, становится трудным и даже опасным по своим последствиям».

В духовном училище Добролюбов отличался скромностью, застенчивостью, религиозностью, послушанием и повиновением; товарищей чуждался, в игры с ними не вступал, был замкнут и молчалив. Кончил же институт с характеристикой: «Трудолюбив, требователен, не сочувствует распоряжениям начальства, холоден в исполнении религиозных обязанностей, заносчив, склонен к ябеде, подвергался аресту»[1]. За последний учебный год Добролюбов имел по всем предметам 5, а по поведению 4½.

В 1857 г. Добролюбов блестяще окончил институт, сразу стал постоянным сотрудником «Современника», а затем и одним из его редакторов. Чернышевский, с которым он познакомился еще летом 1856 г., был его лучшим другом до самой смерти. Он отдал Добролюбову в полное распоряжение литературно-критический от-

---

[1] Ленингр. обл. арх. бюро «Дело» № 14 (1857 г.), Конфер. Главн. пед. инст. о полугодовых, переходных и выпускных испытаниях студентов.

дел журнала, сразу оценив его силы. Добролюбов вырос в первого критика лучшего, влиятельнейшего в то время журнала.

С осени 1858 г. «Современник» стал выходить с приложением сатирического листка «Свисток». Мысль о его создании принадлежала Добролюбову. Критик полагал, что «злоупотребления, разоблаченные серьезною литературою, должны быть добиты смехом». Он был главным сотрудником. Конрад Лилиеншвагер, Яков Хам, Аполлон Капелькин, Д. Свиристелев — это Добролюбов. Молодой критик придавал сатире огромное значение; в сатире он видел острое политическое оружие. «Свисток» сразу поднял всех на ноги. Остроумная, ядовитая сатира задела многих за живое. Сильно попадало гнилому либерализму. Герцен в негодовании обозвал «Свисток» балаганчиком при большом театре, но листок верно делал свое революционное дело.

Вернемся, однако, к «Современнику». С приходом молодого критика там произошли серьезнейшие дела.

Основан «Современник» Пушкиным, во времена Белинского журнал перешел к Некрасову и Панаеву, в 1866 г., после выстрела Каракозова, был закрыт и уже не возобновлялся. В нем объединялись лучшие литературные силы — объединялись не случайно, а в силу солидарности в своих политических взглядах и общности литературно-художественного вкуса. Это объединение носило характер дружеских отношений. Еще со времен Белинского большими друзьями были Тургенев, Боткин, Анненков, Фет, Григорович. Все они сотрудничали в журнале. Принимали в нем участие и Гончаров, Л. Толстой, Писемский, Полонский, Островский. Без сомнения, это был лучший литературный круг того времени. За ним были главные традиции 40-х годов, а сами писатели были даровиты, образованы и обладали большим литературным опытом и вкусом.

Когда в эту среду попал Чернышевский, сразу началось возбуждение; с приходом Добролюбова оно дошло до открытого раскола. Развернулась борьба между идеологами революционной демократии и либералами. «Очерки гоголевского периода», «Эстетические отношения искусства к действительности» открыли бой. Старые сотрудники журнала в ужасе заговорили: «Уходит бессмертная эпоха русской поэзии». «Проклятая политика» мутит литературу, убивает поэзию. Встал вопрос о пушкинском и гоголевском направлениях в литературе.

Фет своим крепостническим чутьем,— а его в приятельском кругу называли «закоренелым и остервенелым крепостником, консерватором и поручиком старого закала», — сразу почувствовал в Чернышевском и Добролюбове упорных, сильных врагов дворянской культуры. Он почувствовал острую классовую борьбу и подошел к делу просто, практически. Поэт с глубоким сожале-

нием признал, что хотя «вся художественно-литературная сила сосредоточивалась в дворянских руках, но умственный и материальный труд издательства давно поступил в руки разночинцев, даже и там, где, как, например, у Некрасова и Дружинина, журналом заправлял сам издатель». Его раздражало то обстоятельство, что «при тяготении нашей интеллигенции к идеям, вызвавшим освобождение крестьян, сама дворянская литература дошла в своем увлечении до оппозиции коренным дворянским интересам, против чего свежий, неизломанный инстинкт Л. Толстого так возмущался». Поэт спрашивал: «Что же сказать о той среде, в которой возникла «Искра» и всемогущий «Свисток» «Современника», перед которым должен был замолчать сам Некрасов?» И отвечал: «Понятно, что туда, где люди этой среды, чувствуя свою силу, появлялись как домой, они вносили и свои приемы общежития» [1].

Тургенев сначала колебался, а потом, особенно в отношении к Добролюбову, занял позицию определенно враждебную. Как-то в споре с Чернышевским он заявил: «Вас я еще могу переносить, но Добролюбова не могу». «Вы — простая змея, а Добролюбов — очковая змея».

Первое столкновение произошло в половине 1858 г. в связи с десятилетием со дня смерти Белинского. В ресторане был организован обед. Пригласили Добролюбова. Он ожидал встретить людей, которые посвятят вечер воспоминаниям и оценке великого критика, а услышал обычную пустую болтовню. Рассерженный юноша разослал участникам обеда злое стихотворение. Многие взбесились. А когда узнали, что автор его Добролюбов, высокомерно бросили брезгливую фразу: «Этот мальчишка сам не понимает Белинского».

Самое же серьезное столкновение, приведшее к полному разрыву, было вызвано статьей Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» о романе Тургенева «Накануне». Некрасов пытался уладить конфликт, но Тургенев не признавал никаких резонов; Добролюбов тоже не пошел на соглашение, не хотел уступить своих принципиальных позиций. Некрасову пришлось выбирать, и он выбрал Добролюбова. Это была политическая мудрость, в этом величайшая заслуга поэта перед революционной демократией.

Весь этот эпизод в подробностях описан Панаевой в ее воспоминаниях. Политический смысл его вскрыт нами ниже при анализе литературно-критической деятельности Добролюбова.

Так произошел раскол в «Современнике». Вскоре журнал покинули все друзья Тургенева. Роман «Отцы и дети» появился уже

---

[1] *А. Фет*, «Мои воспоминания», М. 1890, ч. I, стр. 132.

в катковском «Русском Вестнике». Вместо ушедших дворян пришли т. н. разночинцы: Помяловский, Решетников, Михайлов, Елисеев, Салтыков, Пыпин, Антонович и другие. В этой истории цензор Бекетов обозвал Добролюбова «темной личностью», а Анненков «нахальным и ехидным мальчишкой», который пишет ругательства на великого писателя. И только Некрасов понял молодого критика. Он говорил:

«Добролюбов — это такая светлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоким уважением. Этот человек не то, что мы; он так строго следит за собой, что мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены. Мне больно и обидно, что Тургенев составил себе такое превратное понятие о человеке такой редкой честности».

Всякий раскол сопровождается дрязгами, сплетнями, поношениями. Суть дела все же не в них, а в идеологических и политических разногласиях, которые постепенно накопляются между людьми. Само столкновение только случайный повод к расколу.

В 1858 г. Добролюбов, благодаря интенсивной работе, заболел от истощения золотухой, потом у него начался туберкулез. Панаева много заботилась о нем, но напряженная работа, часто по ночам, до четырех часов утра, нравственные переживания общественного и узко личного порядка делали свое дело. Летом 1860 г., по настоянию Некрасова и Панаева, Добролюбов уехал лечиться за границу. Но было уже поздно. Вернувшись в Петербург, он умер 17 ноября (ст. ст.) 1861 г. Ему было всего 25 лет. Все откликнулись на эту великую общественную утрату. Свое сожаление в примиренном тоне высказал даже Тургенев.

В сентябрьской книжке «Современника» была помещена последняя большая статья Добролюбова «Забитые люди» — по поводу романа Достоевского «Униженные и оскорбленные». Годами наиболее интенсивной литературной работы были 1858 и 1859 гг., но и в 1861 г., измученный смертельным недугом, молодой критик сумел написать более тридцати больших печатных листов.

После его смерти Чернышевский с большой скорбью писал: «Вот уже два месяца с половиною редкий день проходит у меня без слез... Я — тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он. Лучшего защитника потерял в нем русский народ».

Он начал любовно собирать и опубликовывать материалы, касающиеся жизни и деятельности молодого друга. Он начал подготовлять первое издание его сочинений, но арест и каторга прервали эту работу. Ее докончили другие.

Сочинения Добролюбова и в наши дни представляют поучительный интерес.

II

Добролюбов был глубоко религиозный мальчик. Уклад семьи накладывал свой отпечаток. Отец и мать были людьми с прочно установившимися православными традициями, искренние и аккуратные в исполнении предписаний религии. Естественно, мальчик бессознательно это воспринимал, выполняя все наставления родителей. В духовной школе начальство всегда характеризовало Добролюбова как человека в высшей степени религиозного. Он знал много церковных песнопений, когда выходил из дому, крестился на церковь; когда по дороге попадались церкви, снова набожно крестился. Даже молился на видневшиеся вдали, за кремлевской стеной, главы кафедрального собора. Во время молитвы перед уроками и после занятий был сосредоточен. Перед экзаменами, чтобы бог помог лучше выдержать их, ходил по церквам и прикладывался к иконам. Строго соблюдал праздники, посты, среду и пятницу. Молился всегда с глубоким чувством [1].

В своем «Психаториуме» он сокрушался о рассеянности во время молитвы, о лености к богослужению, о своем самолюбии и гордости, о лжи, хитрости, сластолюбии, о тяготении к чувственности, чревоугодию и лакомству. В праздники до обедни не пил чаю, а после исповеди не пил его до самого причащения. Он не раз обращается к господу с просьбою избавить его от «навождения лукавого». Такими мыслями наполнены 32 страницы. Когда этот дневник 1853 г. попал в руки Чернышевского, последний значительную часть его уничтожил, пометив на рукописи: «Остальные листы этого вздора я выбросил. Довольно этого образца».

Ф. Кудринский указывает, что в семинарии Добролюбов был хорошим богословом, охотно вступал в спор, когда предметом обсуждения был философский или богословский вопрос. В сочинениях был точен и верен теме, но в спорах проявлял едкий сарказм и критицизм, не нарушая, однако, хода богословских рассуждений. Этот сарказм и критицизм не были заметны начальству; оно без колебаний считало его «примерно благонравным», отличающимся «добротою и честным поведением и усердием к церкви».

М. Костров, домашний учитель Добролюбова, свидетельствует, что перед отъездом в Петербург юноша производил впечатление «самого набожного человека в Нижнем». На самом же деле эта видимая религиозность в какой-то мере совпадала с настроениями острого сомнения в ней. Внимательное чтение «Психаториума» вскрывает оба эти момента. Во время службы он

---

[1] *Ф. Кудрйнский*, «Н. А. Добролюбов». «Русские Ведомости», 1899, № 324.

скучает, думает о совершенно посторонних вещах, «похоть очес и скверные помыслы» овладевают им. Он смеется над «священными лицами и предметами». Подобные записи встречаются не один раз. Юноша даже добавляет, что он совершенно забыл «о пекущемся о нас божьем промысле» и так «располагал свои действия, как будто бы его не было». Временами он снова возлагает надежды на «премудрый промысл», снова верит «в неустанную заботливость бога» о людях и о нем. Пасхальная служба наполняет его радостью. Эта радость высокая, чистая; юноша огорчается, что она вытесняется радостью плотскою. Даже свое поступление в институт, а не в академию юноша объяснил впоследствии вмешательством промысла.

Добролюбов колеблется, но сила надлома настолько уже велика, что он начинает сомневаться в «важнейших истинах спасения» и сознавать, как сильно в нем «отчуждение от жизни божией». В самом перечислении прегрешений, как еще заметил Чернышевский, чувствуется не столько раскаяние в грехах, сколько подогревание исчезающей религиозности. В записи от 15 марта 1853 г. Добролюбов указывает, что в августе и сентябре прошлого года в нем «происходила борьба, тем более тяжелая, что ни один человек не знал о ней во всей ее силе». Речь идет в борьбе за университет, об увлечении Феничкой. Ценна самохарактеристика: «Конечно, я не проводил ночей без сна, не проливал ведрами слез, не стонал и не жаловался, даже не молился, потому что подобные выходки не в моем характере, а молиться — сердце черство и холодно к религии, а я тогда даже и не заботился согреть его теплотою молитвы»[1]. Семинарскую богословскую науку он презирает: «А тут еще классные уроки, задачи и пуще всего надоедающие классы, особенно о. Паисия, драгоценного моего инспектора и бесценного преподавателя догматического богословия».

Две силы борются в юноше, одолевает то одна, то другая; а в общем процесс распада религиозности идет, хотя и остается неизвестным, какие события, какие книги производили эту разрушительную работу. Добролюбов много думал о своей судьбе, в нем было много сомнений, колебаний, терзаний, но выход он видел не в религии, а в университетском образовании, в воспитании своего характера, своих убеждений. Добролюбову было в это время 17 лет. Это уже далеко не тот юноша, который издалека молится на главы кафедрального собора. Он полон религиозных сомнений. От догматизма, механически воспринятого в семье, он шел к атеизму; в нем не успел выработаться строгий защитник церкви, ее догматов, ее обрядов; в нем не успел сло-

---

[1] *Н. А. Добролюбов*, «Дневники», стр. 86.

житься фанатик, готовый сгореть на костре, отстаивая двоеперстие или троеперстие. Характерно, что на протяжении всех его дневников и в письмах нет размышлений о том, что он хочет служить религии, подготовляет себя к этому или сознает недостаточность своих нравственных сил для этого дела. Наоборот, он раскрывает, как уходил от церкви, уклонялся от пути, на который направлял его отец, еще тогда, когда религиозные верования были в нем прочны.

Из дневника 1857 г. мы узнаем, что Добролюбов перед отъездом в Петербург вел беседы с Васильковым. Последний внушал ему «любовь к правде, а не к авторитету». В результате этих разговоров,— а Васильков говорил «умно и искусно»,— «дело было сделано: внутренняя работа пошла живее прежнего». Разрыв с религией был неизбежен, но он мог затянуться, мог принять более сложные формы. В 1854 г. умерли родители, — в марте во время родов скончалась мать, а в августе от холеры погиб отец. В связи с этим и разрешился религиозный кризис, острый, мучительный. Добролюбов был полон отчаянного ропота. Это был могучий аффект, психическая буря. Она кончилась полным и решительным отрицанием всего что связано с религией. Сначала юноша горячо и искренно обращался к богу. Получив извещение о смерти матери, он писал: «Я все не верю, я не могу подумать, чтобы могло совершиться это ужасное несчастие... бог знает, как много, как постоянно нужна была для нас милая, нежная. кроткая, любящая мамаша наша, наш благодетельный гений, наш милый друг и хранитель... Боже мой! Едва дерзкие мысли посетили было мою голову, как вот страшная кара грозит уже мне, видимым образом наказывая самонадеянность надменного ума... Но я смиряюсь, я надеюсь, я верую, господи!.. Помоги моему неверию». Он исступленно повторяет: «Верую, верую, верую — твердо и крепко, с любовью и молитвою». Он обращается к умершей: «Мамашенька, мамашенька!.. Слышите ли еще вы? Благословите меня, успокойте меня, утвердите меня, утвердите во мне веру в провидение, спасите меня и на этом пути» [1]. В письме к отцу он цитирует стихи Жуковского:

Лучший друг нам в жизни сей —
Вера в провиденье.
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон,
Счастье — пробужденье.

Он размышляет о загробном блаженстве, о силе молитвы, неземной красоте и нетленной славе. Он полон самых разнообразных религиозных настроений, соответствующих печальным

[1] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М. 1890, стр. 102—103.

обстоятельствам. Он верит, что мать может умолить бога и он «остановит его на краю гибели», к которому подвела жизнь. В нем с небывалой силой вспыхивает все, что раньше шло на убыль. Но как только Добролюбов пришел в себя от постигшего его несчастья, как только он стал способен рассуждать, он заговорил совершенно другим языком. Заговорил о том, что есть характеры, которые живут любовью ко всему человечеству, «для которых не слишком чувствительна потеря одного любимого предмета». Он заявлял: «Я редко могу молиться, я слишком ожесточен». Он уже не полагается на промысл, не повторяет в исступлении «верую», а остается, как демон —

С своей холодностью надменной,
Один, один во всей вселенной,
Без упованья и любви!..[1]

№ 7957
г. Новосибирск

Как велик размах настроений! Три недели назад он полон веры в бога, а теперь одинок, как демон. Такой размах не случаен, он не свойственен людям, верующим глубоко и непоколебимо. Своими корнями размах этот уходит в прошлое; там подготовлялись возможности таких колебаний.

Окончательный удар религиозным настроениям нанесла смерть отца. О новом несчастии Добролюбов сообщает своему товарищу Радонежскому «с язвительной улыбкою», «с проклятием», со смехом, который покоробил его друга. Таким же антирелигиозным настроением проникнуто и письмо к Д. Щеглову, другому близкому товарищу. «Вчера на похоронах я был страшно зол. Не выронил ни одной слезы, но разругал дьяконов, которые хохотали, неся гроб моего отца; разругал моего бывшего профессора, который сказал пренелепую речь, уверяя, что бог знает, что делает, что он любит сирот и проч.»[2].

В отрывке 1855 г. он писал: «Меня постигло страшное несчастье — смерть отца и матери, — но оно убедило меня окончательно в правоте моего дела, в несуществовании тех призраков, которые строило себе восточное воображение и которые навязывают нам насильно вопреки здравому смыслу. Оно ожесточило меня против той таинственной силы, которую у нас смеют называть благою и милосердною, не обращая внимания на зло, рассеянное в мире, на жестокие удары, которые направляются этой силой на самих же ее хвалителей!»[3]. И тут же он вспоминает, как они занимаются в своем кружке вопросами о судьбах родины, о том, как они думают служить ей, на что он способен и к чему призван. Он видит тяжелое, безвыходное положение кре-

[1] «Материалы», стр. 119—121.
[2] Там же, стр. 148.
[3] *Н. А. Добролюбов*, «Дневники», стр. 105.

стьянства и чувствует, что он «как будто бы нарочно призван судьбою к великому делу переворота».

Тут все характерно и знаменательно: и самый материал письма в тематическом отношении, и самые суждения о поднятых вопросах. Перед Добролюбовым стоит свое личное горе — смерть родителей — и несчастное положение народа. Сопоставляя их, Добролюбов порывает с богом, идя к революции. Его несчастие — один из моментов на этом пути.

Все это бесконечно далеко от настроений, связанных со смертью матери, а ведь расстояние во времени всего пять месяцев. Сильное влияние на Добролюбова оказало письмо Белинского к Гоголю. Его он читал с Васильковым в 1854 г., после смерти матери, летом на каникулах. В связи с этим письмом было много разговоров, и тогда Добролюбов «уверился в естественности христианства». Смерть отца только закрепила это. Добролюбов употребляет термин «естественности» христианства. Этот термин принадлежит Фейербаху, который много раз употребляет его в «Сущности христианства». Эту встречу с Васильковым Добролюбов вспомнил через два с половиной года, записал ее в своем дневнике спокойно, обдумавши, поэтому и подведенный результат встречи заслуживает наибольшего доверия.

Впоследствии критик закрепил эти свои настроения в стихотворении «Памяти отца»:

Благословен тот час печальный,
Когда ошибок детских мгла
Вслед колесницы погребальной
С души озлобленной сошла.
С тех пор я в мертвом упованьи
Отрады жалкой не искал,
И бесполезному роптанью
Себя на жертву не давал,
Не уловлял мечты туманной,
Но без надежд и утешений
Я гордо снес мою печаль... (1858).

Критический ум, склонность к скептицизму, зародившаяся любовь к народу высвободили юношу из-под ударов жизни, направив его на верный путь. Добролюбов пережил великую внутреннюю борьбу. Он сам признавался в этом Лаврскому в письме 1856 г.: «В продолжение двух лет я все воевал с старыми врагами, внутренними и внешними. Вышел я на бой без заносчивости, но и без трусости, — гордо и спокойно. Взглянул я прямо в лицо этой загадочной жизни, и увидел, что она совсем не то, о чем твердили о. Паисий и преосвященный Иеремия. Нужно было итти против прежних понятий и против тех, кто внушил их» [1].

[1] «Материалы», стр. 325.

При анализе религиозного кризиса Добролюбова нельзя упускать из виду его встречи с Д. Щегловым. Это студент института. Когда Добролюбов, убитый смертью матери, доходил до полного отчаяния, Щеглов чутко и осторожно сумел подойти к нему, помогая изжить беду. Щеглов был других убеждений, но в то время он имел на Добролюбова влияние несомненно хорошее, поскольку был свободен от тех обычных понятий, которыми еще жил Добролюбов. Это отмечает и Чернышевский, а он относился к Щеглову отрицательно. Добролюбов и Щеглов весной 1854 г. подолгу ходили по набережной Невы, стремясь «уяснить себе высокие вопросы о конечных причинах и целях бытия». Добролюбов не всегда соглашался с мыслями своего друга, но признал в нем «человека мыслящего, хотящего жить сознательно, а не бессознательно». В нем он видел человека стремлений, «до которых еще не может подняться большая часть наших студентов».

Есть у Добролюбова стихотворение «Благодетель». Благодетель — это бог, провидение. Ему посвящены такие строки:

А прежде он хранил меня, хоть и незримо...
Быть может, оттого, что был я глуп и слаб...
Теперь я сам могу итти неутомимо
И действовать — не как его покорный раб,
Не по его таинственным приказам,
Чрез сотни уст дошедшим до меня,
А как велит мне собственный мой разум.
Как убежден я сам при жалком свете дня (1856) [1].

Так Добролюбов закончил свою борьбу с религией.

Впечатления детства, как известно, глубоко западают в памяти. Будучи уже фейербахианцем и революционером, Добролюбов написал стихотворение «В церкви» (1857). Губы «не шепчут моленья», рука креста не творит, но ум его «невольно раздумьем смущается, душу объемлет таинственный страх». «С воспоминаниями, в самозабвении» он вновь горит детскими чувствами. Стихотворение, однако, не возврат к религии. Это лирическое воспоминание о прошлом, которое когда-то давало радость и успокоение, а потом оказалось сплошным пагубным заблуждением.

Так шел Добролюбов от глубокого православия к крайнему атеизму. Установить даты движения вряд ли возможно; это не исторические события, а сложный, глубокий процесс. Датой окончательного разрыва Добролюбова с религией надо все же считать 1855 г., хотя многие элементы церковного взгляда на вещи отмерли у него ранее.

[1] Цитирую по соч. Н. А. Добролюбова под ред. Е. Аничкова, т. IX, стр. 21. В издании под ред. М. Лемке этих строк не имеется. В рукописи они зачеркнуты, очевидно, по конспиративным соображениям, чтобы не понести наказания, если бы стихотворение попало в руки институтского начальства.

III

В конце статьи «Когда же придет настоящий день?» Добролюбов, под видом воспоминаний своего знакомого, рассказывает о себе: «По натуре своей я был мальчик очень добрый и впечатлительный. Я бывало плакал и метался, слушая рассказ о каком-нибудь несчастии, я страдал при виде чужого страдания... Все, что я видел, все, что слышал, развивало во мне чувство недовольства; в душе моей рано начал шевелиться вопрос: да отчего же все так страдает, неужели нет средств помочь этому горю, которое, кажется, всех одолело?.. Я начал учиться. Первая пропись, которую я написал, была такова: «Истинное счастие заключается в спокойствии совести». На расспросы мои о совести мне объяснили, что она карает нас за дурные поступки и награждает за хорошие. Все мое внимание устремилось теперь на то, чтобы узнать, какие поступки хороши, какие дурны... Кодекс нравственности был готов и в прописях, и в домашних наставлениях, и в особом курсе. «Почитай старших», «Не надейся на свои силы, ибо ты — ничто», «Будь доволен тем, что имеешь, и не желай большего», «Терпением и покорностью приобретается любовь общая» и пр. в таком роде писал я в прописях. Дома и от всех окружающих слышал я то же самое; а в разных курсах узнал я, что совершенного счастья на земле не может быть, но что, насколько оно возможно, оно достигнуто в благоустроенных государствах... Я узнал, что Россия теперь не только велика и обильна, но что порядок в ней господствует самый совершенный; что стоит только исполнять законы и приказания старших да быть умеренным, и тогда полнейшее благополучие ожидает человека, какого бы он ни был звания и состояния. Отрадны мне были все эти открытия, и я жадно ухватился за них, как за лучшее решение всех моих сомнений... И вот я доверчиво и восторженно предался новооткрытой системе, в ней заключил все свои стремления и лет двенадцати был уже маленьким философом и страшным партизаном законности... Собственно закон я еще не совсем хорошо представлял себе, но он олицетворялся для меня во всяком начальстве и старшинстве. Оттого в этот период моей жизни я постоянно стоял за учителей, начальников и т. д. и был очень любим начальством и старшими классами... «Сами виноваты», говорил я про себя, и стал даже питать к некоторым не то злобу, не то презрение, как к людям, не умеющим пользоваться спокойно и смирно теми благами, которые им предлагают по силе общественного благоустройства. Все, что было доброго в моей натуре, обратилось в другую сторону — к поддержанию прав старших над нами. Я чувствовал, что в этом заключается самоотвержение, отречение от собственной самостоятельности, убежден был, что делаю это в видах общей пользы, и считал себя чуть не героем».

В этих воспоминаниях-исповеди прежде всего бросается в глаза, что мальчик подходит к общественным вопросам от моральных соображений о справедливости, о том, чтобы люди не страдали. Эти моральные соображения находили свое разрешение в установлениях религии и церкви. Религия же служила монархии. Это и обусловило, что мальчик нашел разрешение морально-общественной проблемы в беспрекословном подчинении начальству, старшим.

Нравственно-общественное развитие шло одновременно с развитием религиозно-нравственным, одно с другим органически, неразрывно сливалось.

Однажды несправедливо наказав сестру за то, что она не согласилась выполнить его приказание как старшего, мальчик пришел к мысли, что «старшие могут быть неправы и делать нелепости, и что уважать нужно собственно закон, как он есть, а не как проявляется в толкованиях того или другого лица. Тут пошла... критика действий лиц», и мальчик «из консервативной безответственности стремительно перескочил в «opposition légale».

Старому, привитому мировоззрению нанесена первая, но довольно серьезная брешь на маленьком опыте семейных отношений. Брешь эта со временем все расширялась и расширялась. В этом процессе была своя постепенность и закономерность. Она показывает, как упорно в одном и том же направлении работала мысль четырнадцатилетнего мальчика. Мысль эта была глубокой, смелой, широкой, поскольку свой ничтожный опыт мальчик сумел перенести на общественные отношения людей и, разбив одно звено, разбил всю традиционно крепкую систему взглядов.

Мальчик «долгое время приписывал все дурное одним только частным злоупотреблениям и нападал на них — не во имя насущных потребностей общества, не из сострадания к несчастным братьям, а просто во имя положительного закона... Дошел, наконец, до сознания, что и законы могут быть несовершенны, что они имеют относительное, временное и частное значение и должны подлежать переменам с течением времени и по требованиям обстоятельств». Но во имя чего так рассуждал мальчик? «Во имя высшего отвлеченного закона справедливости, а вовсе не по внушению живого чувства любви к собратьям, вовсе не по сознанию тех прямых, настоятельных наблюдений, которые указываются идущей перед нами жизнью».

Вторая брешь: люди могут быть плохи, но и законы не всегда хороши. Во всем этом признании была жестокая разрушительная логика. Она переворачивала все представления о человеческих отношениях, освященные религией, закрепленные государством. Нельзя однако упускать из виду, что новые представления ясны были юноше лишь со стороны логического мышления, а не их

классовой сущности, хотя бы и выраженной в отвлеченных, гуманных принципах справедливости.

Наконец сделан был «последний шаг» «от отвлеченного закона справедливости» «к более реальному требованию человеческого блага». Все сомнения и колебания сведены к единой формуле: «человек и его счастье» [1].

Последняя брешь, разрушившая все начисто, под корень, без возможности восстановления. И это проделал юноша в 15—16 лет, живя в священнической семье и удовлетворяя свои запросы семинарской наукой.

Проблема — в чем счастье человека и как его добыть — была разрешена не сразу. Ее, особенно вторую часть, Добролюбов разрешил только в середине 1857 г., когда он окончательно сблизился с Чернышевским. Естественно, конечно, что элементы нового взгляда на жизнь постепенно отлагались и в семинарский период, оформляясь в строгий и последовательный взгляд в течение всей институтской жизни.

Обратимся однако к фактам жизни.

★

В институте Добролюбов прежде всего сблизился с Щегловым; под влиянием бесед с ним он перечитал и по-иному понял сочинения Белинского. Однако у него есть еще патриотические настроения, политикой он интересуется мало, а если и ведет разговоры о политических событиях, то с обывательской точки зрения, без достаточного знания предмета. Когда Николай I обнародовал в 1854 г. манифест о войне, у молодого студента «как-то сильнее забилось сердце», вместе с другими он радовался «успехам русского оружия». Он радостно писал отцу «о блистательной победе» русских, добавляя: «В общих огромных событиях отечества как-то невольно поддаешься патриотическому чувству и откликаешься на общую радость». Он передавал вздорные слухи о таинственной небесной помощи русским войскам, слухи, которым его сердце «хотело бы верить». Все эти настроения относятся к февралю 1854 г.

Осенью в институте образовался кружок. В него вошли Н. Добролюбов, Д. Щеглов. Б. Сциборский, М. Шемановский, И. Поржницкий, И. Бордюгов, А. Радонежский, А. Златовратский, Н. Турчанинов, Сидоров и другие. Цель кружка, по воспоминаниям Сциборского, состояла в том, чтобы «развить в себе способность отозваться всей душой на всякие требования века, понимать современное движение мысли, осмыслить приобретенные знания ра-

[1] Полное собр. соч. *Н. А. Добролюбова* под ред. Е. Аничкова, т. IV, стр. 409—413. В дальнейшем указываются только том и страница.

зумным пониманием отношений их в жизни». В этом тесно сплоченном кружке выступающая на сцену революционная демократия вырабатывала себе новое мировоззрение, вырабатывала новый тип и характер человека, соответствующие новым историческим задачам. В этом кружке бог был заменен человеком, «неисповедимые пути провидения» уступили место насущным интересам жизни. Жизнь — мерило всего настоящего. Старой морали были противопоставлены веления внутренней природы человека. Было провозглашено: человек должен быть честен сам с собою.

В 1855 г. Добролюбов со своими друзьями «затрагивает великие вопросы». Их «занимает более всего родная Русь своим великим будущим». Первое время наибольшее влияние в кружке имел Щеглов; по мере того, как Добролюбов критически преодолевал его, освобождался из-под его влияния, симпатии кружка постепенно переходили к Добролюбову; последний стал руководителем. Кружок хочет трудиться для блага России «неутомимо, бескорыстно и горячо». Эта мысль занимала Добролюбова «необыкновенно сильно». Про это время он писал: «К несчастью, я очень ясно вижу и свое настоящее положение и положение русского народа в эту минуту, и потому не могу увлекаться обольстительными мечтами, какие позволяет себе Щеглов. Я чувствую, что реформатором, революционером я не призван быть... Не прогремит мое имя, не осенит его слава дерзкого предпринимателя и совершителя великого переворота... Тихо и медленно буду я действовать, незаметно стану подготовлять умы; уменье (если оно будет у меня), жизнь, безопасность личную я отдам на жертву великому делу, но — это только тогда, когда самопожертвование будет обещать верный успех... А между тем, что касается до меня, я как будто нарочно призван судьбою к великому делу переворота. Сын священника, воспитанный в строгих правилах христианской веры и нравственности... собственным рассудком, при всех этих обстоятельствах, дошедший до убеждения в несправедливости некоторых начал, которые внушены были мне с первых лет детства; понявший ничтожность и пустоту того кружка, в котором так любили и ласкали меня, наконец, вырвавшийся из него на свет божий и смело взглянувший на оставленный мною мир, увидевший все, что в нем было возмутительного, ложного и пошлого, — я чувствую теперь, что более, нежели кто-нибудь, имею силы и возможности взяться за свое дело» [1].

В декабре 1855 г. Добролюбов лежал в институтской больнице; навещал его Сциборский. Ему Добролюбов и передал цитируемый нами дневник. Сциборский его прочел. Когда, по просьбе Черны-

[1] *Н. А. Добролюбов*, «Дневники», стр. 103.

шевского, ему впоследствии пришлось писать воспоминания, он написал: «Я живо припоминаю себе то время, когда вопросы о судьбе нашей родины поглощали все наши мысли и чувства; когда над нами еще не тяготело сознание своего бессилия в борьбе за честные убеждения; когда мы верили, что наше вступление на поприще общественной деятельности ознаменуется переворотом, который поведет общество по пути разумному. Мы думали, что наскажем миру много, много новых истин, выработанных нами в тесном кружке институтском».

Сопоставляя эти записи, приходится с несомненностью констатировать, что к концу 1855 г. весь добролюбовский кружок был занят мыслями о революции. Кружок не только считал себя нравственно обязанным служить перевороту, но и считал себя фактически готовым начать подготовку этого переворота. Сциборский на этот счет никаких сомнений не высказывает; так, очевидно, думали и другие члены кружка. Добролюбов расценивал положение иначе. Он находил, что время для переворота еще не пришло, нужных для его совершения условий нет. Не находил он и людей. Характеризуя своих товарищей по кружку, он ясно отдавал отчет в положении. «Один — решительный, благородный, но страшно заносчивый и не имеющий ко мне никакого уважения человек»... Это очевидно Щеглов. «Другой — человек умный, но смотрящий на все с какой-то странной точки, над всем смеющийся и ничем не возмущающийся, очень молодой и легкомысленный... Еще несколько человек, понимающих дело, но ограничивающихся презрением и ненавистью к злу, не заботясь о средствах исправить, уничтожить его. Горькое положение!..» Отсюда и возникает желание «незаметно подготовлять умы» и не губить зря жизнь, «которая еще может быть полезна». Сам Добролюбов готов на все, но он понимает, что одного благородства и готовности недостаточно. Он реальный политик в лучшем смысле слова. Он учитывает и взвешивает все обстоятельства.

Спустя полтора года после смерти родителей, Добролюбов сумел стать не только последовательным атеистом, но и серьезным, твердым, решительным революционером, способным не только воспламеняться благородством и энтузиазмом, но и многое предусмотреть и взвесить. Это человек, который уже сознательно намечает свой жизненный путь, человек, который считает себя готовым для переворота, но не находит нужных условий для совершения его.

Газета «Слухи» свидетельствует, что к этому времени перелом у Добролюбова закончился; политические взгляды в основном сложились; в дальнейшем они не изменялись, а только развивались и укреплялись. Ряд вещей из «Слухов» по цензурным условиям не мог быть помещен в полном собрании сочинений. Они опублико-

ваны после Октябрьской революции. Громя со всей страстью николаевский режим, критик предсказывал:

И будет Русь страдать при сыне,
Как тридцать лет страдала при отце.

Он понимал, что «дело не в человеке, а»... в монархическом крепостном режиме страны. Россия «жалкая страна», такой другой во всей вселенной нет, ее жизнь «позорный душный ад», она— «в тьме, лохмотьях, в унижении». Выход один: в изменении государственного строя. Ради этого Добролюбов готов приветствовать поражение России. В «Современных вестях» («Слухи» № 5) он пишет: «Chaque homme, qui aime la Russie,— говорил один умный офицер с человеческой головой, — doit absolument désirer, que nous soyons le plus souvent battus. С этим нельзя не согласиться».

После разрыва с Щегловым Добролюбов сблизился с И. Поржницким. Это был человек совсем иного склада, чем Щеглов. С первого курса Главного педагогического института он ушел в медико-хирургическую академию. За подачу Александру II жалобы на непорядки в академии он был сослан в Тавастгус. У Порожницкого слово всегда соединялось с делом. Щеглов был самолюбив, не отличал личного дела от общественного, был отвлеченный теоретик. Поржницкий, наоборот, замкнут, молчалив, решителен, человек дела. Это восхищало Добролюбова, он сам рвался от слов к делу, но жизнь его складывалась иначе. Мечтал стать во главе революции, а сделался писателем. Наблюдая Добролюбова, Сиборский видел, что у него «гуманные теории не пассивны, не мертвы, а одушевлены живой любовью к братьям».

С декабря 1855 г. в «Современнике» начали печататься «Очерки гоголевского периода русской литературы». Статьи вызвали небывалый интерес и брожение в обществе и среди студентов. Последние, захваченные свежей мыслью, даже бросали занятия и не посещали своих затхлых лекций. Статьи не были подписаны, но все знали, что они принадлежат Чернышевскому. Несколькими месяцами раньше появились «Эстетические отношения искусства к действительности». Добролюбову страстно захотелось встретиться с Чернышевским. В нем он видел человека, с которым у него было много общих мыслей и настроений, у которого можно было учиться как у старшего, владеющего жизненным и литературным опытом, и, наконец, вместе бороться. Летом 1856 г. состоялось знакомство. Общая фейербаховская философия (Добролюбов к этому времени был уже фейербахианцем), одинаковое отношение к крестьянской реформе и крестьянской революции, к Белинскому, к будущему России — все это сразу сблизило двух великих людей, сделало их друзьями. Добролюбов временами за-

сиживался у Чернышевского по целым дням. Он видел в нем «столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях и высказываниях просто, без фразерства, столько ума строго последовательного, проникнутого любовью к истине», сколько он «не только не находил, но и не предполагал найти». Друзья вели бесконечные беседы о либерализме, радикализме, реформизме, революции, социализме, терроризме, о крепостном праве, о крестьянской реформе и т. п.

Для Добролюбова началась новая жизнь; он рвется к делу. В августе 1856 г. он писал Лаврскому: «Я пошел сначала робко, осторожно, потом смелее, и, наконец, пред моим холодным упорством склонились и пылкие мечты и горячие враги мои. Говорят, что мой путь смелой правды приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть, но я сумею погибнуть не даром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мной мое всегдашнее неотъемлемое утешение — что я трудился и жил не без пользы». Добролюбов уже приготовлялся держать перед самодержавием ответ за свои дела, приготовлялся нести жестокую кару.

Когда шел разговор о постоянном сотрудничестве Добролюбова в «Современнике», Чернышевский нарисовал перед ним такую картину: «Наше общество не занимается ничем, кроме пустяков. Теперь, например, горячится исключительно из-за отмены крепостного права. Что такое крепостное право? Мелочь».. «Все вздор перед общим характером национального устройства. Выгоды будет очень мало и убыток невелик»... Ничто не имеет серьезной важности, «пока общий характер национального устройства не охраняет правоту и защитников ее. Все вздор»... «Пока настроение общества не изменится, литература обречена оставаться пустою, мелочною, презренною, как теперь»... «Это может продлиться довольно долгое время, если не случится ничего особенного; а ничего особенного пока еще не предвидится».

Перед Добролюбовым встают вопросы: «Какую пользу принесу я, начав писать? Что выскажу, что разъясню? Невозможно ясно писать о том, что ненавистно обществу. Всякая серьезная мысль ненавистна ему. Как я ни бейся, как ни изворачивайся, я буду писать только темные мелочи о мелочах. Умно ли мне губить себя из-за такого вздора?» Стал обсуждаться вопрос, в каком случае Добролюбов принесет бо́льшую пользу, «рискуя погибнуть раньше, нежели будут нужны серьезные писатели, или повременив до той поры, когда они понадобятся». Чернышевский советует: «Придет серьезное время. Пойдут вопросы о благе народа. Нужно будет кому-нибудь говорить во имя народа», вы должны «приберечь себя к тому времени». Добролюбов твердо решил стать на путь писательства, доказывая, что «никакое положение дел не оправдывает бездействия; всегда можно доказать что-нибудь не совершенно

бесполезное; всегда надобно делать все, что можно». Раз нет «ничего особенного», раз нет никакой возможности ставить и разрешать вопросы «национального устройства», раз нет возможности и условий делать революцию, остается, насколько возможно, внушать обществу известные идеи. Бездействовать нельзя [1].

Тут все замечательно. Видно, что Добролюбов к моменту встречи с Чернышевским был уже политически зрелым человеком, способным решать сложные вопросы. Самая постановка вопроса о деятельности Добролюбова ясно говорит, что Чернышевский видел в нем не только талантливого писателя, но и будущего вождя крестьянской революции, вождя преданного и серьезного, действующего не только по влечению чувств, не по долгу, а по глубокому размышлению, по рассудку. Чернышевский испытал, проверил силы и готовность Добролюбова на революционное дело и поставил его даже выше себя.

В это время Добролюбов еще сильно увлекался Герценом и был недоволен Чернышевским, когда тот критиковал «Колокол».

В первые годы институтской жизни Добролюбов своим авторитетом избрал Герцена, намереваясь итти по его стопам. Преклонение перед этим великим эмигрантом сохранилось и дальше, следы его ясны еще в дневнике 1857 г. С увлечением, напролет целую ночь, он читает «Полярную звезду» и любуется портретом Искандера. Однако это увлечение Герценом не помешало Чернышевскому заметить еще в начале знакомства с Добролюбовым, что последний «имел образ мыслей, не совсем одинаковый с понятиями Герцена». Окончательный и решительный разрыв произошел после статьи в «Колоколе» «Very dangerous» («Весьма опасно»), в которой Герцен, намекая на «Современник», заговорил о «тлетворной струе» в журналистике, о «разврате мысли». Герцен обозвал Чернышевского и Добролюбова «паяцами», которые забывают, что, нападая на обличительную литературу, «по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (что, боже, сохрани) и до *Станислава на шею!*» Добролюбов сначала был очень смущен, а потом занес в свой дневник: «Однако, хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности... Я лично не очень убит неблаговолением Герцена, с которым могу померяться, если на то пойдет» [2]. Это было столкновение либерализма с революционной демократией, столкновение

---

[1] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собр соч. П. 1918, т. X, ч. I, стр. 212—217. «Из дневника Левицкого».

[2] *Н. А. Добролюбов,* «Дневники», стр. 256.

резкое, глубоко принципиальное. Революционная демократия в этом столкновении своих позиций не сдала ни на иоту.

К 1857 г. Добролюбов определяется как социалист. На обеде у С. П. Галахова, где присутствовало много лиц разных чинов и положений, наслушавшись всяких пошлостей, Добролюбов пришел в смущение от роскоши обеда и размышлял о том, что есть люди, которые могут позавидовать имеющим каждый день хлеб. Он занес в свой дневник: «Мысли эти меня очень грустно потревожили, и социальные вопросы показались мне в эту минуту святее, чем когда-нибудь». Он называет себя «гуманнейшим и социальнейшим из всего кружка» и убежден, что «совратить его с его дороги ужасно трудно», что «для него вопросы социальные—вопросы внутренние, стремление души его, а никак не внешние, навязанные обстоятельствами увлечения», что «в нем внутренних сил гораздо больше» по сравнению с другими, что «к высшим вопросам, к последним решениям он подошел гораздо ближе, гораздо смелее взглянул им в лицо», чем остальные. В чем же эта решительность, смелость и близость к общественным вопросам? Ответ находим опять в дневнике. От 15 января 1857 г. он точно указывает: «Я — отчаянный социалист, хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество, с равными правами и общим имуществом всех членов, а он (Щеглов. *В. П.*) — революционер, полный ненависти ко всякой власти над ним, но признающий необходимым неравенство прав и состояний, даже в высшем идеале человечества, и восстающий против власти только потому, кажется, что видит ее нелепость Statu quo и признает себя выше ее... Идеал его — Северо-американские штаты. Для меня же идеала на земле еще не существует, кроме разве демократического общества, митинг которого описал Герцен» [1]. На этом митинге Герцен доказывал, что «воля России начнется с восстания крепостных или с их освобождения», что «мужику нужна земля», что «царство и цари пройдут, но социализм не пройдет» [2].

Мысль о социализме настойчиво тревожит Добролюбова. По совершенно неожиданным и случайным поводам у него родятся мысли, «как можно бы и хорошо бы уничтожить это неравенство состояний, делающее всех столь несчастными, или по крайней мере повернуть все вверх дном, — *авось* потом *как-нибудь* получше устроится все». «Этот странный порыв конечно скоро был успокоен хладнокровным рассуждением, доказавшим, что подоб-

---

[1] Добролюбов имеет в виду митинг 27 февраля 1855 г. в память французской революции 1848 г. Герцен выпустил в Вольной русской типографии в Лондоне брошюру с описанием этого митинга.

[2] *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений. Пгр. 1919, т. VIII, стр. 142—152, «Народный сход в память французской революции».

ное намерение глупо. Но все-таки в душе осталось чувство, что надо же делать; если делать, то нечего сидеть сложа руки» [1].

Добролюбов много и часто говорил о практической деятельности, к ней он рвался, но он видел, что для нее еще не наступило время, что революционная деятельность падет на долю следующих поколений. В этом отношении весьма показательна переписка с Шемановским. Шемановский, томясь пустой провинциальной жизнью в Ковне, куда он попал по окончании института, писал мрачные письма. Добролюбов отвечал: «Ведь ты знаешь, что вся наша надежда на будущие поколения. Было время, и очень недавно, когда мы надеялись на себя, на своих сверстников; но теперь и эта надежда оказывается неосновательною. Мы вышли столько же вялыми, дряблыми, ничтожными, как и наши предшественники. Мы истомимся, пропадем от лени и трусости. Бывшие до нас люди, вступившие в разлад с обществом, обыкновенно спивались с кругу, а иногда попадали на Кавказ, в Сибирь, в иезуиты вступали [2] или застреливались. Мы, кажется, и этого не в состоянии сделать. Полное нравственное расслабление, отвращение от борьбы, страсть к комфорту, если не материальному, то умственному и сердечному, делает нас совершенно бесполезными коптителями неба, негодными ни на какую твердую и честную деятельность». Чувствуя спад общественного подъема, который был при воцарении Александра II, критик горит желанием написать «много и горячо о той мрачной, бессильной, ожесточенно-грустной тишине, которая господствует теперь между нашими лучшими людьми, после тех неумеренных надежд, каким предавались три года назад» [3].

Добролюбов, конечно, преувеличивает. Он сам сознает, что еще не все утеряно в жизни; он утешает своего друга: «Поверь, что в жизни есть еще интересы, которые могут и должны зажечь все наше существо и своим огнем осветить и согреть наше темное и холодное житьишко на этом свете. Интересы эти заключаются не в чине, не в комфорте, не в женщине, даже не в науке, а в общественной деятельности. До сих пор нет для развитого и честного человека благодарной деятельности на Руси; вот отчего и вянем, и киснем, и пропадем все мы. Но мы должны *создать* эту деятельность; к созданию ее должны быть направлены все силы, сколько их ни есть в натуре нашей. И я твердо верю, что, будь сотня таких людей, как мы с тобой и с Ваней (Бордюгов. *В. П.*), да решись эти люди и согласись между собою окончательно, — деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскуран-

[1] *Н. А. Добролюбов*, «Дневники», стр. 185.

[2] Добролюбов имеет в виду Печерина, Гагарина, Голицына, которые ушли в католицизм и о которых писал Герцен.

[3] «Материалы», стр. 463.

тов... Верь, Миша, что, пока мы сами себя не заговняем, нас не задавит чужой навоз. Мы еще чисты, свежи и молоды, сил в нас много; впереди еще две трети жизни... Мы можем овладеть настоящим и удержать за собой будущее» [1].

Интересно с этими настроениями Добролюбова сопоставить настроения Герцена после подавления польского восстания. В статье «Россия и Польша» Герцен писал: «Оставалось сломиться, нравственно изнемочь и, как Чаадаев в знаменитом своем «Письме», проклясть прошедшее, настоящее и будущее России и быть, сломя в себе человека, человеком без родины. Казалось бы так, а на деле вышло иначе. В этот двенадцатый час, среди тягости, дошедшей до последней степени тиранства, в то время, когда Печерины, Гагарины, Голицыны бежали в католицизм, чтобы не задохнуться, мы еще раз взглянули внутрь своей души и перестали верить... во что, вы думаете?.. в прочность наших цепей. Из глубины сердца нашего вырвался крик отрицания существующего порядка, крик протеста. В нас, на этой последней степени унижения, что-то заговорило: это неправда, мы этого не заслужили, *потому что мы нравственно свободны и крепки мыслью!* Итак, вместо того, чтобы сломиться, мы перешли *внутренно* кризис: это далеко не все, однако ж, многое просвечивается в будущем» [2].

Как снисходителен к себе Герцен и как строг, суров Добролюбов. Один успокаивается, что «перешли *внутренно* кризис»; другой, наоборот, сгущает характеристику, никого из нее не исключая, «всего меньше себя». Добролюбов упорно ставит перед собой обязательную задачу создать революционную деятельность. В этих двух размышлениях ясно очертилась разница людей 40-х и 60-х годов, либеральных дворян и представителей разночинной революционной демократии.

Некрасов в стихотворении «Поэт и гражданин» писал:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной, —
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно;
Умрешь не даром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

Для Добролюбова эти слова были закон. На них он ссылается и в письме к Шемановскому в августе 1859 г.

Добролюбов видел, что в данный исторический момент «на пер-

---

[1] «Материалы», стр. 510.
[2] *А. И. Герцен*, Полное собр. соч. под ред. М. Лемке, т. X, стр. 249.

вом плане стоит *инициатива*, т. е. способность человека самостоятельно, самому по себе браться за дело»... «Такое изменение тенденций произошло в обществах новых народов Европы с конца прошлого столетия. Можем сказать, что изменение это не миновало отчасти и нас» [1]. Намекая прозрачно на французскую революцию, 1789 г., указывал, что революция не анархия, не бес порядок, как думали либералы, а борьба за самую настоящую законность. Так он, например, писал и о революции 1848 г. Революционность Добролюбова хорошо была известна в студенческих кругах. Н. Николадзе рассказывает в своих воспоминаниях, как студент Пиотровский горько плакал, узнав о смерти критика, и доказывал, что «Чернышевский не заменит Добролюбова, особенно теперь». Чернышевский осторожен. «Добролюбов же, будь он здоров, не только пришел бы, но и повлек бы нас за собою бог весть куда» [2]. Да и сам критик писал летом 1861 г. Чернышевскому: «Если бы было такое дело, которое можно бы порешить курциевским манером, — я бы без малейшего затруднения совершил Курциев подвиг, даже и не думая, чтобы его можно было ставить в заслугу» [3]. Очевидно, Добролюбов делает намек на какой-либо террористический акт.

Третье отделение следило внимательно за Добролюбовым. Когда В. Обручев сидел в Алексеевском равелине, то во время допроса о «Великоруссе» и «Современнике» генерал Потапов, начальник Третьего отделения, расспрашивал о Добролюбове и сожалел, что «умер он-с» [4]. А когда разбиралось дело «Первого марта 1887 г.», прокурор заявил: «В кого и когда вселилась впервые мысль о злодеянии — решить трудно, но едва ли я ошибусь, если скажу, что первая, проявившаяся внешним образом попытка возбудить умы молодежи относится к 17 ноября 1886 года. День 17 ноября—день годовщины смерти литератора Добролюбова. День этот ознаменовался беспорядками на Волковом кладбище». И прокурор имел известные основания так говорить. В прокламации «17 ноября в Петербурге» писалось: «Он (Добролюбов. *В. П.*) не только заставил руский народ обратить внимание на свои язвы; в то же время он указал и средства, которыми они могут быть излечены». Составители прокламации причислили критика к кругу тех лиц, которых «признавали своими учителями, которые завещали бороться... с неправдой и со злом русской жизни» [5].

---

[1] Том V, стр. 190, «Забитые люди».

[2] *Н. Николадзе*, «Воспоминания о шестидесятых годах». «Каторга и ссылка», 1927, № 4/33, стр. 49.

[3] «Переписка Чернышевского». «Московский Рабочий», 1926, стр. 105.

[4] *В Обручев.*, «Из пережитого». «Вестник Европы», 1907, № 5.

[5] «Первое марта 1887 года». «Московский Рабочий», 1927, стр. 241, 379.

Добролюбов никогда не удовлетворялся литературной деятельностью, его тянуло к политической борьбе, большой и ответственной, но он не находил в себе для этого достаточно моральных и физических сил. Н. Островская, приводя в своих воспоминаниях разговоры своего учителя с ее отцом, приводит слова Добролюбова: «Пишешь только потому, что ничего другого делать нельзя»[1]. А в письме к Бордюгову он прямо заявляет: «Работа моя сделалась тяжела и отвратительна. «Ужасно приятно сочинять остроумные статейки, в то время, когда плакать хочется каждую минуту и на сердце кошки скребут». Он даже сравнил себя с «девицами, продающими свои прелести»[2].

Таков путь Добролюбова от «консервативной безответственности» к революционной деятельности. К сожалению, смерть так рано унесла критика в могилу, что он не успел показать себя как революционный деятель. Это, несомненно, был бы революционер большой силы, вождь крестьянской революции.

Все же находятся люди, академики, которые ровно ничего не поняли в политическом развитии Добролюбова. Ограниченный либерал Н. Котляревский на страницах не менее ограниченного «Вестника Европы» доказывал: «Считаясь с тем материалом, каким мы располагаем, мы можем сказать с уверенностью, что к революционной программе сердце Добролюбова не лежало. Не был он поклонником и форм конституционных. Что думал он о возможности введения этого строя в России, мы не знаем». «Предложить читателю какую-нибудь политическую программу он не мог. В революционеры не годился, конституционный либерализм был ему подозрителен, социализм был дорог его сердцу, но веры в возможность немедленного его насаждения в России Добролюбов не имел. И на все вопросы о желанном политическом строе, которые он сам себе задавал в тиши, он, вероятно, отвечал так: подождем, что скажет сам народ, на пользу которого, собственно, и должны пойти все наши размышления и наши планы. Пока он молчит, до тех пор рискованно говорить за него; заговорит он, вероятно, очень скоро, и тогда русский интеллигент в своих практических стремлениях станет на твердую почву. Теперь же остается верить в народ и готовиться к его пришествию»[3].

Таков результат либерально-«объективного» изучения литературной деятельности молодого критика. Почтенный академик просто-напросто опошлил Добролюбова, подогнал его под свою по-

---

[1] *Н. Островская.* «Мои воспоминания о Н. А. Добролюбове». «Волжский Вестник», 1893, № 296.

[2] «Материалы», стр. 493, 495.

[3] *Н. Котляревский*, «Из истории общественного настроения шестидесятых годов. Николай Александрович Добролюбов. Его программа». «Вестник Европы», 1911, декабрь, стр. 271, 275.

литическую ограниченность и выдал все это за беспристрастное исследование, ровно ничего не поняв в деятельности замечательного критика, а если поняв, то безгранично все исказив. Такие ученые люди, так изучив деятельность какого-либо большого человека, уверенно заявляют: он наш, мы его идейные наследники. Такие попытки были и по отношению к Добролюбову.

Несколько далеких воспоминаний. Летом 1905 г. во Владимире на Клязьме, на квартире у писателя П. Булыгина, было нелегальное собрание, на котором П. Милюков делал доклад о характере надвигающейся революции, о ее корнях в прошлом, — точно темы не помню. Он доказывал, что конституционно-демократическая партия живет идейным наследством Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Доклад был так сделан, что неопытному человеку скоро не разобраться в сложном хитросплетении доказательств. На собрании были социал-демократы. Может быть, мы не привели достаточно нужных цитат, но мы все же оспорили право кадетов на идейное наследство указанных писателей, подчеркнув настойчиво, что они наши революционные предшественники, что никакого своего наследства они не могли передать в руки партии, расчищающей дорогу капиталистической эксплоатации, партии,враждебной пролетариату, трудовому крестьянству и широким трудовым слоям народа.

Попыткам П. Милюкова интересно противопоставить заявление Б. Чичерина. В 1897 г., полемизируя с Герценом, а заодно с Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, он писал: «Им равно чужды были и философия, и эстетика, и даже всякое серьезное знание, а потому это направление проявилось у них во всей своей уродливости... Однако и чистые отрицатели не обходятся без некоторых положительных начал; но они избирают такие, которые не требуют ни знания, ни умственной работы. Создаются разные фантазии о будущем блаженстве человеческого рода, которые, не имея никакой практической почвы, представляют только чистый плод воображения... В новейшее время все это завершается теорией экономического материализма», т. е., по мысли автора, марксизма [1].

Конечно, авторитет Чичерина слишком мал для того, чтобы одним голым заявлением, да еще вскрывающим полное непонимание марксизма, решить вопрос, предшественником какого общественного направления мысли был Добролюбов. Все же заявления Чичерина о критике имеют определенный интерес, особенно в сопоставлении с утверждениями П. Милюкова. Чичерин хотел убить Добролюбова, совершенно не подозревая, что он воскреша-

[1] *Б. Чичерин,* «Несколько слов о философско-исторических воззрениях Грановского». «Вопросы философии и психологии», 1897 г., февраль, стр. 8.

ет его и ставит на надлежащую высоту в истории русской общественной мысли.

В свое время исказил Добролюбова и историк русской критики И. Иванов; защищала его Вера Засулич, восстановляя его революционный образ. Она жестоко и справедливо била Иванова за то, что он Добролюбова «обладил в примерного мальчика из нравоучительной книжки». Она этому Иванову, как школьнику, читала нотации. Оставляя в стороне его ум и чувства, его благие цели, она, ополчаясь против искажений, отчитывала: «Каковы бы ни были эти благие цели, мы и вникать-то в них считаем лишним... Мы думали, что нет той цели, которая могла бы оправдать искажение прошлого, что история учит не для нотаций настоящему, не для уроков или темных намеков, которые еще никогда и никого ни от чего не предостерегали и не предостерегут, а для понимания настоящего при помощи прошлого» [1].

Все это мы должны были бы повторить Н. Котляревскому, но он уже мертв, и мы свободны от скучной истории вразумлять гнилой либерализм. Да и взяли мы этих представителей либеральной науки не для того, чтобы ругать их, — история вдребезги их разбила, — а чтобы лишний раз воодушевить марксистско-ленинскую мысль взяться за изучение культурного наследства прошлого и осветить его нашим светом.

Защищал Добролюбова и т. Ленин, сильно защищал, хотя не прямо, а косвенно, в борьбе с меньшевиками-ликвидаторами. Последние возились около черной четвертой государственной думы. Пытаясь вырвать ее из рук реакции, одновременно выступая против большевиков, охраняя работу либералов, меньшевики начали подводить под свою тактику идеологию. Много лиц трудилось над этим неблагодарным и пустым делом. Меньшевик М. Неведомский, пытаясь объяснить «настоящее при помощи прошлого», начал искажать Добролюбова, приспособляя его для своих меньшевистских целей. Тут его т. Ленин и ударил. Он спрашивал с насмешкой: «Неужели не ясно, что ту же песенку поют и Левицкие, философски углубляющие либеральные идеи о борьбе за право, и Неведомские с их новым «пересмотром» идей Добролюбова задом наперед, *от* демократизма *к* либерализму, и Смирновы, делающие глазки «прогрессизму», и все прочие рыцари «Нашей Зари» и «Живого Дела?» [2].

А как т. Ленин понимал демократизм Добролюбова, видно из

---

[1] *В. И. Засулич*, Сборник статей, изд. «Библиотеки для всех», 1907, т. II, стр. 300. «Д. И. Писарев и Н. А. Добролюбов».

[2] *Н. Ленин*, Сочинения, 2-е изд., т. XV, стр. 459. «Избирательная кампания в IV думу и задачи революционной социал-демократии». Статья М. Неведомского «О Добролюбове» была помещена в «Нашей Заре», 1911, ноябрь.

его доклада «Очередные задачи советской власти». Отстаивая Советы от нападений социал-демократов, Ленин писал: «Современным «социал-демократам», оттенка Шейдемана или, что почти одно и то же, Мартова, так же претят Советы, их так же тянет к благопристойному буржуазному парламенту, или к Учредительному собранию, как Тургенева 60 лет тому назад тянуло к умеренной монархической и дворянской конституции, как ему претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского»[1].

Вот этот «мужицкий демократизм», демократизм крестьянской революции, мы и должны защищать в Добролюбове от всяких попыток, откуда бы они ни исходили, истолковать мировоззрение критика применительно к либерализму, или как выражался Щедрин, «применительно к подлости».

IV

Любовь к литературе Добролюбов начал проявлять очень рано. В 1847 г., еще до поступления в духовное училище, он придумывает литературную игру. Со знакомым мальчиком он вел переписку «от имени царей и великих полководцев к другим людям того же класса». Обменялись более чем семнадцатью письмами; одно из них латинское. Это было время, «когда рассудок не возмущал спокойствия и радостей сердца». Надо полагать, что в 1848—1849 г. он писал «Священную историю для простолюдинов». Имеется набросок первой главы «Начало мира».

В семинарии, в классе словесности, в 1850 г. он начинает вести «Летопись классических глупостей». В эту «Летопись» он заносил подмеченные им глупости как со стороны преподавателей, так и воспитанников. Написал он всего 1½ страницы, занеся учительские наставления: «Богатство слов или многое множество слов в языке — хотя с одной стороны делает несовершенным язык, но с другой стороны придает и многие совершенства». А вот занимательные ответы учеников: вместо того, чтобы сказать: «сочинения прозаические разделяются на описательные, повествовательные, ученые, ораторские и смешанные, т. е. разговоры и письма», ученик отвечал: «сочинения поразительные разделяются на спасительные, повелительные, ученые, краковские и смешные, т. е. раздоры и письма». В этом же году Добролюбов приступает к изданию рукописного журнала «Ахинея» с тремя отделами: словесность, критика и наука. В нем он поместил статью «Известие о некоем новоявленном, великом неразгаданном существе и его стихотворениях, вышедших в Нижнем-Новгороде in 4-ку, на 26 страницах под названием: «Стихотворения Митрофана Лебедева». Это была

[1] *Н. Ленин*, Сочинения, т. XXII, стр. 467.

иронически-разносная статья, но, как он вспоминает впоследствии, вполне справедливая. В это же время он написал еще две заметки: одну относительно «Четырех времен года» Григоровича, другую по поводу сочинения Делицына — «Св. Лев, папа римский». Вторая книжка журнала не вышла.

Одновременно Добролюбов пишет стихи. К концу 1850 г. он собрал около 40 стихотворений и направил их в «Москвитянин», прося напечатать и выслать 100 руб. гонорара. Перед нами тетрадь стихотворений Добролюбова, написанных между мартом и 18 августа 1850 г., самокритическое письмо по поводу их от 1853 г. к своему семинарскому товарищу А. М. Крылову. В тетради 15 стихотворений на разные темы. Ничего оригинального ни в смысле тематики, ни в смысле поэтических достоинств они не представляют, но для четырнадцатилетнего мальчика они характерны по своему содержанию. В стихотворениях отразились смутное, неопределенное чувство недовольства жизнью, склонность к сатире и натурализм, выявившийся позже как реалистическое направление. Среди них есть подражания Кольцову и Тютчеву. Последнего Добролюбов считает поэтом второстепенным, хотя ему и нравятся тютчевские описания природы. Особый интерес представляет самокритическое письмо. В нем отразились глубокий ум семнадцатилетнего юноши, его исключительная к себе требовательность, понимание себя и трезвая оценка своих настроений. Письмо свидетельствует об интенсивной умственной жизни. Оказывается, что к этому году у Добролюбова набралось около сотни лоскутков, исписанных его стихотворениями. Писал он их дома и в классе. По его мнению, это «просто какая-то галиматья, без складу и ладу, без чувства и меры». «Это уроды нравственные, порождения даже не фантазии, а какого-то резонерства, вычитанного из чужих сочинений. Иногда есть в них и претензии на высокую мысль, оригинальная выходка, стремление или искажение какого-то чувства; но все это, кроме того, что вяло и неудачно,—ложно; все это не мое собственное, а чужое, вычитанное, слышанное иногда, — и я сам для себя становлюсь очень смешон». Он просит не называть его поэтом, «это оскорбляет в нем чувство истины и чувство изящного, — оскорбляет в глазах его поэзию и истинных ее представителей». В одном из стихотворений он останавливается на глаголе «затаите» и замечает: «Несмотря на обоюдность в слове «затаите (пов. наст. и изъявит. будущ.), оно (стихотв. *В. П.)* мне нравится: я действительно такого мнения, что «сердечных излияний» не должно быть у человека, истинно проникнутого чувством, а что толковать о том, что у тебя на сердце, можно только в минуты тяжкой скуки, да еще — когда нет ничего ни на сердце, ни в голове» [1].

[1] *Н. А. Добролюбов,* «Дневники», стр. 259—270.

Это мысли вполне взрослого человека с определенными взглядами.

Когда Добролюбов развернул свою литературную критику, сколько людей и сколько раз упрекали его в отсутствии у него чувства прекрасного, а оно, оказывается, было развито в нем уже в семнадцать лет. Какое глубокое и напряженно искреннее стремление вылить свое настроение в такую форму, чтобы не погрешить ни в содержании, ни против законов грамматики. Одновременно замечание говорит и о глубокой психологической содержательности Добролюбова и проливает свет на бесчисленные упреки в замкнутости, сухости и т. п. Оказывается, дело не в замкнутости, а в совершенно другом, в более глубоком понимании поэзии, что далеко не многим свойственно.

С сентября 1851 г. Добролюбов начинает вести дневник. В 1852 и 1853 гг. он пишет три статьи для «Нижегородских губернских ведомостей»: «Мысли при гробе Козьмы Минина», «О погоде», «Благородный спектакль в Нижнем-Новгороде». В это же время под псевдонимом «Владимир Ленский» он посылает 12 стихотворений в «Сын Отечества». Стихотворения и статьи не были напечатаны; но это не смутило юношу; он попрежнему пишет, сохраняя свои литературные опыты.

Здесь уместно будет сказать несколько слов о намечавшихся литературных вкусах Добролюбова, поскольку о них можно судить по его отзывам о прочитанных книгах. Ему нравится роман «Мертвое озеро»: это «прекрасный роман», «превосходная вещь». Нравятся ему и «Парижские тайны». Он чувствует, что «характеры большею частью изуродованы», но, поскольку сочинение «очень занимательно», он делает пометку: «А все-таки сочинение очень хорошее». Ругает он Е. Растопчину за ее драму «Семейная тайна». Он удивляется, как это «в лакейской гр. Растопчиной сидят сентиментальные пастушки, а в гостиной собираются лакеи». Интересно отношение к «Двойнику» Достоевского: «Двойник» перечитал в другой раз, и он мне показался вовсе не таким гадким, как прежде, теперь я понял, что Голядкин — помешанный». Он нападает на Гоголя за его «Избранные места из переписки с друзьями»: «Гоголь из романиста сделался святошей...» Критикует он и «Повесть об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче»: «Рудого Панька повесть уморительна, а содержание дрянь». Сильно хвалит Добролюбов «Богатого жениха» Писемского: «Очень занимательное произведение нового таланта... Читаешь и чувствуешь, что это писано талантом, и талантом недюжинным. Я решительно полюбил Писемского за один этот роман... Б. ж. обнаруживает в авторе несомненный талант, который как-то осязательно высказывается при чтении его повести. Я испытал это». Хвалит Добролюбов повесть Вельтмана «Сердце и думка»,

«Графа Монте-Кристо» Дюма, а о «Графине Салисбюри» отзывается: «Такая дрянь. Ужели это Дюма?» Имеется ряд отзывов на научные книги. Сильно Добролюбов увлекался Лермонтовым. Очень характерна его заметка в тетради от 1851 г.: «Лермонтов особенно по душе мне. Мне не только нравятся его стихотворения, но я сочувствую ему, я разделяю его убеждения. Мне кажется иногда, что я сам мог бы сказать то же, хотя и не так же — не так же сильно, верно и изящно. Не много есть стихотворений у Лермонтова, которых бы я не захотел прочитать десять раз сряду, не теряя при том силы первоначального впечатления. Грусть и презрение к жизни нередко были последствием чтения Лермонтова. А это много значит, когда поэт производит такое впечатление: чувство это не мимолетное и довольно глубокое и не скоро преходящее. «Героя нашего времени» прочел я теперь в третий раз, и мне кажется, что чем более я читаю, тем лучше понимаю Печорина и красоты романа. Может быть, это и дурно, что мне нравятся подобные характеры, но тем не менее, я люблю Печорина и чувствую, что на его месте я сам то же бы делал, то же бы чувствовал. Быть может, это болезнь раннего развития. Мне до такой степени жаль смерти Лермонтова, что я почти готов верить в его тожественность с Шамилем. Конечно — глупость».

Чернышевский предполагает, что в 1853 г. Добролюбов написал повесть «Провинциальная холера». «Возможно,— говорил Чернышевский К. Федорову, — что повесть... была впоследствии переделана в ту самую повесть, которую Добролюбов прислал в редакцию «Современника» в 1855 г. Не одобренная Панаевым, она была им возвращена Добролюбову обратно с неуместным советом: «Лучше прилежнее готовить свои уроки, чем тратить время на сочинение негодных повестей», что очень огорчило тогда Добролюбова [1].

Радонежский, вспоминая этот эпизод, добавляет, что Панаев сказал ему еще, чтобы он «не совался в беллетристику», что он пишет «не повесть, а критику на сцены, им придуманные».

Повесть, действительно, крайне слаба, но во всем этом инциденте характерна та настойчивость, с которой Добролюбов пробивается в литературу, несмотря на все неудачи.

Повесть эта потом попала к Некрасову, и он не принял ее, посоветовал переделать. Поэт, однако, заметил, что перед ним даровитый юноша, умный, развитой, который с большим толком прочел массу книг и хорошо знаком с русской литературой.

Все эти литературные опыты еще не являлись подлинным литературным материалом, они вне литературы, но говорят они

---

[1] «Литературное Наследство», 1932, № 3, стр. 142.

о многом: и о глубоком органическом влечении юноши к литературной деятельности, и о разнообразии его интересов, и о его умственном и нравственном росте, и о развитии его характера. Добролюбов сам признается, что его «главным образом соблазняет авторство»; Петербург привлекает его не превосходством столичного образования, — это на втором плане, — а возможностью вращаться в среде литераторов и журналистов. У юноши развивается страсть к критике и публицистике. Он любит читать «журналы и преимущественно отдел библиографии и журнальные заметки».

С осени 1855 г., как уже указано выше, Добролюбов издает рукописную газету «Слухи», а затем «Сплетни».

Студенческие работы Добролюбова заслуживали одобрения профессоров И. И. Срезневского и Н. М. Благовещенского и отмечались как достойные печати. Одна из работ была напечатана в трудах Академии наук.

В VII книжке «Современника» за 1855 г. Добролюбов поместил перевод статьи Литре «Говорящие столы и стучащие духи». В VIII и IX книжках за подписью «Н. Лайбов» Добролюбов опубликовал большую интересную оригинальную статью «Собеседник Любителей Российского Слова». Статья сразу привлекла общее внимание. Тургенев запросил из Парижа Панаева, кто автор статьи, а самую статью назвал «весьма дельной». Об авторе заговорили, как о человеке, подающем большие надежды. Чем же статья привлекла внимание? С одной стороны, богатыми знаниями в области истории русской литературы, русской журналистики и истории вообще; с другой стороны, политической постановкой вопроса. Добролюбов рассуждал так: до сих пор были главным образом библиографы. Их идеал — Сопиков и Анастасевич, основатели русской библиографии. «Наполняя литературу указателями, помещая в журналах указатели, основывая свою ученую славу на составлении указателей, они смело будут говорить всей России: вот где истинное ученое достоинство, вот где основательные, дельные труды, заслуживающие бессмертия в потомстве». В противовес этим «ученым историкам» литературы Добролюбов захотел показать, как в литературе отразилась общественная жизнь, чему литература учит, как она воспитывает общество. Он хотел «более уважать критика, который дает нам верную, полную, всестороннюю оценку писателя или произведения, который произносит новое слово в науке или искусстве, который распространяет в обществе светлый взгляд, истинные, благородные убеждения». Добролюбов хотел, чтобы голос критика был «звучный, ясный», чтобы он долго отзывался в обществе, чтобы народ чувствовал «благотворное влияние его убеждений, его горячей, смелой, задушевной проповеди». Добро-

любов, конечно, понимал, чем вызвана осмеиваемая им библиография, этой работы он не отрицает, пользу ее признает, но доказывает, что теперь наступило новое время и стоят перед критикой новые, глубокие и серьезные общественные задачи, требующие другого направления критики. Библиографы — «это несчастные каменщики, перетаскивающие камни к месту стройки; это жалкие рудокопы, копающие землю, чтобы отыскать в ее грудах зернышко золота. Они полезны, они необходимы, они даже достойны уважения», но он хочет «все-таки более уважать архитектора, распоряжающегося стройкой, геолога, указывающего руду. Их дело, может быть, требует менее постоянного, тяжкого, изнурительного труда, но я знаю, что они-то именно и придают значение трудам каменщиков и рудокопов, что от них-то мир может ожидать открытий и планов, на исполнение которых всегда найдется довольно много людей».

В этих общих формулировках уже намечается будущая программа литературной деятельности Добролюбова. Послышался новый, крепкий голос, подул свежий ветер; все сразу всколыхнулось, многие заволновались. Пыпин попробовал было защитить библиографов, но не сумел. Он даже не понял, что тут дело не в простой защите группы литературных работников, а в разных классовых позициях. Добролюбов требовал от критика, чтобы он «старался представить выводы, результаты, итоги, а не частные счеты, не множители и делители». Вот этих-то конечных итогов и не могли дать трудолюбивые библиографы. Добролюбов же, рассматривая «Собеседник», подвел общие итоги и указал обществу, что теперь надо ломать старое и строить новое. Библиографы в этом деле не нужны. Библиографическую критику Добролюбов заменил социологической критикой. Этого требовали интересы революционной демократии. Этого сразу не поняли, но что-то неладное почувствовали все, и забеспокоились.

В VIII же книжке «Современника» появилась рецензия Добролюбова на описание Главного педагогического института и на акт в институте. Рецензия вызвала много хлопот. За разрешением печатать ее Некрасов обращался даже к попечителю округа. Рецензия была насыщена тонкой иронией, юмором, в то же время она была острой, жгучей и, по словам Чернышевского, поскольку был скрыт действительный автор, была приписана ему и доставила «бесчисленные овации».

Этими статьями Добролюбов вошел в первые ряды журналистики. С осени 1857 г., по окончании института, он стал постоянным влиятельным сотрудником журнала, а потом и одним из его редакторов. Чернышевский сразу убедился, какой большой человек Добролюбов; понял это и Некрасов. Видя полное сходство во взглядах, Чернышевский предоставил молодому критику

полную свободу развивать и высказывать свои мысли до конца.

В «Прологе» Волгин-Чернышевский рассказывает своей жене, что он «нашел человека, который тоже может писать как надобно». И вот этот студент Левицкий-Добролюбов «вчера, вечером, принес статью — небольшую,— читаю: вижу, совсем не то, как у всех дураков, — читаю, думаю: «неужели, наконец, попадается человек со смыслом в голове?» — Читаю,— так, так, должно быть — со смыслом в голове! — Ну, и потом стал говорить с ним. И вот, потому-то, собственно, пришлось не спать,— нельзя, мой друг, за это и ты не можешь осудить. Проговорил с ним часов до трех. Это — человек, голубочка, со смыслом человек. Будет работать...

— Помню теперь,— заметила Волгина...— Это еще вовсе молодой человек, мой друг,— и уже так рассудительно понимает вещи, которые, по-твоему, не понимает никто из литераторов?

— Да, ему двадцать первый год, только еще. Замечательная сила ума, голубочка! — Ну, пишет превосходно, не то, что я: сжато, легко, блистательно; но это хоть и прекрасно, пустяки, разумеется,— дело не в том, а как понимаешь вещи. Понимает. Все понимает, как следует. Такая холодность взгляда, такая самобытность мысли в двадцать один год, когда все поголовно, точно пьяные! Хуже: пьяный проспится, дурак никогда» [1].

А Левицкий заносит в свой дневник следующий разговор с Волгиным:

«Ну, так до послезавтра, Владимир Алексеевич. Послезавтра опять буду в городе. Поговорим еще. А впрочем, могу сказать вам и теперь: пишите о чем хотите, сколько хотите, как сами знаете. Толковать с вами нечего. Достаточно видел, что вы правильно понимаете вещи!»

«Вы предоставляете мне полную волю в журнале?»

«А разве были вы очень нужны мне, если б не так? — Сотрудников, которых надобно водить на помочах, можно иметь, пожалуй, хоть сотню; да что в них пользы? Пересматривай, исправляй, — такая скука, что легче писать самому».

«Вы не будете просматривать моих статей?»

«А что будет в них любопытного? Признаться вам сказать, не буду читать и напечатанных, не только до печатания. И без того приходится читать слишком много пустяков,— ха-ха-ха! — Благодарите за комплимент».

«Но я могу делать ошибки».

«А ну вас и с вашими ошибками! Только время теряю с вами — ха-ха-ха! — Ну, прощайте. Приходите послезавтра. Поговорим еще, хоть не о чем» [2].

---

[1] *Н. Г. Чернышевский*, т. X, ч. I, стр. 36.

[2] Там же, стр. 210. Письмо к г. З-ну.

Когда враги Добролюбова пытались снизить литературную деятельность Добролюбова, Чернышевский указал им: «Я понимал, что для меня невыгодно, если бы мои статьи могли быть сближаемы со статьями Добролюбова для сравнительной оценки нас обоих. Поэтому я старался и вовсе не писать для отдела критики и библиографии; а когда Добролюбов говорил мне, что он не успеет наполнить этих отделов и что нужна моя статья, я брал предметы, не входившие в круг его обыкновенных работ»... «Даже когда он был за границей и необходимо стало мне писать для отдела критики, я все-таки не писал ничего о беллетристических книгах и о сочинениях по тем отраслям литературы, которыми прежде занимался он. Я хотел избегать невыгодного для меня сравнения, надеясь, что он возвратится к нам, поправившись здоровьем, и возобновит свою деятельность» [1].

Не менее интересные воспоминания оставил М. Антонович. Он воспроизводит разговоры Чернышевского: «И какой у Добролюбова верный литературный взгляд... какое тонкое чутье, какая проницательность; ее не обманет никто и ничто не скроется от нее. Вот я прочитал что-нибудь, и мне оно кажется хорошо, естественно, искренно и правдиво; но прочтет это же самое Добролюбов и находит, что оно нехорошо и неискренно, и несправедливо. Я потом посмотрю и, действительно, сам вижу, что я ошибся, а он прав» [2].

Чернышевскому не раз приходилось выслушивать похвалы неподписанным статьям в «Современнике». Полагали, что эти статьи принадлежат ему, а они «обычно принадлежали Добролюбову».

В своей литературной деятельности Добролюбов был проповедник, изобличитель. В своих писаниях он беспощаден, зол, желчен; предмет его статей был таков, что говорить спокойно не было сил. Ему свойственна тонкая ирония, насмешка и сарказм. Чего только стоят его вещи в «Свистке»! Он был не только критик, сатирик, но и поэт. Ему свойственна и глубокая задушевность и нежность. Он был гениальным публицистом, не знающим компромисса, но его желчность была всегда правдива и согрета страстной любовью и искренней теплотой «ко всему хорошему», как писали раньше. М. Протопопов писал, что Добролюбов «не словесных дел мастер, не литературный эксперт, не художественный оценщик, а неустанный ходатай и представитель за обездоленный народ». Свою литературную деятельность Добролюбов отдал на служение крестьянской революции, он знакомил общество с жизнью замученного народа, возбуждал в нем поли-

[1] *Н. Г. Чернышевский*, т. IX, стр. 102. «В изъявление признательности».

[2] *М. Антонович*, «Из воспоминаний о Н. А. Добролюбове». «Журнал для всех», 1902, № 1.

тическую энергию, но одновременно и «скептическую трезвость» в делах. При всей своей могучей страстности он жил преимущественно рассудком, спокойным, холодным, уравновешенным. Рассудок господствовал и в его статьях.

Сравнивая статьи Писарева и Добролюбова, Протопопов заметил: «Писарева можно заслушаться, но слушаться рискованно, а на Добролюбова можно положиться» [1]. Это действительно так. Как стилист Писарев выше Добролюбова. Он писал с блеском, феерически, вызывая восхищение и преклонение не только у современников, но и после своей смерти. Добролюбов же брал глубиною смысла, силою логики и тем, что он был строгий, последовательный революционер, демократ, социалист, идеолог крестьянской революции.

«Не уступая нисколько Белинскому в литературном таланте, Добролюбов имел уже преимущество перед ним в том, что получил основание, несравненно более прочное и твердое; он с первого шагу стал на прямой путь, вполне сознавая, куда он ведет, и пошел по нем ровным и твердым шагом, не уклоняясь в стороны, не увлекаясь, не впадая в юношеский пафос, не подчиняясь и не кланяясь литературным авторитетам и не делая им ни малейших уступок. Никто так глубоко и верно, просто и здраво не смотрел на явления русской жизни и на последние произведения русской литературы; никто так горячо не сочувствовал нашим насущным потребностям... В его статьях проглядывала та мощь, та внутренняя, сосредоточенная сила, которая обнаруживала в нем будущего великого двигателя; его статьи были проникнуты глубокой любовью к человеку, самым горячим участием к нашим низшим братьям и самым искренним и здоровым патриотизмом... Они, несмотря на срочность и быстроту журнальной работы, развивались стройно, с изумительною логическою последовательностью, с каким-то внешним спокойствием, под которым, однако, слышалось биение горячего, любящего сердца и из-под которого проглядывал юмор человека, оскорбленного всякой ложью, лицемерием и пошлостью» [2].

В разговоре с Нивельзиным Волгин признавался: «Литературного таланта у меня нет. Я пишу плохо. Длинно, часто безжизненно. Десятки людей у нас умеют писать гораздо лучше меня. Мое единственное достоинство, — но важное, важнее всякого мастерства писать, — состоит в том, что я правильнее других понимаю вещи. А у него (Левицкого. *В. П.*), кроме этого достоинства, есть и талант. Огромный» [3].

Чернышевский скромничает; он был писатель огромного та-

[1] *М. Протопопов.* «Н. А. Добролюбов». «Русская Мысль», 1896, XII.
[2] *И. Панаев,* Собрание сочинений, 1912, т. VI, стр. 342.
[3] *Н. Г. Чернышевский,* т. X, ч. I, стр. 93. «Пролог».

ланта с колоссальнейшей эрудицией. Но верно, что и Добролюбов также проявил большую эрудицию и большой литературный талант.

*

В 1862 г. вышла книжка П. Бибикова, посвященная литературной деятельности Добролюбова и защищающая его. Написана она под свежим впечатлением смерти молодого критика. Начинается она как раз с перечисления нападок по адресу Добролюбова. Критика упрекали «в так называемом отрицательном направлении, за которым не видно ничего положительного, ничего утешительного, ничего прочного, что заменило бы нам хоть сколько-нибудь то, что убито, отнято беспощадным анализом, всесокрушающею силою отрицания». Его упрекали «в неуважении к авторитетам науки, искусства и поэзии». Его упрекали «в недостаточной подготовке для принятой на себя критической деятельности, в недостатке сведений, в презрении к ним, одним словом, в поверхностном воспитании и образовании, удовлетворявшемся одними верхушками собранных наукою знаний». Его упрекали, наконец, «во внешних приемах его критики, в ее форме, которая неприлична, дерзка и нахальна, как следствие его неуважения к столпам науки, к деятелям жизни, ко всякого рода авторитетам» [1].

Вряд ли есть необходимость специально разбирать эту клевету, этот вздор. «Ничего не видно положительного». Не видно для тех, кто имел глаза и не видел, имел уши и не слышал, имел разум и не понимал. У них были иные классовые установки. Революционная демократия положительное в деятельности Добролюбова видела. Это положительное она приветствовала. Это был призыв к крестьянской революции, это был «мужицкий демократизм», как писал Н. Ленин. Всего этого, естественно, не видели, а вернее не хотели видеть классовые враги Добролюбова, начиная от самых заядлых мракобесов до представителей европейского либерализма. Им нужно было дискредитировать молодого критика и сохранить свой былой, когда-то блестящий авторитет. Но увы, они не смогли этого сделать не в их силах было повернуть назад колесо истории. Добролюбов шел в ногу со временем, оно вело его к социальным высотам, а мракобесы и трусливые, жалкие либералы сидели в болотах русской действительности, плетясь, не поспевая за временем. Хотели представить дело так: этот малограмотный мальчишка, семинарист, отрицает все достижения прошлого, роняет все кумиры, небесные и земные, а

[1] *П. Бибиков.* «О литературной деятельности Н. А. Добролюбова» 1862, стр. 6.

сам ничего не дает, ничего сказать не может. Теперь эта попытка никого не обманет; не обманула она и тогда. Все понимали, что это не так. Отрицательное направление Добролюбова как раз проистекало из самого ясного, широкого и глубокого, научно-исторически обоснованного понимания переживаемого момента; это не была какая-то отвлеченная теория отрицания, лишенная всякой жизненной силы.

В основном, как мы уже указывали, спор сводился к вопросу о литературном наследстве Белинского. Классовые враги Добролюбова, прикрываясь этим великим именем, претендовали на монополию понимания оставленного «неистовым Виссарионом» огромного наследства.

Поучительный материал представляют воспоминания Тургенева о Белинском. Искусно составленные, они преследовали определенную политическую цель. Тургенев своими воспоминаниями внушал читателю: смотрите, какое создалось положение. Белинский — великий человек; перед этой многострадальной личностью мы смиренно склоняем свои головы; он центральная фигура нашей литературной жизни, его авторитет непоколебим, мы все его признаем, а эти семинаристы, Чернышевский и Добролюбов, не понимают мыслей великого критика. Тургенев хотел направить литературную критику революционной демократии в либеральное русло, по традициям дворянской критики 40-х годов. Эта тщательно скрываемая тенденция, однако, скоро была вскрыта современниками. Тургенева, эту «седовласую Магдалину» мужского пола, как писал «Колокол», разоблачили: «Белинский употреблен... собственно как светлый фон для контраста, чтобы мрачнее выступила картина, которую хотел набросать нам г. Тургенев. «Воспоминания о Белинском»... вызывают факты, выгодные для либеральной славы г. Тургенева, и представляют рассуждения, из которых должно следовать, что люди, низведшие его с пьедестала, были люди недостойные, ничтожные, просто нули в сравнении с Белинским, и, стало быть, низведение его, совершенное ими, ничтожно, недействительно, non avenue. Из воспоминаний мы узнаем, что г. Тургенев не кто-нибудь, не какой-нибудь обыкновенный писатель, а воспитанник школы Белинского, его любимейший ученик, что г. Тургенев остался верен духу Белинского» [1], а его противники, неспровергатели не понимают великого критка, извращают его.

Добролюбов был верным продолжателем дела Белинского. Извращали последнего Тургенев и его компания, а Добролюбов с Чернышевским восстанавливали авторитет великого критика и

[1] «Космос», 1869. Приложение № 1, стр. 94—95. Цитирую по книге «В. Г. Белинский в воспоминаниях современников», «Academia», 1929, стр. 266.

усиленно вводили в жизнь его заветы. Как ни старался Тургенев внушить читателю, что Добролюбов извратил Белинского, революционная демократия и просто беспристрастные люди этому не поверили. Позже на путь Тургенева встал К. Кавелин [1], и тоже без всякого успеха. Он доказывал, что Белинский имел идеалы, хотя они у него и менялись, после же Белинского — голое отрицание, идеал «оставлен и забыт». Пыпин пытался разъяснить, что Белинский в своей литературной деятельности выражал переход от эстетической критики к критике общественной; он причислял Белинского к отрицательному направлению, поскольку он отрицал псевдо-классические авторитеты. Кавелин с этим не соглашался. Он никак не мог принять утверждение Пыпина, что «Белинский, сам прошедший столько отрицаний, без сомнения понял бы и признал бы те новые стороны отрицания, какие явились в критике Добролюбова и его современников, и вместе угадал бы в них тотчас же ему родственный идеализм».

Тургенев выставлял на первый план то положение, что Белинский обладал громадным эстетическим чутьем и критика его была чисто литературной критикой. Белинский, видите ли, «очень ясно видел и понимал, что в развитии каждого народа литературная эпоха предшествует другим; что, не пережив и не преодолев ее, нельзя двигаться вперед, что критика, в смысле отрицания фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явления литературные, и что имено в этом и состояло его собственное призвание. Политические, социальные убеждения были очень сильны и определенно резки; но они оставались в сфере инстинктивных симпатий и антипатий... Зато как *литературный* критик он был именно тем, что англичане называют the right man in the right place — «настоящим человеком на настоящем месте», чего нельзя сказать о его преемниках» [2].

Особенно выдает себя, свои классовые устремления Тургенев тогда, когда начинает писать непосредственно о Добролюбове. «Белинский,— по уверению Тургенева,— никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов; он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура, Пальмерстона, вообще парламентаризм как неполную и потому неверную форму правления. Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он понял бы несвоевременность (у нас, в России, в 1861 г.) подобных нападений; он понял бы, какой партии они должны были оказать услогу, кто порадовался бы им» [3].

---

[1] *К. Кавелин*, «Белинский и последующее движение русской критики», «Неделя», 1875, № 40.

[2] *И. С. Тургенев*, «Воспоминания о Белинском». Цитирую по книге «В. Г. Белинский в воспоминаниях современников», «Academia», 1929, стр. 222.

[3] Там же.

Выходит, что Добролюбов не настоящий критик, он не на своем месте. А что касается графа Кавура, то Тургенев и его друзья упустили из виду, что Добролюбов революционер, а они либералы. Если бы можно было говорить полным голосом, Добролюбов разбил бы русский либерализм в пыль, раскрыл бы до мельчайших подробностей подлое предательство русским либерализмом экономических и политических интересов крестьянства.

Характерно, что в этом хоре хулителей и отрицателей Добролюбова оказался и В. Зайцев. Он тоже начал с истолкования Белинского, заявляя, что «напрасно мы стали бы искать во всех 12 томах его сочинений чего-нибудь кроме разбора литературных произведений с эстетической точки зрения; напрасно мы старались бы открыть в нем публициста или критика... Но тем более поражает нас сила и богатство ума этого деятеля, тем более удивляемся мы ему, видя, какое великое дело совершил он, несмотря на то, что действовал в таких тесных пределах». Статьи Добролюбова тоже встрепенули общество, но у него нет критического такта, у него только «суждения по литературе об обществе». Добролюбов публицист, сатирик, но не критик [1].

Не будем трогать таких критиков, как Н. Соловьев, который на страницах «Отечественных Записок» доказывал, что взгляды Добролюбова двойственны, что партийные взгляды связывали его и мешали его литературной деятельности [2]. О таких людях нет смысла говорить серьезно. Они не ведали, что творили, их содержали при журналах для специальной цели поносить идеологов революционной демократии.

Все эти люди, большие и малые, честные и бесчестные, совершенно не понимали Белинского, не понимали хода его развития, не видели, к чему он пришел в последние годы своей жизни, пройдя путь великих нравственных колебаний, сомнений, терзаний в поисках идеала. Они брали Белинского первых лет его литературной деятельности, когда он стоял на позициях идеалистической философии Шеллинга, Фихте, Гегеля. Они совершенно игнорировали путь Белинского к социализму, к материалистической философии Фейербаха. Если бы они знали эту философию и могли проследить ее влияние на последних статьях Белинского, они, может быть, искали бы против Добролюбова другие аргументы. Они старались олибералить Белинского, тащили его от фейербаховского материализма назад, в объятия философского идеализма, снова хотели надеть на него гегелевский колпак, который Белинский отругал самыми крепкими непечатными словами.

---

[1] *В. Зайцев*, «Белинский и Добролюбов», «Русское Слово», 1864, № 1.

[2] *Н. Соловьев*, «Вопрос об искусстве». Статья третья. «Отечественные Записки», 1865, т. CXI.

Добролюбов принял Белинского именно последнего, фейербаховского периода, Белинского тех политических и идеологических высот, на которые он поднялся перед своею смертью. Теперь хорошо известно, что пятидесятые годы были годами ликвидации заветов Белинского, годами восстановления в правах эстетической критики; Чернышевский же и Добролюбов как раз начали свою деятельность с выяснения роли и значения великого критика. Та спекуляция, которая развернулась вокруг имени Белинского, тогда может быть и могла кого-нибудь сбить с толку, но сейчас вся демагогическая и политическая устремленность тургеневской компании и многих других совершенно ясна. Жалкий дряблый русский либерализм, не будучи в силах сопротивляться натиску революционной демократии, пытался прикрыться именем Белинского. Как бы Тургенев ни уверял, что «Белинский был идеалист в лучшем смысле слова», что «в нем жили предания того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны сейчас»; как бы Тургенев ни рассыпался в доводах, что именно отсюда, и только отсюда, «Белинский вынес те убеждения, которые его не покидали до самой смерти, тот идеал, которому он служил», во имя которого он признал Пушкина, Лермонтова и Гоголя, во имя которого он отрицал старые авторитеты и славы; как бы Тургенев ни изощрялся скрыть настоящее политическое credo Белинского, прикрывая его вылинявшим плащом западничества, либерализма, срывая с него красное покрывало революции; как бы Тургенев, наконец, ни повторял, что во имя идеалов кружка Станкевича Белинский особенно любил Гоголя,— все это политическая тактика дворянского либерализма, и ничего более.

Чтобы сильнее подчеркнуть эту сторону дела, следует отметить статью Дружинина 1856 г. «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения». Дружинин нападает не столько на Чернышевского, сколько на Белинского последнего периода, за ту тенденциозность, которая послужила исходным пунктом для Чернышевского и Добролюбова. Он нашел у Чернышевского только «оскорбительную нетерпимость мнений» и не заметил политических и философских основ революционно-демократической критики. Этот человек огорчился, что эстетическая критика перешла в критику дидактическую. В злобе и бессилии он дописался до абсурда, что произведения Толстого и Островского — произведения чистого искусства.

В условиях своего времени Белинский робко высказал свои фейербаховские мысли; они не могли получить надлежащего резонанса и могли на долгое время заглохнуть, все же он довольно ясно звал сбросить с себя всякие философские заблуждения; они мешают действительному пониманию сущности жизни и челове-

ческих отношений, извращают смысл истинных человеческих потребностей. Исходя из основ философии Фейербаха, Белинский ставил критику на путь общественный, он звал «оземленить» литературу. Вот это и было воспринято и развито идеологами разночинной демократии, развито с блестящей силой ума Чернышевским и Добролюбовым. Все, которые пытались опереться на раннего Белинского, пали в этой исторической схватке, побежденные насмерть[1].

В своем знаменитом «Взгляде на русскую литературу 1847 г.» Белинский писал: «Вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющем ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда не было и нигде не было... В наше время искусство и литература больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов... Искусство благородно взялось служить им в качестве их органа. Отнимать у искусства право служить общественным интересам значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит лишать его самой живой силы, т. е. мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев». Не колеблясь, он заявил, что «свобода творчества легко согласуется со служением современности». Грибоедов велик, потому что он первый сумел поднять «протест против гнусной российской действительности».

Этими заявлениями Белинский кончил. С них начали Чернышевский и Добролюбов, развивая и углубляя их в соответствии с теми классовыми установками, которые революционная демократия тогда имела.

Что бы ни писали либералы тургеневского склада, Белинский не их. Белинский, Чернышевский, Добролюбов — предшественники марксистской критики, несмотря на все их большие и малые идеалистические ошибки.

★

Ни на минуту нельзя забывать, что Добролюбов писал в ужасных тисках царской цензуры. Высказать своих мыслей не только прямо, но и с малой долей политической откровенности он не мог. Суровая кара ждала его и «Современник». Добролюбов был вынужден изворачиваться, выражать свои мысли туманно, эзоповским языком, часто довольствуясь тем, чтобы только дать

[1] Ожесточенная и гнусная борьба, которая велась против революционно-демократической журналистики и в частности против Н. Г. Чернышевского, показана в работе *Г. Берлинера* «Н. Г. Чернышевский и его враги», Гиз, 1930.

толчок мысли в «известном направлении», чтобы читатель читал между строк и сам дополнял написанное. Добролюбов страшно страдал от такого положения и временами вовсе не писал о том, о чем следовало ему писать, предупреждая читателя, что писать так, как он полагает нужным, нет никакой возможности, что для решительных пояснений «еще время не пришло».

Первая же серьезная статья Добролюбова «Собеседник Любителей Российского Слова» подверглась двойной цензуре. Сначала ее урезала редакция, опасаясь за возможность напечатать, потом начала вычеркивать цензура. Такова была участь Добролюбова на всем протяжении его литературной работы.

Каково было положение, красноречиво пишет Чернышевский в письме к Добролюбову от 28 ноября (10 декабря) 1860 г.: «Порадуйтесь, видя знакомый почерк. Впрочем, только этому и порадуйтесь. Содержание письма — объяснение, что цензура испакостила вашу статью о Неаполе и не пропустила «Свистка». Хлопотал я, хлопотал Некрасов — успех оказался незавидный. Думаем переменить цензора. Рахманинов воображает себя порядочным человеком, но он глупая скотина. Напрасно вы с Некрасовым защищали его прежде. Впрочем, я с ним теперь приятель, но это не помогает. Я выпил у него по крайней мере 25 стаканов кофе и чаю, а пользы все-таки не было никогда. Ну их к чорту всех, от Ковалевского до Рахманинова, проходя через Делянова и уже не говоря о Медеме, — все до одного скоты... Из неаполитанской статьи пропустили (исказив) только первую половину, до воспитания; об остальной отложили речь до следующего нумера. Вы не претендуйте, что книжки наполняются Пекарским, Утиным и т. д.,— поверьте, что не было возможности печатать ничего, более живого. Словом сказать, подлость и мерзость. Ну, и успокойтесь» [1]. Е. Ляцкий приводит другие приемы, как пытались обойти цензуру: «Панаев с Некрасовым всегда заводят разговор о постороннем, сидят, болтают, несут всякую чепуху, пока не явится Чернышевский. Он начинает просить поскорее прочитать и подписать корректуру, даже останавливает Панаева не мешать,.. не рассказывать всякий вздор»... Цензор не может «в это время спокойно заниматься»... «Ну, и проскакивает» [2].

Не всегда, однако, «проскакивало». Вторая часть неаполитанской статьи «Непостижимая странность» появилась только в посмертном издании сочинений. А иногда приходилось писать прямо-таки чепуху и против своих убеждений, полагаясь на догадливость читателей. Так, например, статью о буддизме при-

[1] «Переписка Чернышевского», «Московский Рабочий», 1925, стр. 82.

[2] *Е. Ляцкий*, «Н. Г. Чернышевский в редакции «Современника», «Современный Мир», 1911, октябрь, стр. 157.

шлось закончить указанием, что «в пределах нашего отечества мы имеем последователей ламайской веры, которых теперешние понятия могут облегчить нашему духовенству распространение между ними христианства». Смешно было бы заподозрить Добролюбова, атеиста и революционера, в сочувствии русскому миссионерству, но, такова ирония судьбы, конец статьи, прикрывая ее фейербаховскую сущность, может быть так истолкован. Презирая и клеймя русское правительство, критик вынужден был хвалить его.

Говоря о социализме, критик употреблял термин «существенные потребности», имея в виду революцию, писал об «особых обстоятельствах», «необычайных событиях», иногда скрывал революцию под псевдонимом «доброе дело». Толкуя об итальянских делах, все время имел в виду дела русские; все политические рассуждения и характеристики итальянских лиц и дел читатель должен был переносить на русскую действительность. Бурбоны — это Романовы, итальянские либералы — русские либералы. Тургенев это сразу понял и взял под защиту Кавура и итальянский парламент, т. е. русский либерализм с его умеренной конституцией и парламентом. Характеристика неаполитанского самодержавия — характеристика русского самодержавия.

Добролюбов не раз предупреждал о вынужденном эзоповском способе своего изложения. Когда критик в «Забитых людях» подошел к основному вопросу «где выход?» — он прямо заявил: «Во всяком случае, вы были бы наивны, читатель, если бы ожидали от меня подобных разъяснений по этому вопросу. Пробовал я когда-то начинать подобные объяснения, но никогда не доходили они как следует до своего назначения. Теперь уж и писать не стану»,— ясное указание на железные тиски царской цензуры. Вопрос о «выходе из положения» Добролюбов более или менее откровенно ставил в статье о «Накануне» Тургенева. Первая редакция совсем не принята, вторая редакция автором смягчена и все же была цензурой исковеркана. Цензор В. Бекетов характеризовал ее достоинствами статей Белинского, назвав статьей, какой давно уже не было в русской журналистике. «Пропустить ее в таком виде, как она составлена, решительно нет никакой никому возможности. Напечатать так, как она вылилась из-под вашего пера, по убеждению,— писал он Добролюбову, — значит обратить внимание на бесподобного Ивана Сергеевича, да не поздоровилось бы и другим, в том числе и вашему покорному слуге».

Статья «Темное царство» также кончается горькими словами сожаления: «Многое мы не досказали, об ином, напротив, говорили очень длинно; но пусть простят нас читатели, имевшие терпение дочитать нашу статью. Виною того и другого был более

всего способ выражения,— отчасти метафорический, которого мы должны были держаться. Говоря о лицах Островского, мы, разумеется, хотели показать их значение в действительной жизни; но мы все-таки должны были относиться главным образом к произведениям фантазии автора, а не непосредственно к явлениям настоящей жизни. Вот почему общий смысл раскрываемой идеи требовал больших распространений и повторений одного и того же в разных видах, чтобы быть понятным и в то же время уложиться в фигуральную форму, которую мы должны были взять для нашей статьи, по требованию самого предмета... Некоторые же вещи никак не могли быть удовлетворительно переданы в этой фигуральной форме, и потому мы почли лучшим пока оставить их вовсе. Впрочем, те выводы и заключения, которых мы не досказали здесь, должны сами притти на мысль читателю, у которого достанет терпения и внимания до конца статьи».

Подобные замечания Добролюбов делал не раз. Очень характерно замечание к статье «Луч света в темном царстве». Критик извиняется за длинноту своих рассуждений. Он признает, что все «можно было изложить на двух-трех страницах, но тогда бы этим страницам долго не пришлось увидеть света. Длиннота происходит от того, что часто бесконечным перифразом объясняется, что можно было бы обозначить одним словом, но в том-то и беда, что эти слова, весьма обыкновенные в других европейских языках, русской статье дают обыкновенно такой вид, в котором она не может явиться перед публикой. И приходится поневоле перевертываться всячески с фразой, чтобы ввести как-нибудь читателя в сущность излагаемой мысли».

Эти многочисленные и в целях ясности довольно длинные объяснения Добролюбова с читателем, а также знание политических условий того времени обязывают нас толковать его работы в распространительном смысле в отношении революционности изложенных в них мыслей. Исследователь должен все время помнить, что это не окончательный текст, не последняя, свободно отработанная редакция, а вынужденное иносказание под солдатским сапогом царского режима. Если бы кто занялся изучением структуры статей Добролюбова, его сравнений, его стилистической манеры, тот был бы поставлен в весьма затруднительное положение, потому что во многих случаях этот стиль продиктован не классовыми интересами, не классовым бытием революционной демократии, а бытием самодержавия. При малейшей свободе слова, которая временами боязливо открывалась в другие царствования, статьи Добролюбова имели бы другой вид. Без всяких длиннот, кратким, точным и простым языком, другими образами и сравнениями он призвал бы крестьянскую демократию на революционный штурм твердынь русского царизма.

«И все же надо признать, что даже в крепостной России Добролюбов и Чернышевский умели говорить правду то молчанием о манифесте 19 февраля 1861 г., то высмеиванием и шельмованием тогдашних либералов» (Н. Ленин).

V

Добролюбов не только писатель, критик, публицист и поэт. Он яркий типичный представитель революционной демократии 60-х годов или, как тогда говорили, нового молодого поколения, получившего кличку «нигилисты». Это поколение отличалось единством мысли и дела, оно не мирилось с бесконечными разговорами о высоких материях и полным бездельем людей 40-х годов, дворянской интеллигенции, выросшей на принципах идеалистической немецкой философии.

Каким же был Добролюбов?

Это человек большого ума, светлого и ясного, ума, которым так сильно восхищался другой человек большого ума — Чернышевский. Это был ум самостоятельный, поражающий простотой, строгой логичностью, дисциплинированностью; ум смелый, но трезвый; ему были свойственны беспощадный анализ и широкое обобщение; исходя из конкретных, частных случаев жизни, он поднимался до высших отвлеченных обобщений. Этот ум не раз бичевал себя, не раз сомневался в своих силах. В нем не было личной враждебной непримиримости к людям иного образа мыслей. Он спорил политически с Срезневским, Кавелиным, Тургеневым, никогда не уступал им своих позиций, но относился с любовью даже к Тургеневу. Свое убеждение он не считал альфою и омегою истины, но отстаивал его страстно, упорно, не считаясь ни с какими авторитетами. За это его многие не любили. Что делать? Истина была для него дороже всего.

Панаев рассказывает: «Замечая, что новое поколение начинает зло подсмеиваться над нашей изнеженностью, расслабленностью, над нашими романтическими выходками и лирическими возгласами, что оно начинает слишком уж выдвигаться вперед, и во вред нам, и прокладывать себе новый, более строгий и более прочный путь,— мы, или по крайней мере некоторые из нас, ожесточились против нового поколения вообще и в особенности против самых ярких его представителей. Наше негодование должно было прежде всего, конечно, пасть на Добролюбова. Мы все или, пожалуй, некоторые из нас за давностью лет или по действительным заслугам, оказанным нами в дни нашей свежести, приобрели авторитеты и кое-какие авторитетики. Нам, без сомнения, было бы очень приятно, если бы один из представителей молодого поколения обнаружил перед нами такое благоговение, какое мы обна-

руживали с нашей молодости перед тогдашними авторитетами, и хоть для виду советовался с нами, выслушивал бы наши замечания и так далее. А Добролюбов не только не оказывал нам никакого внимания, даже просто не хотел замечать нас, не изъявлял желания быть представленным и отзывался о наших творениях так, как о самых обыкновенных, безавторитетных произведениях. Скажите, не оскорбительно ли это?.. Мы решили, что новое поколение, несмотря на свой действительно замечательный ум и сведения, поколение сухое, холодное, черствое, бессердечное, все отрицающее, вдавшееся в ужасную доктрину — в нигилизм. Нигилисты! Если мы не решились заклеймить этим страшным именем все поколение, то по крайней мере уверили себя, что Добролюбов принадлежал к нигилистам из нигилистов»[1].

Эти свойства характера были приписаны Добролюбову под сильным влиянием «Свистка», в котором критик высмеивал жестоко то, чему поклонялись люди 40-х годов, разбивал их идеалы и отвергал пути их осуществления. Добролюбову эти люди были чужды по образованию, воспитанию, привычкам, способу мышления и способу действования. Революционная демократия в своей общественной борьбе могла рассчитывать только на себя, на свой ум, свою убежденность, свою силу, свою энергию и активность, на свою цельность и строгость натуры. Она вырабатывала из себя определенный характер. Поэтому сильно доставалось много благодушествующим, много разговаривающим, но мало делающим. Что было делать Добролюбову, человеку, который не имел ни знатного рода, ни богатств, ни поместий, ни крепостных, ни доходов, ни барских привычек, а знал только непрерывный тяжелый труд, нужду, заботу и жил только своим умом, только своими руками? Друг против друга стояли два класса; мысли и чувства их различны, говорить было не о чем, не было общего дела; наоборот, предстояла и развертывалась жестокая классовая борьба. Вот этого-то и не заметил Панаев, а черствость и холодность натуры тут не при чем.

Добролюбову были свойственны сильные, глубокие переживания. Не чужда ему была и нежность, он только не любил раскрывать себя перед всяким встречным. В письме к Благообразовым на первом курсе института Добролюбов рассуждал: «Есть характеры, которые горят любовью ко всему человечеству: это пылкие, чувствительные характеры, для которых не слишком чувствительна однако потеря любимого предмета, потому что у них есть много, много осталось в мире, что им нужно любить, и пустой уголок в их сердце тотчас замещается. Но человек, который ко всему холоден, ни к чему не привязан в мире, должен

[1] «Современник», 1861, XI.

же на что-нибудь обратить запас любви, находящийся неизбежно в его сердце. И эти люди не расточают своих чувств зря, всякому встречному: они обращают их на существо, которое уж слишком много имеет прав на их привязанность. В этом существе заключается для них весь мир, и с потерею его мир делается для них пустым, мрачным и постылым, потому что не остается уже ничего, чем бы могли они заменить любимый предмет, на что могли бы обратить любовь свою. Из таких людей и я»[1]. Это не было простой отпиской на упреки в холодности. Так Добролюбов писал и значительно раньше, в своем самокритическом письме к А. М. Крылову. Потерю отца и матери юноша пережил с исключительной силой, которая перевернула его, направив на путь атеизма, революции и социализма.

Сильно и глубоко чувствующей натурой Добролюбов проявил себя еще в семинарии. Страстной любовью горит он к Сладкопевцеву, посвящая ему стихи. Расставаясь с ним, юноша «страдает», «бесится», в его душе «кипит и бурлит страшное беспокойство». Он восклицает: «Я теперь наделал бы чорт знает что, весь мир перевернул бы вверх дном, выцарапал бы глаза, откусил бы пальцы тому негодяю, тому мерзавцу, который подписал увольнение». Сожалея, что у него не хватило силы воли иметь с отцом «решительное объяснение» по поводу своего стремления поступить в университет, он пишет в дневнике: «а во мне кровь кипела, воображение работало, рассудок едва сдерживал порывы страсти». Ему не чужда была глубокая грусть, глубокое разочарование. В 1852 г. он заносит в дневник: «И еще меня считают за человека малокровного, чуть не флегматика! Тогда как самые пламенные чувства, самые неистовые страсти скрываются под этой духовной оболочкой». Конечно, в шестнадцать лет не «неистовые» страсти обуревали юношу, но все же он кипел, переживая все глубоко и серьезно.

Одновременно Добролюбов — человек рассудка, спокойного, трезвого. Чувства его всегда подчинялись рассудку. Рассудок — постоянный контролер и воспитатель. Мысль его была в согласии с совестью. Это была исключительно цельная натура с большим самообладанием, внешним спокойствием. Добролюбов, как он сам признается, «всегда рассуждает», «всегда владеет собою». Его очень сильно взволновало письмо о смерти матери, «слезы навернулись на его глазах», но он ничего не показал товарищам, «только свистнул и очень равнодушно положил его в карман». В другой раз на вопрос Радонежского: «что нового?» он холодно ответил: «Отец умер». Но так ответил, что Радонежскому «послышалось проклятие судьбе». Сообщая эту грустную новость, Добролюбов так смеялся, что друга его «коробило».

[1] «Материалы», стр. 119.

Вот это-то самообладание и мешало многим понять истинную натуру критика. Спокойны и ровны его статьи, но когда читаешь, то не только постигаешь их умом, но и загораешься чувством; напрягается энергия, возбуждается жажда «дела»; скрытая страсть в сопровождении с мыслью передается читателю. Впрочем, из биографии Добролюбова известны факты, когда он терял самообладание. Радонежский вспоминает сцену из институтской жизни. В январе 1857 г. «как-то вечером, часов в десять, после ужина, сидели мы в своей камере за столом: Добролюбов и еще три студента. Добролюбов читал что-то, сдвинувши на лоб очки. Является от знакомых один студент, некто N, считавший себя аристократом между нами голышами, как помещик. N стал рассказывать одному студенту новость: будто бы носятся слухи об освобождении крестьян. Передавая этот слух, N выразил оттенок неудовольствия, как помещик... Добролюбов, не переставая читать, доселе довольно спокойно слушал рассказ N. Но когда N сказал, что подобная реформа еще не довольно современна для России и что интерес его личный, интерес помещичий через это пострадает, Добролюбов побледнел, вскочил с своего места и неистовым голосом, какого я никогда не слыхал от него, умевшего следить за собою, закричал: «Господа, гоните этого подлеца вон! Вон, бездельник! Вон, бесчестье нашей камеры!» И выражениям страсти своей и гнева Добролюбов дал полную волю» [1].

Добролюбов имел характер сильный, твердый, прямой, открытый, правдивый и искренний, но он был человек осторожный, сдержанный, сосредоточенный. При всей своей искренности, прямоте, активности это была «сдержанная сила», как выразился Д. Овсянико-Куликовский.

Добролюбов был человек необыкновенной убежденности. Может быть, М. Антонович в своих воспоминаниях и впадает в сильный пафос, но анализ творчества Добролюбова подтверждает его характеристику. А характеризует он Добролюбова как исключительного человека: «Страшная сила, непреклонная энергия и неудержимая страсть его убеждений. Все его существо было, так сказать, наэлектризовано этими убеждениями, готово было каждую минуту разразиться и осыпать искрами и ударами все, что загромождало путь к осуществлению его практических убеждений. Готов он был даже жизнь свою положить за их осуществление. Каждая его практическая мысль, каждое слово так и рвалось неудержимо осуществиться на деле, что было невозможно; и эта невозможность служила для него источником нервных страданий и нравственных мук. И потому этот человек во все короткое время своей литературной деятельности был истинным стра-

[1] «Современник», 1862, I, стр. 304—305.

дальцем и мучеником, постоянно горел в лихорадке недовольства, негодования, а иногда даже отчаяния».

Сила убеждения делала Добролюбова человеком строгим, суровым, беспощадным к своим политическим противникам. Его ничем нельзя было смутить, подкупить. Он сохранял полную независимость. Эту черту всегда отмечал Чернышевский, подчеркивая как бы свою слабость, непоследовательность, «уклончивость до фальшивости», «изгибающуюся податливость» характера, склонность к компромиссу. Стойкость, нелицеприятие, высокое благородство и честность Добролюбова всегда поражали Чернышевского. Добролюбов твердо шел к намеченной цели, не сворачивая в сторону со своего пути. Он знал цену своему делу, себе, но без всякого неразумного самомнения и заносчивости. Как недальновидны и политически слепы были те, кто звал его «зазнавшимся мальчишкой»! Этот «мальчишка» был не только большой ум с громадной эрудицией, — это был гуманнейший проповедник, подвижник, готовый ко всякому самопожертвованию. «Дело», к которому он себя готовил, дело, которое определило характер его литературной деятельности, неизбежно вело его в Петропавловку, в Сибирь, на каторгу, на виселицу. Он был вождь революционной демократии. Мы скорбим, что ранняя смерть унесла его в могилу, но, может быть, это и хорошо, его наверно ждала медленная смерть в снеговых сугробах Сибири, где истязали его друга Чернышевского.

★

Выступая против людей 40-х годов, Добролюбов постоянно твердил, что «гнусно тратить время в бесплодных разговорах, когда по нашему же сознанию возбуждено столько живых вопросов». Ему не надо «слова гнилого и праздного, погружающего в самодовольную дремоту и наполняющего сердце приятными мечтами»; ему «нужно слово свежее и гордое, заставляющее сердце кипеть отвагою гражданина, увлекающее к деятельности широкой и самобытной».

Его лозунг был: «дело вместо слов».

Правда, этот лозунг встречал много препятствий, но все же критик верил, что в обществе есть место «великим идеям и сочувствиям», что «недалеко то время, когда этим идеям можно будет проявиться на деле».

«Конечно, — писал он Сциборскому осенью 1859 г.,— мы можем покамест действовать только словами, но ведь слово есть выражение той же мысли, из которой рождается и самое дело. Нужно только, чтобы слова были искренни и чтобы дело не противоречило основному смыслу слов».

Левицкий-Добролюбов верит, «что придет серьезное время».

Он молод, «для него все равно, когда оно придет, во всяком случае оно застанет» его «еще в полном цвете сил, если он сбережет себя». «Как придет? Как пришла маленькая передряга крымской войны, без наших забот»; нечего хлопотать: «никакими хлопотами не оттянешь, не ускоришь вскрытие Невы...» «В 1830 году буря прошумела только по Западной Европе; в 1848 году захлестнула Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в следующий раз захватит Петербург и Москву». К этому времени и готовит себя Добролюбов. Стремясь из-за границы в Россию, Добролюбов торопится «быть на месте и что-нибудь делать», ему нельзя было «сидеть сложа руки и любоваться из прекрасного далека», тем более, что письма из России говорили о каких-то веяниях к лучшему.

При возвращении из Сибири петрашевца Н. А. Спешнева поэт Плещеев рекомендовал ему Добролюбова как человека большого ума, у которого «всегда слово шло об руку с делом», который «убеждения свои постоянно вносил в жизнь».

В «Прологе» описан случай, когда товарищи Добролюбова по проискам Давыдова заподозрили его в подхалимстве к директору. Эпизод заканчивается рассуждением Левицкого-Добролюбова: «Вечная история: выходит работник, подбирает помощников. Зовут людей к дружной работе на их благо. Собралась масса, готова работать. Является плут, начинает шарлатанить, интриговать, — разинули рты, слушают, — и пошла толпа за ним. Он ведет их в болото, они тонут в грязи, восклицая: «Сердца наши чисты!» Сердца их чисты; жаль только, что они со своими чистыми сердцами потонут в болоте.

А у работника осталось мало товарищей, — труд не под силу многим, они надрываются, стараясь заменить недостаток рук чрезмерными усилиями, надорвутся и пропадут...

И не то жаль, что пропадут они, — того, что останется не сделано...

И хоть бы только осталось не сделано. Нет, хуже того: стало компрометировано. Выходят мерзавцы и кричат: «Вот они хотели, но не могли: значит, нельзя». — «Нельзя, — повторяет нация. — Правда; очевидно: нельзя. Только пропадешь. Лучше же будем смирны, останемся жить попрежнему, слушаясь людей, которые дают нам такой благоразумный совет».—И забирают власть люди хуже прежних.

От Гракхов до Бабефа одна и та же история... И после все она же... Этот жалкий 1848 год...

Потому, не лучше ли было б умереть? — Лучше, — для человека, проникнутого живой любовью к людям. Такому человеку жизнь была бы невыносима. Видеть страдание, без надежды помочь, — это слишком мучительно для человека с живым чув-

ством; для меня очень легко. Потому я остался жить, и не буду раскаиваться» [1].

Конечно, записи Чернышевского нельзя брать как формулировки Добролюбова, однако мы считаем нужным указать, что сличение «Пролога» с дневниками, письмами и сочинениями Добролюбова убеждает нас в щепетильной правдивости Чернышевского. Есть места, которые как будто взяты без изменений у самого Добролюбова.

Из записей в «Прологе» видно, что Добролюбов ни на минуту не забывал о «серьезных» временах и «серьезном» деле, о крестьянской революции.

А на многие предостережения, что в этом революционном деле можно погибнуть, он ответил в статье о Полежаеве: «В болоте погибнуть так же легко, как и в море; но если море привлекательно-опасно, то болото опасно-отвратительно. Лучше потерпеть кораблекрушение, чем увязнуть в тине».

Всего ярче, конечно, характеризовал Добролюбова с этой стороны Чернышевский. В его глазах, по воспоминаниям М. Антоновича, Добролюбов «прямо со студенческой скамьи встал окончательно установившимся и сформировавшимся, вполне развитым и цельным человеком, с стройным и гармоническим мировоззрением, с твердо установившимися убеждениями теоретическими и практическими, и сразу стал на настоящую прямую дорогу... У него полная гармония между мыслью, словом и делом. В его глазах самые прекрасные намерения не имеют никакого значения и даже вызывают его неудовольствие, если они не стремятся проявиться в соответствующих действиях. И как он ко всем строг, непоколебим и непреклонен! Никогда он не пойдет на малейший компромисс; никому и ни в чем он не сделает ни малейшей уступки. Ко всему он относится серьезно, осмысленно, прочувствованно».

Своей жизни у Добролюбова не было; он жил не для себя, а для «общего дела». В то время как для многих это был тяжелый крест, нравственная обязанность, долг, дамоклов меч, принцип, которому надо следовать, хотя природа и влечет в другую сторону, для Добролюбова эта жизнь для общего блага была неотделима от личной жизни, она была самой натурой его. Он был свободен в своих действиях, ему не приходилось подводить свои дела и слова под принцип. Они были едины и неделимы.

★

С легкой руки Чернышевского, Добролюбова долгое время изображали человеком «не от мира сего», отшельником, аскетом, мучеником идеи, принесшим себя на алтарь освобождения народа. В

[1] *Н. Г. Чернышевский*, т. X, часть I, стр. 192.

этом духе, склоняясь перед ним, писали Скабичевский, Филиппов и другие. Они создавали в этом отношении неправильное представление о критике. Боясь, как бы не умалить его значения, как бы не бросить тень на его жизнь, они сделали из живого человека мертвого святошу, чуть не юродивого, они не сознали, что величие и сила Добролюбова не в том, что он «не от мира сего», а что он идеолог революционной демократии и боролся как раз именно за человеческие условия существования народа. Человеческое не чуждо было Добролюбову ни теоретически, ни практически. Он обладал не только сильной мыслью, высокой моралью, но и громадным чувством, которое временами увлекало его на ложную дорогу.

Может быть, в прежние времена, когда интеллигенцию звали к революции, а она не хотела расставаться с жизненными удобствами, боялась лишений, и нужно было рисовать революционеров людьми, которые, отдавая все революции, становились «не от мира сего», жили одной идеей революции. Такой облик был прекрасной агитацией за революцию, многие восхищались им, стыдясь своей привязанности к жизни как чего-то незаконного. Теперь этого не нужно. Преданность пролетарской революции мы видим не в монашестве, не в святости, не в аскетизме; мы не боимся любви революционера к жизни лишь бы в нем были тот безграничный энтузиазм, та великая преданность великому делу, которые, не мешая любить жизнь в ее высоких и прекрасных творениях и проявлениях, всегда влекут человека в борьбе за счастье человечества в первые ряды борцов, на самые опасные места.

Образ «не от мира сего» создан в таких социальных условиях, когда земная жизнь всегда была связана с нарушением нравственности, прежде всего с эксплоатацией других. Революционной демократии незачем было уходить от мира, — ей нужно было завоевать этот мир, вырвать его из рук захвативших и загадивших его.

Революционная демократия жила где-то на задворках жизни, пользуясь милостью и подачками сильных. Такое положение вещей она, естественно, считала ненормальным и хотела такого общественного порядка, в котором она могла бы пользоваться благами мира наравне со всеми людьми.

Революционная демократия только еще входила в мир, она была «нет от мира сего» только в том смысле, что была задавлена, закабалена самодержавным строем. Революционная демократия хотела жить, хотела наслаждаться в этом мире, она жаждала всех благ жизни.

Недаром Добролюбов всегда отстаивал самоценность человеческой личности, ее право на свободное самоутверждение. Такой

человек не хотел подавлять в себе личность и законные природные влечения. Он не искал страданий, их он считал явлением неестественным, а всякие «романтические фразы об отречении от себя» считал приличествующими только «средневековому рыцарю печального образа», а не революционной демократии, выступающей на историческую сцену. Призывы к отречению от мира, от себя он считал нелепостью, лицемерием. «В нем было слишком много истинной честности и прямодушия, чтобы он мог поддаться подобному лицемерию. Он твердо сознавал, что человек не иначе может удовлетвориться, как полным согласием с самим собою, и что искать этого удовлетворения и согласия всякий не только может, но и должен». Так Добролюбов писал о Станкевиче, но все это полностью относится и к нему самому.

Мы должны знать живого Добролюбова, а не иконописного. Да и умер-то он 25 лет, не успел он превратиться в схимника. Он «по пятидесяти раз» в день повторял стихи Веневитинова:

Теперь гонись за жизнью дивной:
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывный
Отзывной песнью отвечай...

В дневнике 1857 г. он признавался: «Жизнь меня тянет к себе, тянет неотразимо... Вот она начинается, жизнь-то... А я, дурачок, думал в своей педагогической и метафизической отвлеченности, что уже пережил свои желания и разлюбил свои мечты... Я думал, что выйду на поприще общественной деятельности чем-то вроде Катона бесстрастного или Зенона-стоика. Но, верно, жизнь возьмет свое» [1].

Так называемая любовь, как выражается Чернышевский, заговняет Добролюбова к «павшим» женщинам. Он привязывается к Машеньке и даже своеобразно ревнует ее, хочет жениться на ней, хотя разум и подсказывает ему, что шаг его будет ложен. Он чувствовал женскую ласку, страсть; сам был нежен, и ему самому была свойственна страстность. Ряд страниц дневника, касающихся этой стороны жизни, Чернышевский вырвал, но в свой «Пролог» эти переживания занес. Левицкий-Добролюбов страстно переживает влечение к Анюте. «Эту последнюю ночь я провел буквально в горячке, и от нее должна была оставаться очень сильная экзальтация. Да и Анюта, проснувшись, милая, приняла меня в свои объятия с чрезвычайной нежностью. Еще никогда не ласкала она меня с таким увлечением, как будто мое сладострастие разожгло и в ней жгучую, ненасытную жажду наслаждения. У нее захватывало дух, она стонала, чего никогда не бывало; и это было также в первый раз, что не она утомилась моими ласками, а я вырвался из

[1] *Н. А. Добролюбов*, «Дневники», стр. 178.

ее объятий». И тут же идет самоанализ. «Я принимал за порывы и слезы расплывшегося сладострастия то, что было судорожным плачем обо мне; принимал за жажду продлить наслаждение желание отсрочить разлуку» [1].

Добролюбов ищет настоящей, чистой любви, ищет женщину, с которой он мог бы соединить свою жизнь. Он много раз влюблялся, привязывался к женщине, но всегда неудачно, — желание его так и осталось неудовлетворенным. Добролюбов, как и Белинский, не имел успеха у женщин. Он сам постоянно говорит о своей некрасивости, пряча ее в хорошо сшитый сюртук у Шармера.

По описанию Н. Островской, Добролюбов был довольно высокий, худой человек с узкими плечами и впалой грудью. Лицо сероэеленое с толстым носом и толстыми губами. Волосы жидкие, прямые. Чернышевский в своем «Прологе» рисует его очень высоким, несколько сутуловатым, с светлорусыми длинными гладкими волосами, бледноватым, с серотусклыми глазами в золотых очках, неловким и некрасивым. «Не урод, но вовсе некрасивый. Нужно было близко подойти к этому человеку, чтобы разглядеть живое и подвижное, умное лицо, светлые и ласковые глаза, мягкую улыбку».

Зная Добролюбова спокойным, холодным в своей рассудительности, Чернышевский бросил замечание, что у Добролюбова была «рыбья кровь»; это однако противоречит другим заявлениям самого Чернышевского и фактам.

Первый раз Добролюбов влюбился шестнадцати лет в двенадцатилетнюю Феничку Щепотьеву и по-своему глубоко переживал эту любовь, не встретив ответа. Да и о каком ответе может итти речь? Позже возраст брал свое сильнее, одиночество и неудовлетворенность в любви вырывают у него запись в дневнике: «Никогда не найдешь в своем отвлеченном рассудке столько сил, чтобы до конца выдержать свое пожертвование собственной личностью отвлеченному мышлению, за которое бьешься». «Странное дело: несколько дней тому назад я почувствовал в себе возможность влюбиться; а вчера ни с того, ни с сего, вдруг мне пришла охота учиться танцовать... Чорт знает, что это такое... Как бы то ни было, а это означает во мне начало примирения с обществом... Но я надеюсь, что не поддамся такому настроению; чтобы сделать что-нибудь, я должен убаюкивать себя, не делать уступки обществу, а, напротив, держаться от него дальше, питать желчь свою... При этом, разумеется, конечно, что я не буду делать себе насилия и стану ругаться только до тех пор, пока это будет занимать меня и доставлять мне удовольствие... Делать то, что мне против-

---

[1] *Н. Г. Чернышевский*, т. X, ч. I, стр. 217. «Из дневника Левицкого».

но, я не люблю»[1]. Неудовлетворенность чувства не раз толкала его на безумный шаг. Он чуть было не женился на Гринвальд, девушке совершенно неравной ему. Силой удержал Чернышевский. Из этого вышла бы одна мука: со временем было бы много разного рода забот, была бы полная отчужденность, так как у этих двух людей были совершенно различные взгляды на жизнь. В результате миллион нравственных терзаний. В Италии он чуть было не женился на итальянке. Жизнь опять-таки ничего не сулила, кроме мещанского семейного счастья. Несомненно, и этот брак кончился бы крахом.

Неудачник в любви, он не раз думал: «Что ты станешь делать: дрянь мне не нравится, а хорошим женщинам я не нравлюсь. Просто хоть топись». А между тем, писал он Бордюгову: «если бы у меня была женщина, с которой я мог бы делить свои чувства и мысли до такой степени, чтобы она читала даже вместе со мною мои... произведения, я был бы счастлив и ничего не хотел бы более. Любовь к такой женщине и ее сочувствие — вот мое единственное желание теперь. В нем сосредоточиваются все мои внутренние силы, вся моя жизнь, и сознание полной бесплодности и вечной неосуществимости этого желания гнетет, мучит меня, наполняет тоской,злостью, завистью, всем, что есть безобразного и тягостного в человеческой натуре»[2].

Добролюбов попадал в положения, когда сам называл себя сумасшедшим, а другие не замечали этого только потому, что не знали его тайн, и только он сам мог любоваться «картиной своей глупости».

В 60-е годы остро стоял вопрос об эмансипации женщины, о ее взаимоотношениях с обществом и мужчиной, о ревности и т. д. Эти вопросы во всем объеме Чернышевский поставил в своем романе «Что делать?». Эти проблемы разрешает он и в «Прологе», пользуясь отношениями к женщине Левицкого и других. И сразу видно в свете этих произведений, что в отношениях Добролюбова к женщине не было ничего противного естественным велениям и влечениям природы, ничего асоциального, аморального. Наоборот, во всех этих проявлениях природы сквозило глубоко равноправное отношение к женщине, дающее женщине возможность строить свою жизнь соответственно своим требованиям. Это совершенно новое отношение, которого не знали даже такие люди, как Герцен.

Прежнее отношение к женщине подверг сугубо резкой критике Белинский в своем письме к В. Боткину от 28 июня 1841 г. Он писал: «Женщина есть жертва, раба новейшего общества. Честь

---

[1] *Н. А. Добролюбов*, «Дневники», стр. 164.
[2] «Материалы», стр. 492.

женщины общественное мнение относит к ее..., а совсем не к душе, как будто бы не душа, а тело может грязниться... Ты имеешь право иметь от жены сто любовниц — тебя будут осуждать, но чести не лишат, а женщина не имеет этого права. Да почему же это,.. ... ..., подлые и бездушные резонеры, мистики пиэтисты поганые, говно человечества? Женщина тогда...., когда продает тело свое без любви, и замужняя женщина, не любящая мужа, есть...; напротив, женщина, которая в жизнь свою..... 500-м человекам не из выгод, а хотя бы по сладострастью, есть честная женщина, и уже конечно честнее многих женщин, которые, кроме глупых мужей своих, никому не..... Я должен всю жизнь любить одну женщину, тогда как я не могу любить ее больше года... Но что я? Я могу изменять моей жене, но женщина, — что она? Раба моя, вещь моя, ... моя; ее душа, ее лицо, ее красота — все это только дополнения к... Наша святая православная церковь лучше других поняла таинство брака: она и не скрывает, что тут все дело в..... Святейший правительствующий синод не разведет тебя с женою за несходство нравов, за отсутствие любви, за любовь к другой, но если ты докажешь, что.... жены твоей не годна..... или если жена докажет, что твой.....—вас разводят» [1].

За всей этой страстной, непечатной терминологией скрываются глубокие проблемы женского равноправия. Чернышевский и Добролюбов сумели перешагнуть не только через вопросы, поднятые Белинским, но и поставить по-новому вопрос о ревности, который не поставлен Белинским, но который неизбежно вытекал из его основной постановки вопроса. Ни к одной из продажных женщин Добролюбов не подходил как к товару; он видел в них всегда живую душу, находил какие-то привлекательные черты, или просто в его сердце загоралось жалость к ним и негодование на общественные условия, вынуждающие женщину торговать своим телом.

Об интимной жизни Добролюбова старались не говорить, боясь загрязнить светлый образ молодого критика. Ложный взгляд. Даже самый поверхностный анализ говорит, что в отношениях Добролюбова к женщине нет места разврату. Тут другое, более сложное и более трудное положение. Вчитываясь в те страницы дневников, где записаны интимные переживания, перелистывая соответствующие страницы «Пролога», каждый скажет, что и во власти физиологических страстей Добролюбов остался лучшим человеком своего времени. Сам он называет свое поведение гадким, мучается, терзается, но все эти «угрызения совести» как раз и говорят о нравственной чистоте Добролюбова.

---

[1] *В. Г. Белинский,* Письма, «Огни», 1914, т. II, стр. 248.

Чернышевский ряд страниц из дневника 1857 г. вырвал, боясь ложных и пошлых взглядов того времени. В «Дневниках» мы опубликовали все, что уцелело, без всяких сокращений, в полной уверенности, что Добролюбов встанет перед читателем более живым, более «настоящим», во плоти и крови, со своими мыслями, чувствами и действиями. Всякий, кто захотел бы искать тут разврата, оказался бы на высоте того понимания морали, которое так крепко обругал Белинский и жестоко осудил Чернышевский. Тут не разврат, а поучение, даже и для наших дней.

Отношение к женщине представителей революционной демократии 60-х годов заслуживает своего специального исследования. В сопоставлении решений этого вопроса дворянским либерализмом и революционной демократией несомненно откроется много неожиданных и интересных моментов, далеко не в пользу либерализма.

★

Как последователь философии Фейербаха Добролюбов не мог проповедывать и проводить в жизнь принципы аскетизма, принципы подавления естественных влечений человека. Это шло в разрез с формулой: «человек и его счастье». Но это не значит, что Добролюбов давал полную свободу всем инстинктам человека, подчас довольно грубым. Прекрасными людьми он считал только тех, у которых требования натуры органически сливались с нравственными требованиями, друг друга дополняли без всякого принудительного давления извне.

Тургенев в своем «Фаусте» писал: «Я теперь стараюсь преувеличивать перед самим собою свои веселые ощущения и укрощать грустные, а в дни молодости я поступал совершенно наоборот. Бывало носишься с своей грустью, как с кладом, и совестишься веселого порыва... Кончая, скажу тебе: одно убеждение вынес из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава; жизнь даже не наслаждение... жизнь тяжелый труд, отречение, отречение постоянное — вот ее тайный смысл, ее разгадка; не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, — исполнение долга; вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща». Добролюбов резко осудил такой взгляд, отверг его. Критик считает вполне нормальным, законным, естественным, что человек стремится достичь счастья и удовлетворить свои желания. Он указывает, что каждый предмет прежде всего существует для себя. Раз так, то и человек имеет право существовать для себя. Но об этом — в своем месте.

Добролюбов высоко ставил Станкевича. Его пленяло в этом

человеке «постоянное согласие с самим собою, спокойствие и простота всех его действий». Обладал ли этой «простотой» и этим «спокойствием» сам Добролюбов? «Простотой» обладал, но «спокойствия» в нем не было. Со свойственным ему постоянным и строгим самонаблюдением и беспощадным анализом он часто казнил себя. Еще в 1852 г. в своем дневнике он упрекает себя за «неустоявшийся характер», за «шаткие убеждения», за «апатичную лень», за страсть корчить «рыцаря печального образа». Он часто не чувствует в себе нужных «нравственных сил», часто считает свою литературную деятельность «бестолковой деятельностью»; он не находит в себе нужной бодрости, энергии, страсти; он находит в себе слабость к удовольствиям жизни.

В письме к Л. Н. Пещуровой в 1858 г. он сокрушенно жалуется: «Мне горько признаться вам, что я чувствую постоянное недовольство собой и стыд своего бессилия и малодушия». Свой ум он характеризует как «бесплодный ум, без знаний, без данных, без определенных практических взглядов». Он находит, что пишет «слабо, плохо, старо, бесполезно». Он часто говорил о своей флегматичности, апатичности характера, самолюбии и бесхарактерности, о своей влюбчивости.

В тяжелые минуты в связи с отношениями к Гринвальд Чернышевский успокаивал своего молодого друга: «После вашего рассказа мне остается только удивляться сходству основных черт в наших характерах, милый друг, Николай Александрович. В вас я вижу как будто своего брата, — разница только в том, что те стороны характера, которые кажутся вам дурными в вас и которые действительно приносят вам огорчения, ввязывая вас в отношения тяжелые и неопределенные, эти стороны во мне еще сильнее развиты, нежели в вас... Я могу только сказать, что, каковы бы ни были вы, вы все-таки гораздо лучше меня. А если, как я вам говорил, я не лишен некоторого уважения к себе, то тем менее могу считать основательным ваше самопрезрение: это временный порыв чувства, которое уступит место в вас более справедливому мнению о вашем нравственном достоинстве.

Мы с вами, сколько теперь знаю вас, люди, в которых великодушия, или благородства, или героизма, или чего-то такого гораздо более, нежели требует натура. Потому мы берем на себя роли, которые выше натуральной силы человека, становимся ангелами, Христами и т. д. Разумеется, эта ненатуральная роль не может быть выдержана, и мы беспрестанно сбиваемся с нее и опять лезем вверх... Будем принимать себя такими, как мы есть, — поверьте, мы все-таки лучше 99 из ста людей». «Мы люди, мы не можем быть, подобно мифическим существам наших Четь-Миней, без слабостей.... Ваши отношения к Т. К. Г., в сущности, показывают вас человеком высокого благородства или чего-то подоб-

ного. Но, действительно, от преувеличенности этого идеально высокого элемента в них есть много тяжелого для вас» [1].

Чернышевский и Добролюбов, провозглашая права человека на собственные радости, неустанно следили за собственным поведением, за тем, чтобы так или иначе оно не нарушало прав других людей.

История революционной демократии 60-х годов, художественная литература этих лет, типы «разночинцев» и «нигилистов» — все свидетельствует о том, что Добролюбов соединил в себе все основные, характерные черты этой демократии, и не только объединил, но и максимально развил их в борьбе за свое классовое мировоззрение. Иначе и не могло быть. Сила мысли, широта знаний, нравственная чистота, непоколебимая решимость, неистощимая энергия, настойчивая последовательность, высота общественного идеала и, наконец бескомпромиссность, самопожертвование в борьбе за свой идеал обеспечили известный успех движению революционной демократии.

Все это прекрасно понимал сам Добролюбов. Не боясь упреков в самомнении и гордости, он прямо заявлял: «Мы никогда не осмелились бы поставить свои личные убеждения выше мнения почтенных особ, пользующихся издавна авторитетом, если бы мы считали свои убеждения только собственной, личной нашей принадлежностью. Не говоря о скромности и недоверчивости к себе (служащих, как известно, украшением юности и не мешающих ни в каком возрасте), в нас достало бы столько благоразумия, чтоб не проповедывать в пустыне собственные фантазии, и столько добросовестности, чтобы не ломаться пред публикой в надежде привлечь ее внимание своей эксцентричностью. Нет, мы говорили и говорим, не обращая внимания на старые авторитеты, потому единственно, что считаем свои мнения отголоском того живого слова, которое ясно и твердо произносится молодою жизнью нашего общества. Может быть, мы ошибаемся, считая себя способными к правильному истолкованию живых, свежих стремлений русской жизни; время решит это» [2].

Добролюбов и Чернышевский — лучшие представители революционной демократии. Нравственная красота их не потускнела и в наши великие дни строительства социализма.

---

[1] «Переписка Чернышевского». «Московский Рабочий», 1925, стр. 65.
[2] Том VII, стр. 238. «Литературные мелочи прошлого года».

ГЛАВА ВТОРАЯ

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

1

Рецензируя книгу казанского профессора В. Берви «Физиологически-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни» (1858 г.), Добролюбов, иронизируя над автором, замечает: «Молодые люди ныне не только парацельсовские мечтания называют, не обинуясь, вздором, но даже находят заблуждения у Либиха, о котором г. Берви, кажется, и не слыхивал, читают Молешотта, Дюбуа-Реймона и Фохта, да и тем еще не верят на слово, а стараются проверять и даже дополнять их собственными соображениями. Нынешние молодые люди, если уж занимаются естественными науками, то соединяют с этим и философию природы, в которой опять следуют не Платону, не Окену, даже не Шеллингу, а лучшим, наиболее смелым и практическим из учеников Гегеля»[1].

Это замечание несомненно имело пропагандистские цели. Оно указывало, что следовало читать по вопросам естествознания и философии и как относиться к тому или другому автору. Дюбуа-Реймон во времена Добролюбова стоял на атомистической точке зрения и рассматривал жизнь как физико-механический процесс. Критик не упоминает Бюхнера, но это, конечно, случайно. Знаменитая книга его «Сила и материя» вышла в 1855 г. и несомненно была известна Добролюбову. Фохт, Бюхнер и Молешотт основой мировоззрения считали естествознание. Они пытались уничтожить дуализм духа и материи. Весь мир — это материя. Материи свойственно движение. Мысль — движение материи. А Молешотт утверждал, что мысль выделяется мозгом, как желчь печенью. Такая материалистическая позиция совершенно не удовлетворяла Добролюбова. Основной ее недостаток заключался в том, что она упустила из виду теоретические завоевания немецкой классической философии. Указанные ученые были преимущественно фи-

[1] Том VII, стр. 175.

зиологи; они верно ставили разрешение ряда практических задач, но они не смогли подняться до тех теоретико-методологических обобщений, до которых поднялся, например, Гегель. Добролюбов же определенно требовал самой органической связи естествознания с философией. Кроме того, эти материалисты совершенно игнорировали диалектику. Гегель для них как будто не существовал; их материализм в силу этого не был преодолением гегелевского идеализма. Материализм без диалектики превращался, в свою очередь, в философию абсолютных категорий. Эти абсолютные категории Добролюбов не признавал. Он искал такой философии, которая, вытекая из естествознания, служила бы практическим целям жизни. Отрицая абсолютное в религии, Добролюбов отрицал абсолютное и в философии, поэтому он и обратился к «лучшим, наиболее смелым и практическим из учеников Гегеля», которые, сохраняя его диалектику, подводили под нее материалистическую основу.

Тут не лишне будет вспомнить замечания Энгельса: «Но так как и до сих пор можно по пальцам перечесть естествоиспытателей, научившихся мыслить диалектически, то это противоречие добытых научных результатов с вышеизложенным метафизическим способом мышления вполне объясняет ту безграничную путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании и одинаково приводит в отчаяние как учителей, так и учеников, как писателей, так и их читателей» [1].

Этот разрыв чувствовал и Добролюбов и смутно угадывал, как писал позже Энгельс, что «естествознание находится теперь на такой ступени развития, что оно не может уже ускользнуть от диалектического обобщения, если не забудут, что результаты, в которых обобщаются данные опыта, суть понятия; искусство же оперировать понятиями не врожденно и не заключается в обыденном здравом смысле, но требует действительного мышления, которое, в свою очередь, имеет за собой столь же продолжительную историю, как и опытное естествознание. Именно тем, что естествознание усвоит себе результаты, достигнутые развитием философии в течение двух с половиной тысяч лет, оно, с одной стороны, освободится от всякой обособленной, вне и над ним стоящей натурфилософии, а с другой — также и от своего собственного, унаследованного от английского эмпиризма поверхностного метода мышления» [2].

То, что было ясно Энгельсу, то было еще далеко не понятно Добролюбову. Но из философских рассуждений Фейербаха он все же понял жизненность данной проблемы, восприняв ее разрешение, данное Фейербахом.

---

[1] *К. Маркс и Ф. Энгельс*, Сочинения, т. XIV, стр. 23, «Анти-Дюринг».

[2] Там же, стр. 12.

Под учениками Гегеля Добролюбов разумел левых гегельянцев: Давида-Фридриха Штрауса (1807—1874), Бруно Бауэра (1809—1882) и главным образом Людвига Фейербаха (1804—1872). Назвать себя открыто фейербахианцем критик не мог. Имя Фейербаха было под запретом, говорить о нем полным голосом, излагать со всей ясностью его учение было нельзя. Белинский в свой фейербаховский период вынужден был пользоваться философией этого левого гегельянца с такой осторожностью, что только весьма опытный глаз мог разглядеть производимую маскировку. Из-за этой мучительной маскировки, естественно, сильно страдала мысль: она была урезанной, туманной, исковерканной. Чернышевский, когда он писал свою знаменитую диссертацию, да и после возвращения из Сибири, тоже не мог говорить открыто о философии Фейербаха и вынужден был применить ее не к общественным явлениям, а к вопросам эстетики. Проведя довольно четко фейербаховские принципы и в «Эстетических отношениях искусства к действительности» и в «Антропологическом принципе», он, однако, остерегался цитировать Фейербаха и вообще так осторожен, что, как он пишет отцу, его могут принять за приверженца тех философов, учение которых он критикует. Он надеется, что «гг. здешние профессора словесности совершенно не занимались тем предметом», который он «взял для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое отношение мои мысли имеют к общественному образу понятий об эстетических вопросах...» Чернышевский «не думал, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы», которые им рассматриваются в его работе. Чернышевский ошибся. Правда, диссертация не была запрещена, за эстетическими суждениями не смогли доглядеть общественно-политических взглядов, фейербаховского материализма не уловили, но что-то неладное почувствовали, почему и произошел известный инцидент с ее принятием.

Естественно, Добролюбов также не мог открыто поминать имя Фейербаха и откровенно излагать его учение. Все это и мешает с надлежащей полнотой и точностью установить, как Добролюбов понимал систему Фейербаха в целом и в отдельных основных ее моментах. Трудность эта увеличивается еще и от того, что Добролюбов не был философом и философские вопросы затрагивал мимоходом. Его высказывания случайны, материал крайне ограничен.

С Фейербахом Добролюбов познакомился прежде всего через Герцена и Белинского. Статьи Герцена «Дилетактизм в науке», «Буддизм в науке», «Письма об изучении природы» носили на себе определенный отпечаток философии Фейербаха.

Фейербахизм Герцена подвергался двоякой оценке. Плеханов указывал, что «Письма об изучении природы» несравненно дальше от последовательного материалистического учения, нежели «Сущ-

ность христианства» Фейербаха. Он заявлял: «Если бы меня спросили, какой именно фазе развития Фейербаха соответствует философский взгляд, выраженный Герценом в «Письмах об изучении природы», у меня явилось бы сильное искушение ответить: той, к которой относится фейербаховская статья: «Kritik des Idealismus», посвященная разбору книги Ф. Дорфгута: «Kritik des Idealismus und Materialien zur Grundlegung eines Apodiktischen Real-Rationalismus», написанная в 1838 г. В этой статье Фейербах восстает, между прочим, против мысли, что мышление есть лишь предикат бытия, т. е. против той самой мысли, которая впоследствии легла в основу его собственной философии. Я думаю, что автор «Писем об изучении природы» нашел бы совершенно правильными соображения, высказанные Фейербахом в названной статье против этой мысли» [1].

Ленин пишет иначе: Герцен «усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет из себя «алгебру революции». Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом. Первое из «Писем об изучении природы», — «Эмпирия и идеализм», — написанное в 1844 г., показывает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом. Эта «остановка» и вызвала духовный крах Герцена после поражения революции 1848 г.» [2].

В нашу задачу не входит ни установление философских взглядов Герцена, ни выяснение разногласий между Лениным и Плехановым. Это отвлекло бы нас надолго и далеко в сторону. Плеханов при всем своем преклонении перед Чернышевским и Добролюбовым снижает их мировоззрение, выдвигая их идеализм и бросая густую тень на их материализм. Особенно это сильно сказалось в статье о Добролюбове. Та же тенденция сказалась у Плеханова и в отношении Герцена, хотя он тут действует с большей осторожностью. В отношении Герцена у него только появляется «сильное искушение». Конечно, Герцен в своих философских взглядах уступает Чернышевскому: Чернышевский более последовательный фейербахианец, но и Герцен воспринял Фейербаха не только 1838 г., но и позднейшего, когда он сумел правильно поставить проблему бытия и мышления, очистив ее от метафизики. Из статей Герцена фейербахианство перешло в статьи Белинского и с особенной яркостью отразилось в его знаменитых обзорах литературы 1846 и особенно 1847 гг. Несомненно, здесь

[1] *Г. В. Плеханов*, Сочинения, т. XXIII, стр. 368. «Философские взгляды А. И. Герцена».

[2] *Н. Ленин*, Сочинения, т. XV, стр. 464. «Памяти Герцена».

лежат корни добролюбовского фейербахианства. За фейербахианство Добролюбов любил Герцена, отстаивал его перед Чернышевским. Эта любовь вяла и, наконец, исчезла лишь тогда, когда перед Добролюбовым во всей полноте вскрылся крах мировоззрения Герцена и его сильный крен в сторону либерализма, так ненавидимого критиком.

Как известно из показаний П. Анненкова, для Белинского, не владевшего немецким языком, был сделан перевод «нескольких глав и важнейших мест» из книги Фейербаха — надо полагать, «Сущность христианства». В письме от 10 (23) марта 1842 г. В. Боткин излагает Белинскому взгляд Фейербаха на религию. Плеханов первые проблески фейербахианства у Белинского находит в его статьях 1843 г., в которых он высказывается против эмпиризма и идеализма, но если об этих статьях допустимы сомнения и споры, то относительно обзоров литературы 1846 и 1847 годов споров быть не может.

Иванов-Разумник пытается отрицать наличие фейербахианства во «Взгляде на русскую литературу 1846 года», но он делает это неубедительно. В статье Белинского есть определенные места, в которых критик на первый план выдвигает человеческую природу и рассуждает так, как Фейербах. Он прямо заявляет, что «источник всякого прогресса, всякого движения вперед заключается не в двойственности народов, а в человеческой натуре, так же как в ней заключается и источник уклонений от истины, косности и неподвижности»[1]. Белинский ставит вопрос: «Почему вот этот человек сделался тем, что он есть, а не сделался тем, чем ему по теории нравственной философии следовало бы быть?» Уже самая постановка вопроса говорит об отходе Белинского от гегелевского разрешения вопроса. Фейербахианство Белинского с наибольшей ясностью вытекает из его ответа, в котором он выделяет «понятие о действительности совершенно новое». Исходя из фейербаховского понимания действительности, он видит успех литературы в том, что она «теперь сделалась эхом жизни». Он нападает на романтизм, мечтательность, отвлеченность, восхваляя «постепенное сближение литературы с обществом, с жизнью, с действительностью». С наибольшей законченностью фейербахианство Белинского сказалось в его «Взгляде на русскую литературу 1847 года». В этой статье как бы подведен итог всему, о чем Белинский говорил на страницах «Современника» и в статьях «Отечественных Записок». Действительно, Белинский не удовлетворяется установлением положения, что искусство «есть воспроизведение жизни во всей ее истине». Он добавляет: «Тут все дело в *типах, а идеал* тут

---

[1] *В. Г. Белинский.* Собрание соч. под ред. Иванова-Разумника, СПБ, 1913, т. III, стр. 769.

понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые ставит друг к другу автор созданные им типы, сообразно с мыслью, которую он хочет развить своим произведением». Белинский осознает материальность мысли, осознает, что реальное мышление, объективное всегда, определяется чувственным восприятием внешнего мира. Мышление объединяет только то, что разобщенно дано чувствами. Природа не зависит от мышления. Человек вырастает в этой природе. Вне человека и природы ничего нет. «Поэт прежде всего — человек, потом гражданин своей земли». «Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких влияний извне». Тут и фейербахианство, тут и диалектика. Все это, конечно, было воспринято Чернышевским и Добролюбовым и подготовило их к дальнейшему усвоению философии Фейербаха. Само собою разумеется, факт, что именно эта сторона взглядов Белинского была воспринята Добролюбовым, обусловлен классовым положением революционной демократии, а не какими-либо поисками высшей нравственной философии.

Свое отношение к Белинскому Добролюбов выразил в патетических словах: «Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развилась она, Белинский всегда будет ее гордостью, ее славой, ее украшением. До сих пор его влияние ясно чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что значительной частью своего развития обязан, непосредственно или посредственно, Белинскому... Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно, это — лучшие люди России». И несомненно, больше всего Добролюбов ценил в великом критике его диалектику и материализм.

Ясное отражение философии Фейербаха мы находим у Добролюбова уже в его юношеских незаконченных статьях: «Нечто о дидактизме в повестях и романах», «О русском романе», написанных в 1855 г. В августе 1856 г. он пишет письмо Лаврскому: «Ваша голова издавна заперта наглухо для пагубных убеждений, и вас не совратит с вашего пути ни Штраус, ни Бруно Бауэр, ни сам Фейербах». Из этой формы выражения видно, что Добролюбов хорошо ознакомлен со взглядами этих лиц, знает им цену и выдвигает на первое место Фейербаха. Среди рукописей Добролюбова, хранящихся в б. Пушкинском доме Академии наук СССР, имеется отрывок перевода из книги Фейербаха «Сущность христианства», сделанного в институтские годы.

До сих пор еще многие повторяют, что Добролюбов ученик Чернышевского, что философию Фейербаха он воспринял через его работы. Это далеко не так. С Чернышевским молодой критик познакомился в середине 1856 г. Вел он с ним разговоры и о фило-

софии [1]. Но решительно ни из каких материалов не видно, чтобы Чернышевский сделал Добролюбова фейербахианцем. Добролюбов указывает, что Чернышевский учил его, как учил Герцен Белинского, Белинский Некрасова, но это не следует понимать буквально и упрощенно. Что касается ссылок на диссертацию и «Очерки гоголевского периода», то надо помнить, что «Эстетические отношения» напечатаны в 1855 г., и нет никаких данных полагать, что эта работа была известна Добролюбову в рукописи, «Очерки» же начали печататься в «Современнике» с 12-й книжки за 1855 г. Все это дает основания думать, что Добролюбов пришел к Фейербаху через Герцена, Белинского и через непосредственное знакомство с сочинениями Фейербаха. Само увлечение Чернышевским, сближение с ним, признание в нем авторитета и своего учителя-друга было следствием того, что оба они оказались людьми одного лагеря, одного образа мыслей; Чернышевский был только старше, опытнее. Несомненно, Чернышевский сильно влиял на Добролюбова, он не учил его, не перевоспитывал, а влиял на него в процессе совместной работы, совместного обсуждения ряда вопросов, и не мог не влиять, поскольку обладал громадными знаниями и в области философии, и в области истории, и в области литературы, и в области экономики. Знания Чернышевского несомненно были шире знаний Добролюбова. Постоянное подчеркивание Чернышевского, что он не был учителем Добролюбова, что последний был всегда самостоятелен в своих суждениях, тоже нельзя упускать из виду и игнорировать. Некоторые видят в этих заявлениях просто скромность Чернышевского. Это не совсем так. Чернышевский влиял на Добролюбова, он этого не скрывает. В том же «Прологе» есть очевиднейшие доказательства, что Добролюбов благоговел перед Чернышевским. Но ведь Добролюбов к моменту знакомства уже был убежденным фейербахианцем. В том же письме к Лаврскому Добролюбов указывает, что он «в продолжение двух лет все воевал со старыми врагами, внутренними и внешними», шел против «прежних понятий», читал книги, противные православной философии, и теперь верит, что ему самому «не в чем себя упрекнуть», и «не упрекнут его ни в чем и те, которых мнением и любовью он дорожит». Из сопоставления всех этих фактов необходимо сделать вывод, что Добролюбов сделался фейербахианцем за период с осени 1854 г., когда сложился добролюбовский кружок, до конца 1855 г., когда появились указанные выше статьи. В силу этого говорить, что Добролюбов ученик Чернышевского, надо с большой осмотрительностью и с многими оговорками и пояснениями. Самостоятельность мысли молодого критика подчеркивает в своей книге и П. Бибиков.

[1] «Материалы», стр. 313. Письмо к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 г.

II

Левое гегельянство в своих философских работах уделяло много внимания проблемам религиозным. Решая основную проблему об отношении мышления и бытия, об идеализме и материализме, левое гегельянство должно было разбить и разбило религиозные представления о боге, о человеке, о их взаимоотношениях; выяснило, что такое религия.

Штраус развернул критику евангелия. Его критика была во многом неудовлетворительна и несостоятельна. Его мифологическая теория происхождения религии не дала ему возможности развернуть критику религии, поскольку он не сознавал, что сам миф есть продукт определенных общественных отношений. И все же заслуга Штрауса громадна: он нанес религии решительный удар, доказав, что всякие библейские повествования, евангелие являются вымыслом, а не историческим повествованием. В своей работе «Жизнь Иисуса» он показал, как религиозные мифы, предания, легенды и рассказы возникали в первых христианских общинах.

Бауэр напал на теорию мифов. Он доказывал, что евангелисты сознательно составляли жизнеописание Иисуса, одно добавляя, другое исключая, в зависимости от своих целей. Теории бессознательного возникновения мифов Бауэр противопоставил утверждение, что все мифы прошли через сознание людей.

Если работы Штрауса затрудняли создание исторического образа Христа, то критика Бауэра делала его совершенно невозможным, Бауэр отрицал исторического Христа, отрицал он бога вообще, государство и частную собственность. Однако и Бауэр, несмотря на свою радикальную постановку вопроса, не смог подняться до проблемы о том, как складывается и развивается определенная общественная формация, что такое общественное сознание и какова его зависимость от общественной жизни.

Изучая работы этих людей, Добролюбов прочно усвоил отрицание бога; но одновременно он усвоил и отрицание философского идеализма и критику общественных отношений людей. Штраус и Бауэр жили в такое время, когда критика религии неизбежно отражалась на философских и политических взглядах. Неизбежно Добролюбов воспринимал в той или иной мере и тот идеализм, который был в значительной степени присущ Штраусу и Бауэру, их системам, их мышлению.

Однако, эти ученые не были теми авторитетами, которые окончательно определили взгляды критика. Решающее значение имел Людвиг Фейербах и в частности его работа «Сущность христианства», вышедшая в 1841 г. До этой работы Фейербах стоял на гегелевской идеалистической позиции. В «Сущности христианства» Фейербах преодолевает свои предыдущие философские ошибки,

он «отбрасывает абсолютную идею Гегеля и на ее место ставит природу и человека». Он рассматривает религию как «*первое* и к тому же *косвенное* самосознание человека», доказывая, что «*сущность и сознание религии исчерпываются тем, что заключается в сущности человека, его сознании и самосознании*. Содержание религии не есть нечто независимое» [1]. Человек рисует бога существом с бесконечным множеством свойств, которые не совместимы и противоречат природе человека. Фейербах считает все это «вымыслом, чувственным представлением, исключающим необходимое условие — искренность чувственности». Если бог — отвлеченная и единственная сущность, то эти человеческие вымыслы не совместимы с сущностью божества. Возражая Гегелю, он писал: «Но если, как значится в учении Гегеля, сознание человека о боге есть самопознание бога, то, стало быть, *человеческое сознание* per se есть *божественное сознание*. Зачем же ты *отнимаешь* у человека его сознание и делаешь его самосознанием другого, отличного от него существа, объекта? Зачем ты присвояешь богу *сущность*, а человеку лишь *сознание*? Сознание бога заключается в человеке, а сущность человека в боге. Познание человека о боге есть познание бога о себе самом. Какой разлад и противоречие! *Переверни это положение, и получится истина: знание человека о боге есть знание человека о своей собственной сущности. Только единство сущности и сознания есть истина. Сознание* бога нераздельно с его *сущностью* — то и другое образуется в человеке. В существе бога объективируется твоя же собственная сущность, *перед* твоим сознанием встает лишь то, что лежит *позади* него. Но если определения божественной сущности суть определения человеческие, то, стало быть, человеческим определениям присуща божественная природа.

Только таким путем мы получаем *истинное, самодовлеющее* единство божественной и человеческой сущности — *единение человеческого существа с самим собою*. Но для этого мы должны отрешиться от *особой, отличной от психологии и антропологии, религиозной философии или теологии и признать* в качестве *теологии антропологию*. Всякое тождество, которое не есть *истинное тождество*, не есть *единство с самим собой*, основано на разладе, на раздвоении, которым оно уничтожается или, вернее, должно быть уничтожено. Всякое такое тождество *противоречит* себе и разуму, как *половинчатость, фантазия, — нелепость*, которая однако, кажется тем глубже, чем лживее и извращеннее она на самом деле» [2]. «Личность бога есть не что иное, как *отделенная, объективированная личность человека*».

---

[1] *Людвиг Фейербах*, Соч., Гиз, 1926, т. II, стр. 44.
[2] Там же, стр. 240.

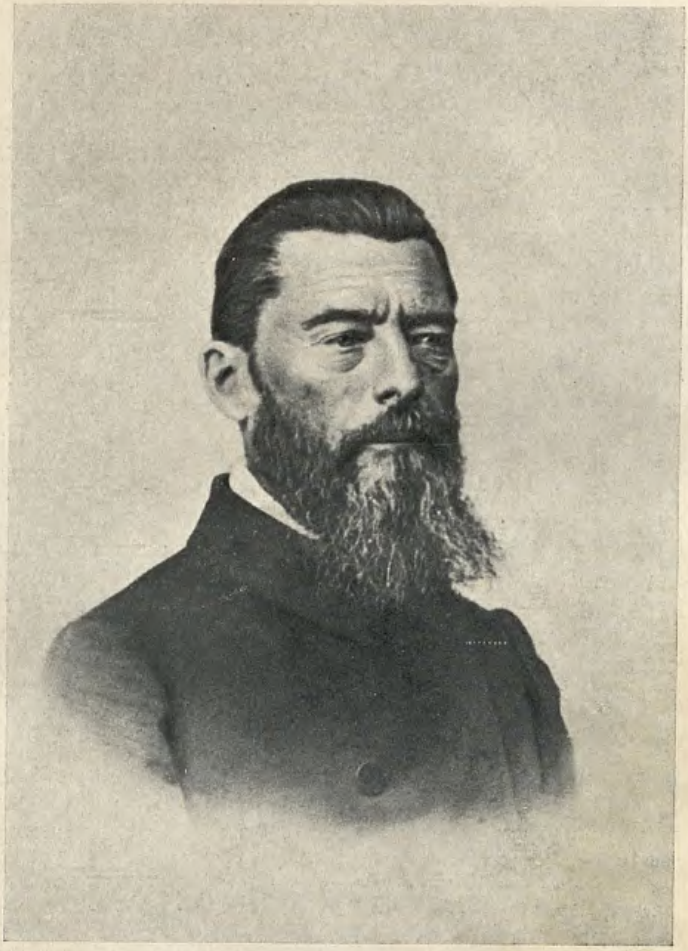
Тут Фейербах дал исчерпывающий материалистический ответ. Разум представляет природу вещей. Вера же — «реакция духа против природы». «Предметы веры необходимо противоречат природе и разуму».

Проще: бога, как извечно существующего начала, нет. Бога создал человек, создал по своему образу и подобию, придав ему человеческие свойства, хотя бы и сверхъестественной силы.

Можно довольно живо представить, как ход мыслей этих трех ученых постепенно, но все с большей силой и убедительностью разрушал религиозное мировоззрение девятнадцатилетнего юноши. Для него это было целое откровение, все шире и полнее расчищающее и освещающее мировоззрение материализма. Бауэр дополнял Штрауса, Фейербах исправлял их обоих, поскольку среди них он был единственным философом. Старое рушилось, рушилось безвозвратно, рушилось последовательно, на основе философской критики. Одновременно созидалось новое. Контраст между старым и новым мировоззрением был так велик и резок, открывались великие неизведанные горизонты мысли, и все это происходило с такой молниеносной быстротой, что неизбежно многое принималось без должной критики. Да социальная жизнь того времени и не толкала молодого Добролюбова на критику Фейербаха. Разбит бог, уничтожена слепая вера, провозглашено торжество природы, человека и разума. Все это надо было продумать, осмыслить, сделать своей сущностью, такой же крепкой и органической, как ранее вера и надежда на божественный промысл. Да и критиковать Фейербаха в области религии было трудно, потому что он последовательно учил, что «религия вообще уничтожается тем, что между богом и человеком возникает представление мира и так называемых посредствующих причин. Как только сюда замешивается чуждое религии начало — принцип разума, — тотчас нарушается мир, гармония религии, основанная только на *непосредственной* связи человека с богом. Посредствующая причина есть капитуляция верующего сердца перед неверующим рассудком» [1].

Из всего этого Добролюбов вынес основные положения своего мировоззрения: «для человека нет существа выше человека». «Справедливость, истина, добро заключают свое священное основание в самих себе, в своем качестве». Против этого нельзя было спорить, это стало природой Добролюбова; не осуществляя этого, он не мог жить и проявлять себя. Поскольку же он проявлял себя, он боролся во всех областях жизни за осуществление этих основных принципов. Он смело написал их на своем знамени и пошел впереди революционной демократии.

[1] *Людвиг Фейербах*, Соч., Гиз, 1926, т. II, стр. 201.



Ludwig Steub

Маркс писал: «Критика религии разочаровывает человека для того, чтобы он думал и действовал, устраивал свою жизнь как избавленный от чар, отрезвленный человек, чтобы он двигался вокруг самого себя, т. е. вокруг своего истинного солнца». После чтения Штрауса, Бауэра, Фейербаха, Добролюбов как раз и пришел к «истинному солнцу». Штраус развенчал и полуразрушил Христа, приведя к великим сомнениям; Бауер поверг всех в ужас, отчаяние, разбив Христа начисто. На его место Фейербах поставил природу и человека.

У Добролюбова есть рецензия на две книги о буддизме. Они показательны во многих отношениях. Критик подробнейшим образом излагает систему буддизма. Он останавливается на мелочах жизни Будды, рисуя его подчеркнуто и сугубо человеческими чертами. Добролюбова интересует не биография, как таковая, а то, что Будда, несмотря на свою божественность, в сущности является таким же человеком, как и все люди. Он или человек или создан человеческой фантазией, приукрасившей его и выделившей среди остальных людей, наделив качествами, которыми обычные смертные не обладают. Будда творит чудеса, — люди чудес не творят. Самое изложение буддизма служит блестящей иллюстрацией к философским рассуждениям Фейербаха о сущности религии. Свою статью Добролюбов начинает указанием, что «первые нравственно-религиозные понятия у каждого народа слагаются обыкновенно под влиянием поражающих явлений природы», что «необразованный ум, будучи не в состоянии объяснить их путем естественным, вдается в самые нелепые толкования, приписывая все действию какой-то сверхъестественной силы». Это то же самое, что в развернутом виде, освобожденном от ошибок Фейербаха, дал Энгельс, когда он сказал, что «возвышеннейший вопрос всей философии, вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе коренится совершенно, стало быть, так же, как и все религии, в ограниченных и невежественных представлениях дикаря» [1]. Добролюбову было очень удобно, рассуждая о буддизме, проводить хотя бы и в замаскированном виде идеи Фейербаха. Но ему нужно было сделать обобщение относительно всех религий, и вот он, кончая статью, как бы невзначай, мимоходом бросает в двух-трех словах замечание, что буддизм «и в догматах, и в нравственном учении, и в самых обрядах имеет много сходного с христианским учением». Таким образом, конечный результат статьи, если отвлечься от изложения буддизма, сводится к выводу, что все религии, языческие и христианские,— плод «необразованности», «неясных толкований» явлений природы.

[1] *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Соч. т. XIV, стр. 644. «Людвиг Фейербах».

Разрешая вопрос о религии, Добролюбов вслед за своими учителями подошел к основной философской проблеме — о мышлении и бытии, о духе и материи.

III

Разрушив гегелевский абсолютный дух и логические категории, Фейербах выдвинул новую философию, сущность которой Энгельс сформулировал так: «Вещественный, доступный нашим внешним чувствам мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир и что наше сознание и мышление порождаются вещественным органом, частью нашего тела, — мозгом, — хотя и принадлежат, повидимому, к невещественному миру. Не материя порождается духом, а дух представляет собою высочайшее порождение материи» [1]. Или, как говорит сам Фейербах: «Истинное отношение мышления к бытию может быть только таким: *бытие есть субъект, мышление — предикат*. Мышление из бытия, но не бытие из мышления. Бытие есть из себя и через себя, бытие дано только посредством бытия, бытие имеет свое основание в себе, ибо только бытие есть смысл, разум, необходимость, истина, короче — все во всем. Бытие *есть*, потому что небытие — это просто небытие, т. е. ничто, бессмыслица» [2].

Это был глубоко материалистический и революционный принцип. Исходя из него, Добролюбов обращался к читателю с призывом знакомиться с естественными науками, как основой материалистического взгляда на мир, и постоянно подчеркивал, что «в естественных науках усвоен положительный метод, все выводы основываются на опытах фактических знаний, а не на мечтательных теориях, когда-то и кем-то составленных наобум, и не на темных гаданиях, которыми в старые времена довольствовались невежество и полузнание». Тут и осуждение религии и идеализма и даже квалификация тех, кто не приемлет материализма. Добролюбов жестоко высмеивает, например, г. Берви за то, что «он хочет, чтобы физические исследования имели в виду не познание изменений и действий материи, а отыскание в материи духа, архея, эфира, жизненной силы, словом, чего-нибудь, только чтобы это «что-нибудь» не было положительным, материальным, а было что-нибудь, «чувствам недоступное». Критик признает полезным только те естественные науки, которые «обратились к материальным исследованиям».

Поскольку человек стал в центре мировоззрения, поскольку

---

[1] *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Соч. т. XIV, стр. 647. «Людвиг Фейербах».

[2] *Л. Фейербах,* Соч., т. I, стр. 71. «Предварительные тезисы к реформе философии».

жизнь человека как биологического типа определяется природой, не считаясь ни с каким божеством, Добролюбов довольно много останавливается на человеке, как на определенном представителе животного царства. Процесс развития жизни критику представляется в следующем виде: «В природе все идет постепенно от простого к более сложному, от несовершенного к более совершенному; но везде одна и та же материя, только на разных степенях развития. Что же удивительного, если на одной степени мы находим то, что не свойственно другой? В телах неорганических мы совсем не замечаем жизни в том виде, в каком она проявляется в телах органических; тем не менее и они подлежат изменениям как в объеме, так и во внутреннем своем составе. Наблюдая над ними, мы постоянно замечаем то механические, то химические процессы. Не есть ли это та же жизнь, хотя на низшей степени развития? В растениях жизнь обозначается уже гораздо яснее, потому и сами они представляют материю более развитую, чем тела неорганические... В животном царстве обнаружение жизни еще ощутительнее. Животные имеют способность местопеременения; кроме того, мы замечаем в них проблески высшей жизненной деятельности. Человек, совершеннейшее из животных, составляет последнюю степень развития мировых существ и видимой вселенной; почему же в нем уже по одному этому, не допускать того, чего мы не замечаем в существах менее развитых? А если самую развитую часть человеческого тела составляет мозг, то отчего же не допустить, что мозг способен к такой деятельности, какой мы не замечаем в камне и дереве? Что мозг имеет тесную связь с психической деятельностью, к этому приводят нас весьма многие разительные факты»[1].

Добролюбов дает монистическую, материалистическую картину жизни от камня до человека. Свой монизм и материализм он ведет дальше, устраняя противоречие бытия и мышления и доказывая, что мышление есть свойство мозга. Он подчеркивает, что «в мире вещественном мы не знаем ни одного предмета, в котором бы не проявлялись какие-либо свойственные ему силы. Точно так же невозможно представить себе и силу, не зависящую от материи. Сила составляет коренное, неотъемлемое свойство материи и отдельно существовать не может. Ее нельзя передать материи, а можно только пробудить в ней. Магнетизм можно вызвать, но не сообщить предмету. Нельзя представить магнитной силы без железа или вообще без тела, в котором она заключена, как одно из коренных, элементарных его свойств. Стало быть, и в человеческом мозге, каков бы ни был его состав, должна быть своя сила. И что же удивительного, если эта сила

[1] Том VII, стр. 583. «Основания опытной психологии».

проявляется в ощущении?» [1]. Таким образом, смотря на человека «как на одно целое, нераздельное существо, как на истинный индивидуум», Добролюбов устраняет «те бесчисленные противоречия, какие находят схоластики между телесной и душевной деятельностью». В полном согласии с Фейербахом он заявляет, что «без вещественного обнаружения мы не можем узнать о существовании внутренней деятельности, а вещественное обнаружение происходит в теле; возможно ли же отделять предмет от его признаков, и что останется от предмета, если мы представление всех его признаков и свойств уничтожим?» [2].

Раз так, то для правильного хода душевной деятельности должны быть правильно развитые, здоровые органы. В доказательство Добролюбов приводит два примера. Есть люди, которые живут преимущественно чувством, у них воображение господствует над сознанием; они суетливы, судорожны, непостоянны, часто противоречивы в своей деятельности. Есть люди, которые занимаются исключительно физическим трудом, они не подготовлены к умственной работе, она для них непривычна, трудна, утомительна. Сопоставляя эти два рода людей, критик делает вывод, что развитие органов человека должно итти так, чтобы «развитие тела не мешало развитию души». Естественно, что правильно развитым и здоровым должен быть мозг человека. «Недостатки мозга, несовершенное развитие или болезненное изменение его более или менее ослабляет сознание, способности духовные и способность чувствовать и произвольно двигаться. Значительнейшие недостатки мозга ставят человека иногда гораздо ниже животных. Следовательно, душа человека прежде всего обусловливается здоровым мозгом». Животные, мозг которых по своему развитию ниже человеческого, не обладают даром мыслительной способности в той высокой степени, которая свойственна человеку.

Развивая свой взгляд, Добролюбов рассуждает: «Нельзя говорить без языка, слушать без ушей, нельзя мыслить и чувствовать без мозга»; «ощущение внешних впечатлений совершается не в самых органах чувств, а в мозгу»; «в деятельности мозга совершается восприятие одних впечатлений преимущественно перед другими». Все это служит доказательством фейербаховской мысли, что сознание и мышление порождаются мозгом — развитием его мысли, что «человек мыслит только посредством своей чувственно существующей головы, разум имеет прочную чувственную почву в голове, мозгу, в месте сосредоточения чувств», что «дух развивается вместе с телом, с чувствами». У критика есть

[1] Том VII, стр. 580. «Основания опытной психологии».

[2] Там же, стр. 119. «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью».

несколько статей о воспитании. Все они построены именно на этом принципе. Он указывает, что мозг следует правильно питать и правильно упражнять; надо сочетать умственный и физический труд, чтобы развитие человека не было односторонним, чтобы эта односторонность не отразилась на функциональности отдельных органов человеческого организма и прямо или косвенно не отразилась на деятельности мозга. У Добролюбова эта мысль об умственном и физическом труде не была доведена до конца и не получила той четкой формулировки и надлежащего развития, которое мы видим у Маркса. Маркс подошел к этой проблеме не с биологической точки зрения, а с политической, и указал, что «неизбежное завоевание политической власти рабочим классом завоюет надлежащее место в школах для рабочих и технологическому обучению, как теоретическому, так и практическому» [1].

Еще на женевском конгрессе I Интернационала Маркс требовал в составленной им резолюции, чтобы «постепенное и прогрессивное обучение было связано с умственным, гимнастическим и политическим воспитанием». Это осуществляет теперь советская система воспитания.

Но возвратимся к мозгу. «Первоначальная причина всякого чувства — мозг», но «чувствование возникает в нас вследствие впечатлений, полученных от внешнего мира». Наши желания есть результат впечатлений, воздействия на мозг предмета. Если о предмете не имеешь никакого представления, то нельзя желать его.

Эти свои мысли Добролюбов дает в различных формулировках несколько раз. Среди этих биологических рассуждений он вставляет основной фейербаховский тезис: «человек не из себя развивает понятия, а получает их из внешнего мира» [2], и тем самым разрешает основную проблему философии об отношении бытия и мышления. Он решительно утверждает: «все, что произвел человеческий разум, — все это дано опытом жизни»; а идеи рождаются только из существующих фактов. В своих рассуждениях Добролюбов ссылается на Либиха, когда последний еще не испугался своих крайних выводов, — на антропологию, которая доказала, что «все усилия наши представить себе отвлеченного духа без всяких материальных свойств или положительно определить, что он в своей сущности», бесплодная попытка [3]. «Человек не творит ничего нового, а только перерабатывает существующее». «Защищать возможность беспредметной, бесформенной мысли

---

[1] *К. Маркс*, «Капитал», 6-е изд., Гиз, 1930, т. I, стр. 379.
[2] Том VII, стр. 133. «Органическое развитие человека».
[3] Там же, стр. 114.

решительно значит утверждать, что можно создать что-нибудь из ничего».

Установив единство бытия и сознания, духа и материи, Добролюбов дает краткую историю дуализма. Он начинает с вопроса о сознании. Первый акт сознания он видит в том, что человек начинает отличать себя от внешнего мира, от окружающих предметов, в том, что перед ним встает проблема: я и внешний мир. Человек рассматривает внешний мир как препятствие жить по своему желанию. Ему непонятны силы природы, поскольку они препятствуют осуществлению его желаний; он начинает рассматривать их как силы, ему враждебные, как темное, злое начало. Одновременно человек видит в природе силы, благоприятствующие ему, светлое, доброе начало. Возникают боги естественных религий: Ормузд и Ариман, Вишну и Шива и т. п. Постепенно человек, отвлекаясь от внешнего мира, начинает обращаться к себе и в самом себе начинает видеть светлое и темное начало, добро и зло, борьбу двух противоположных сил. Но поскольку человек долгое время был не в состоянии подняться до идеи о «всеобщем единстве и гармонии», он стал рассматривать тело как темницу для души. Он впал в глубочайший и наивнейший материализм. Борьба души и тела, духа и материи наполняет всю историю человечества до самых последних времен. И только новейшая наука поняла, что «нужно было обобщить то, что представлялось до тех пор какими-то отдельными, ничем не связанными частями. В этом возведении видимых противоречий к естественному единству — великая заслуга новейшей науки». Она стала рассматривать человека в полном неразрывном его составе, телесном и духовном, не стараясь разобщить их, как это делали ранее средневековые схоласты.

Установив единство духа и материи, Добролюбов аналогичным образом ставит и разрешает вопрос о сущности и границах человеческого познания. Он самым решительным образом восстает против идеалистического мнения, что «почерпаемое человеком понятие о каком-либо предмете внешнего мира никогда не может быть истинным». Источником познания он считает внешние чувства. «Внешние чувства не всегда заблуждаются, и хоть случается с ними иногда такой грех, но вообще на них можно положиться». В своей полемике с г. Кусковым по вопросу о достоверности человеческих знаний и истинности понятий Добролюбов впадает в тоску и недоумение, когда слышит заявления, что все предметы вызывают впечатление всегда «более или менее ошибочное».

Добролюбов зло высмеивает философское положение, что «всему основанием служит идея», что идея «необходимо рождается в нашей душе», что «мы ее вносим в природу, по ней рас-

суждаем, по ней исправляем все». Идея обусловлена бытием, утверждал критик.

В вопросе о бытии и мышлении он повторял материалистическую концепцию Фейербаха. Временами повторял чуть не дословно.

За философской оболочкой споров Штрауса, Бауэра, Фейербаха скрывались глубокие исторические проблемы, связанные с основной проблемой, что̀ является главной движущей силой всемирной истории. Отвергнув абсолютный дух Гегеля, необходимо было эту силу найти. Никто из трех указанных ученых вставшей перед ними проблемы не разрешил. Фейербах, как писал Энгельс, «материалист снизу, идеалист сверху». В области природы он — материалист, в области же человеческой — идеалист. Энгельс был прав, когда говорил, что «материализм, опирающийся исключительно на естествознание, составляет основу человеческого знания, но еще не самое знание». Человека окружают природа и общество. Основная задача состоит в том, чтобы на основе материализма построить науку об обществе. Этой науки Фейербах не смог построить. Ее построили Маркс и Энгельс; владея этой наукой, Ленин совершил пролетарскую революцию в России; пользуясь ею и применяя ее ко всем областям человеческой деятельности, СССР под руководством коммунистической партии и ее великого вождя т. Сталина строит социалистическое общество.

Фейербах взял отвлеченного человека и отвлеченную природу. Он не сумел взять человека живого, конкретного, в исторических общественных условиях. Признавая все революционное значение материалистической философии Фейербаха, Маркс и Энгельс сразу заметили ее основное грехопадение и в своих неисчерпаемых по богатству мыслей работах философский материализм Фейербаха очистили, уточнили и применили его в науке об обществе. Энгельс писал: «Вернувшись к материалистической точке зрения, мы снова увидели в человеческих понятиях снимки с действительных вещей, вместо того, чтобы в действительных вещах видеть снимки с абсолютного понятия, находящегося на известной ступени развития. Диалектика сводилась этим к науке об общих законах движения во внешнем мире и в человеческой мысли: два ряда законов, которые, в сущности, тождественны, а по форме различны, так как человеческая голова может применять их сознательно, между тем как в природе, а большею частью пока еще и в человеческой истории, они действуют бессознательно, в виде внешней необходимости посреди бесконечного множества кажущихся случайностей. Таким образом, диалектика понятий сама становилась лишь сознательным отражением диалектического движения внешнего мира».

«В природе (поскольку мы оставляем в стороне обратное влияние на нее человека) действуют одна на другую лишь слепые, бессознательные силы, и общие законы проявляются лишь путем взаимодействия таких сил. Здесь нигде нет сознанной, желанной цели: ни в бесчисленных кажущихся случайностях, видимых на поверхности, ни в окончательных результатах, показывающих, что среди всех этих случайностей явления совершаются сообразно общим законам. Наоборот, в истории общества действуют люди, одаренные сознанием, движимые умыслом или страстью, ставящие себе определенные цели. Здесь ничто не делается без сознанного намерения, без желанной цели. Но как ни важно это различие для исторического исследования, — особенно отдельных эпох и событий, — оно нимало не изменяет того факта, что ход истории определяется внутренними общими законами».

Люди делают историю. Но «каковы же те силы, которые дают воле людей то или иное направление, каковы те исторические причины, которые отразились в головах деятелей в виде данных побуждений?». И Энгельс отвечает: «В головах людей непременно отражается все то, что побуждает их к деятельности, но *как* отражается — это зависит от обстоятельств». «Ища ответа на этот вопрос, мы находим, что в новейшей истории государственная воля определялась изменяющимися потребностями гражданского общества, преобладанием того или другого класса, а в последнем счете — развитием производительных сил и условий обмена» [1].

Вот до этого-то положения не поднялся Фейербах, не поднялись до него и идеологи революционной демократии 60-х годов прошлого столетия, Чернышевский и Добролюбов. Если Энгельс объяснял недостатки философии Фейербаха социально-экономической отсталостью Германии, то очевидно, что еще большая отсталость России не дала возможности перешагнуть через Фейербаха Чернышевскому и Добролюбову. Вместе с Фейербахом они оказались «идеалистами сверху».

Вместо того, чтобы свою материалистическую философию применять в объяснении общественной жизни и вместе с этим изучать классовую структуру и борьбу классов в обществе, развитие производительных сил страны, экономическую и политическую структуру общества, Фейербах выдвинул проблему нравственных отношений между людьми, основанных на любви. По этому пути пошел и Добролюбов. Повторяя ошибки своего учителя, он, однако, временами приходит к сознанию, что история — это борьба классов, а личность — продукт общественных отношений.

---

[1] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Сочинения, т. XIV, стр. 663, 667, 669, 671. «Людвиг Фейербах».

хотя и не выдерживает этой точки зрения со всей последовательностью.

IV

Фейербах верит в прирожденность стремления человека к счастью. Поскольку люди в этом естественном стремлении сталкиваются между собою, возникает борьба, — более сильные порабощают более слабых. Чтобы избежать этого ненормального положения, человек должен «разумно сдерживать себя» и проявлять любовь; все люди одинаково имеют право на счастье. Фейербах прекрасно понимает, что сделать всех счастливыми трудно, совершенно невозможно, так как «во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах», и он выдвигает всеспасающий принцип любви. В «Предварительных тезисах к реформе философии» (1842) Фейербах заявлял, что «всякие размышления о праве, о свободе, о воле, о личности — без человека, вне или поверх человека являются размышлением *без единства, без необходимости, без субстанции, без почвы, без реальности*». И все же он не сумел взять реального человека в конкретных исторических условиях. Его проповедь морали и любви осталась пустой фразой, не имеющей в жизни практического значения. Этот основной и органический порок фейербаховской философии блестяще вскрыл в своей работе Энгельс.

Что мы видим у Добролюбова? Он выдвигает формулу: «человек и его счастье»; он верит, что человек по природе своей хорош, добр, — у него развита любовь к себе подобным. Он убежден, что нравственность во многом определяет отношения людей, причем нравственность он понимает абстрактно. Он создает теорию разумного эгоизма. Идя за Фейербахом, критик повторяет все его ошибки. Характерно, что он так же прекрасно сознает, что «во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах», временами подходя к человеку более конкретно, чем Фейербах. Признав природную склонность человека к счастью и добру, к удовлетворению своих «естественных потребностей», как выражался Добролюбов, он логически пришел к выводу, что все, что мешает этому осуществлению, ложно, должно быть преодолено. Так как «дворцы» эту ненормальность, эти «искусственные отношения» людей всеми имеющимися в их распоряжении средствами поддерживают, закрепляют и расширяют, они должны быть начисто разрушены «хижинами». Должно быть создано новое общество, в котором все люди могли бы быть счастливыми.

Если бы Добролюбов знал сочинения Маркса, он не колеблясь подписался бы под его суждениями о французском материализме. «Если человек черпает все свои знания, ощущения и проч. из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то

надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек познавал в нем истинно-человеческое, чтобы он привыкал в нем воспитывать в себе человеческие свойства. Если правильно понятый интерес составляет принцип всякой морали, то надо, стало быть, стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека совпадал с общечеловеческими интересами. Если человек не свободен в материалистическом смысле, т. е. если он свободен не вследствие отрицательной силы избегать того или другого, а вследствие положительной силы проявлять свою истинную индивидуальность, то должно не наказывать преступления отдельных лиц, а уничтожить антисоциальные источники преступления и предоставить каждому необходимый общественный простор для его существенных жизненных проявлений. Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человечными. Если человек по природе своей общественное существо, то он, стало быть, только в обществе может развить свою истинную природу, и о силе его природы надо судить не по отдельным личностям, а по целому обществу» [1]. Это ни в какой мер не противоречило философским и социалистическим взглядам критика.

Вчитываясь в статьи Добролюбова, легко заметить, что временами он опять буквально повторяет рассуждения Фейербаха.

Фейербах пишет: «То, что живет — любит, хотя бы только себя и свою жизнь; хочет жить, потому что оно живет; хочет быть, потому что оно есть; но, заметьте, хочет быть только здоровым и счастливым: ибо только счастливое бытие есть бытие с точки зрения живого, ощущающего, желающего существа; только оно является желанным, любимым бытием. То, что хочет, хочет только того, что для него полезно, благотворно, хорошо, что причиняет ему добро и не причиняет зла, что сохраняет его жизнь и способствует ей, а не причиняет ей вреда и не нарушает ее, что не противно, а соответствует чувству, короче, что делает его счастливым, не несчастным и не несчастливым, если впрочем, конечно, между волей и предметом воли не появляются, как у человека, безволие, обман, ошибка, ложь. Больше того, желание просто и желание, делающее счастливым, следовательно, желание быть счастливым неотделимы друг от друга, представляют из себя одно и то же, и если принять во внимание первоначальное и не извращенное, естественное назначение и естественное явление воли. Воля это стремление к счастью». «Стремление к счастью это основное первоначальное стремление всего того, что живет и чувствует, что существует и хочет су-

[1] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*. Сочинения, т. III, стр. 160. «Святое семейство».

ществовать, что дышит и что не воспринимает в себя «с абсолютным безразличием» углекислоту и азот вместо кислорода, мертвящий воздух вместо живительного»[1].

А вот как рассуждает Добролюбов, разбирая роман Достоевского «Униженные и оскорбленные»: «Человек родился, значит, должен жить, значит, имеет право на существование. Это естественное право должно иметь и естественные условия для своего поддержания, средства жизни». Учитывая условия русской действительности, критик указывает, что люди, забитые жизнью, которых считают людьми, «пропавшими и умершими нравственно, все-таки крепко и глубоко, хотя и затаенно даже для себя самих, хранят в себе живую душу и вечное, неисторжимое никакими муками сознание своего человеческого права на жизнь и счастье». В «Новом кодексе русской практической мудрости» он твердо заявляет: «Человеку нужно счастье, он имеет право на него, должен добиваться его во что бы то ни стало». Эти мысли критик повторяет много раз и во многих статьях.

Переходя от вопроса о человеке к вопросу о человечестве, Добролюбов выдвигает «естественные стремления человечества» к счастью и указывает, что вся историческая борьба есть борьба за счастье.

Добролюбов выдвигает две формулы: в отношении отдельного человека — «человек и его счастье»; в отношении общества — «чтобы всем было хорошо».

«Естественные стремления, то как будто заглушаясь, то появляясь сильнее, все ищут своего удовлетворения. В этом состоит сущность истории»[2].

Религиозно-дуалистический взгляд на природу человека сулил счастье не телу, а душе. Чтобы душа могла получить вечное блаженство, человек должен был смирять свою плоть, подавлять, заглушать естественные потребности к счастью в земной жизни. Поскольку Фейербах и Добролюбов отбрасывают дуализм тела и души, поскольку человек выступает как нечто единое, вопрос о счастье из области небесной переносится в область земную. Если на небе счастья хватает всем, кто туда попадет, то на земле счастья людям не хватает, его приходится брать с бою.

Возникает дилемма: человек хочет счастья, отказаться от него не может и не должен, он прежде всего заботится о себе; следовательно, он эгоист и не может быть не эгоистом. Но как же быть, когда в общественной жизни эгоистические стремления сталкиваются и всегда одна сторона является страдающей? Два выхода может быть. Отказаться от эгоизма, стать на путь аль-

---

[1] *Л. Фейербах*, Сочинения, т. I, стр. 258, 259. «Эвдемонизм».
[2] Том IV, стр. 277. «Луч света в темном царстве».

труизма, надеясь на величайшие награды в неземной жизни, — это один путь. Другой путь — с пути эгоизма не сходить, но сделать этот эгоизм разумным, оставаясь во взгляде на человека на строго материалистической позиции, ища счастья только на земле и не мешая быть счастливым отдельным людям.

Фейербах понимает эгоизм не в «обыкновенном смысле этого слова», а как философский или универсальный принцип. Он пишет: «Я понимаю под этим словом не эгоизм человека по отношению к человеку, нравственный эгоизм, не тот эгоизм, который во всем, что он делает, даже как будто для других, соблюдает лишь свою выгоду, не тот эгоизм, который является характерной чертой филистера и буржуа и составляет прямую противоположность всякому дерзанию в мышлении и действии, и всякому воодушевлению, всякой гениальности и любви. Я понимаю под эгоизмом соответствующее его природе, а, стало быть, и разуму, — ибо разум человека ведь не что иное, как сознательная природа его, — его самопризнание, самоутверждение по отношению ко всем неестественным и бесчеловечным требованиям, которые предъявляют к нему теологическое лицемерие, религиозная и спекулятивная фантастика, политическая грубость и деспотизм. Я понимаю под эгоизмом эгоизм необходимый, неизбежный, не моральный, как я уже сказал, а метафизический, т. е. эгоизм, основывающийся на существе человека без его ведома и воли, *тот* эгоизм, без которого человек не может жить: ибо для того, чтобы жить, я должен постоянно присваивать себе то, что мне полезно, и отстранять то, что мне враждебно и вредно; *тот* эгоизм, стало быть, который коренится в самом организме, в усвоении усвояемой материи и выбрасывании неусвояемой. Я понимаю под эгоизмом любовь человека *к самому себе*, т. е. любовь *к человеческому существу*, ту любовь, которая есть импульс к удовлетворению и развитию всех тех влечений и наклонностей, без удовлетворения и развития которых человек не есть настоящий совершенный человек и не может им быть; я понимаю под эгоизмом любовь человека к себе подобным индивидам; ибо что я без них, что я без любви к существам мне подобным? — Любовь индивида к самому себе лишь постольку, поскольку всякая любовь предмета, существа есть косвенно любовь к самому себе, потому что я ведь могу любить лишь то, что отвечает моему идеалу, моему чувству, моему существу. Короче говоря, я понимаю под эгоизмом тот инстинкт самосохранения, в силу которого человек не приносит в жертву себя, своего разума, своего чувства, своего тела духовным — если взять примеры из ближе всего знакомого нам культа животных — духовным ослам и баранам, политическим волкам и тиграм, философским сверчкам и совам».

Самоотрицания лишь как «средства самоутверждения любви к себе» Фейербах не признает. Оно допустимо лишь «в исключительных, несчастных случаях». «Нелепо исключительный ненормальный случай брать за норму, самоотрицание делать безусловным, универсальным принципом и законом». «Эгоизм сплачивает государства; только там распадаются государства, где эгоизм одного сословия, одного класса или отдельных людей не признает равноправным эгоизма других людей, других сословий». «Всюду, где человек борется с эгоизмом в распространительном смысле этого слова — в религии ли, в философии ли, или в политике, — он впадает в *чистейшую нелепость и безумие;* ибо *смысл,* лежащий в основе всех человеческих влечений, стремлений, действий, есть удовлетворение человеческого существа, удовлетворение человеческого эгоизма» [1].

Свой идеал Фейербах видит не в «кастрированном, лишенном телесности, отвлеченном существе, — а в цельном, действительном, всестороннем, совершенном, развитом человеке».

Фейербах отрицает тот эгоизм, который он называет дуалистическим, который себе отводит небо, а другим ад, сам признает только материализм, а другим проповедует идеализм, сам живет в свободе, а других обрекает на рабство, сам наслаждается жизнью, а других зовет к отречению от жизни.

Поскольку Фейербах признавал социальный эгоизм, «семейный, корпоративный, общинный, патриотический», поскольку он исторический процесс объяснял эгоизмом угнетенных, Ленин, выписывая мысли Фейербаха, что «добро есть не что иное, как то, что отвечает эгоизму всех людей», что «эгоизм ныне угнетенного большинства человечества должен осуществить и осуществит свое право и начнет новую эпоху истории», ставит на полях своего конспекта о «Сущности религии» Фейербаха пометки и замечания: «зачаток исторического материализма», «социализм» Фейербаха, а в одном месте добавляет: «ср. Чернышевский» [2].

Поскольку у Добролюбова и Чернышевского в этом вопросе никаких расхождений не было, замечание о Чернышевском мы в праве перенести на Добролюбова, подчеркнув, что теория разумного эгоизма не только не была какой-то странной фантазией, а в какой-то степени приближалась к историческому материализму и была тесно связана с утопическим социализмом. Нередко теорию разумного эгоизма рассматривают как схоластическое выражение высшего альтруизма, не понимая всей философской, материалистической его сущности и даже не придавая ей того серьезного значения, какое она имеет. Мы стараемся эту теорию

[1] *Л. Фейербах,* Сочинения, т. III, стр. 56, 85. «Лекции о сущности религии».

[2] Ленинский сборник, XII, стр. 113.

раскрыть, чтобы поставить ее на надлежащее место во взглядах критика.

По Фейербаху, мораль предполагает две стороны; где этих двух сторон нет, там нет и морали. Мораль — это не просто обязанности к самому себе, чтобы приобрести и лучше сохранить свое телесное и духовное здоровье, а обязанности к себе и другим одновременно: «к моей семье, к моей общине, к моему народу, к моей родине». Если так, то не приходится ли человеку воплотиться в ангела, лишенного тела и я? Совсем нет. Наоборот, в морали человек только и становится человеком. «Хорош только тот, кто хорош для других так же, как и для себя. Но исключено ли из этого хорошего отношения к другим хорошее отношение к самому себе? Разве я не могу допустить для себя самого ничего хорошего? Должен ли я ненавидеть себя, рассматривать как врага, отказаться от самого себя и отрицать себя чтобы заслужить предикат нравственного человека? Должен ли я безусловно сделать себя несчастным, для того, чтобы осчастливить себя? Одним словом, шлет ли мораль проклятья собственному стремлению к счастью или абстрагирует ли, по меньшей мере, от него, как от стремления, его порочащего? Нисколько; но мораль, конечно, не знает никакого собственного счастья без счастья чужого, не знает и не хочет никакого изолированного счастья, обособленного и независимого от счастья других людей или даже сознательно и намеренно основанного на их несчастьи; она знает только товарищеское общее счастье» [1]. Фейербах много раз призывает различать эгоизм «злой, бесчеловечный и бессердечный» от эгоизма «участливого, человечного».

Наконец, Фейербах ставит вопрос о совести. Совесть несет радость, но она является и источником страданий, когда человек сознает, что его поведение нарушает счастье другого человека, причиняет ему неприятное. В основе этого страдания лежит собственное стремление к счастью. Если человек не ощущает, что он сделал другого несчастным, он не имет совести.

Добролюбов прочно усвоил эти взгляды немецкого философа. Он определенно отрицательно относится ко взглядам на жизнь, как «на тяжелый, исполненный горестей, насильственный подвиг». Он находит, что «взгляд этот весьма высоко ценит формальную, внешнюю сторону дела». Таких людей критик находит в нравственном отношении стоящими «на очень низкой ступени»: «они не в состоянии возвыситься до того, чтобы ощутить в себе самих требования долга и предаться им всем существом своим; они должны непременно иметь на себе какую-нибудь узду, чтобы обуздывать себя». Нравственным человеком можно назвать

[1] *Л. Фейербах.* том I, стр. 299. «Эвдемонизм».

лишь того, «кто заботится слить требования долга с потребностями внутреннего существа своего, кто старается переработать их в свою плоть и кровь внутренним процессом самосознания и саморазвития так, чтобы они не только сделались инстинктивно необходимыми, но и составляли внутреннее наслаждение» [1].

Этого вопроса Добролюбов касается в довольно развернутом виде в статье о Станкевиче. Вчитываясь в нее, сразу видно, что критик оценивает морально фигуру Станкевича, исходя не из обычных, ходячих представлений о морали, об альтруизме и эгоизме, а из понимания эгоизма как философского всеобщего принципа. Предвидя упреки в эгоизме, он пишет: «Пусть и так, но такого рода эгоизм, по нашему мнению, лучше того самоотречения, о котором мы говорили выше, и мы искренно желаем, чтобы труженики с мрачным взглядом на жизнь достигли состояния такого полного эгоизма, полагающего в счастье других собственное счастье». Добролюбов полагает, что нет людей, свободных от эгоизма, все стремятся к счастью, но есть «грубые эгоисты, которых взгляд чрезвычайно узок и которые понимают свое счастье в грубых наслаждениях чувственности, в унижении пред собой других и т. д.», но есть и такие эгоисты, которые счастье человека находят в «самозабвении для других». Он указывает, что в жизни вообще мало таких фанатиков, которые сами отыскивали бы себе страдания и вступали в борьбу с самим собою. Повторяя Фейербаха, он призывал «убедиться в том, что искать страданий и лишений — дело неестественное для человека и поэтому не может быть идеальным, верховным назначением человечества. Во что бы человек ни играл, он играет только до тех пор, пока еще надеется на выигрыш; а надежда на выигрыш — это ведь и есть желание лучшего, стремление к удовлетворению своих потребностей, своего эгоизма в том виде, в каком он у каждого образовался, смотря по степени его умственного и нравственного развития. Романтические фразы об отрицании себя, о труде для самого труда или «для такой цели, которая с нашей личностью *ничего общего* не имеет», — к лицу были средневековому рыцарю печального образа, но они очень забавны в устах образованного человека нашего времени». «Если всякий предмет в природе имеет право существовать прежде всего для себя, то неужели человек должен быть каким-то уродом в создании, изгнанником из общей гармонии? Напротив, он выше всех других предметов, и потому восприимчивость к благу жизни в нем развита еще больше: низшие предметы природы живут только в себе, наслаждаются собою,— человек может жить в других, наслаждаться чужою радостью, чужим счастьем. Если кто не чувствует в себе

[1] Том III, стр. 161. «Н. В. Станкевич».

этой способности, значит, он еще мало развил в себе истинно-человеческие элементы, значит, животные потребности слишком сильно преобладают в нем» [1].

В стремлении и любви к общему благу Добролюбов видит только «благороднейшее проявление разумного эгоизма». Когда человек знает, какое место он занимает в обществе, ясно понимает свои отношения к другим людям и не мыслит своего благополучия вне счастья других, тогда «можно признать в нем действительную, серьезную, а не риторическую любовь к общему благу». Но чтобы подняться до такого состояния, человек должен иметь высокий уровень умственного и нравственного развития, необходимо, чтобы его понятия были усвоены не только головой, но и сердцем, чтобы они проникли в его практическую деятельность, превратившись в его «плоть и кровь». От уровня развития зависит понимание личного счастья и общего блага. «Есть эгоисты грубые», «но есть эгоисты и другого рода». Когда люди выше всего ставят общее благо, они не приносят себя в жертву обществу, — они проявляют свой разумный эгоизм. Общее счастье дает им больше радости, чем свое собственное. «Даже если человек жертвует чем-нибудь своим для других, и тогда эгоизм не оставляет его». Революционер тоже эгоист. Любовь к добру Добролюбов считает чувством, врожденным человеку. Все люди добры. Природный эгоизм человека определяется его «стремлением к возможно большему добру».

Для примера критик берет ребенка. Ребенок всегда эгоист, на первых порах очень грубый: он знает только свои желания и спокойно причиняет страдания другим. В нем есть инстинкт, хотя бы и смутный, что жить в обществе лучше, чем одному. В нем есть инстинкт стадности, общественности. По мере развития этот инстинкт превращается в сознание. Ребенок начинает чувствовать себя членом общества и «понимать связь собственного благосостояния с благосостоянием других». В ребенке с пробуждением мысли начинают развиваться и «симпатические отношения с другими».

Зачатки теории разумного эгоизма мы находим и у Герцена. Он позаимствовал ее, как Чернышевский и Добролюбов, у Фейербаха. Недавно разыскан фрагмент Герцена «Дуализм — это монархия», опубликованный в 1855 г. В нем есть интересное место о морали. Герцен против морали Сивиллиных книг, против той морали, которая уничтожает личность, представляя человека без страстей и стремлений. Он против той морали, которая навязывает человеку обязанности, противные его природе, «оскорбляющие природу». Люди не хотят быть ни отшельниками, ни пустын-

[1] Том III, стр. 167, 168. «Н. В. Станкевич».

никами. Он против морали, которая вызывает «на смертный бой эгоизм, индивидуализм».

«Мы, — пишет Герцен, — не понимаем человека без эгоизма, личность без индивидуализма — подобно тому, как мы не понимаем человека без чувства социальности.

Человек, любящий только самог себя, — чудовищен, так же как человек, любящий «всех», кроме себя самого. Человек без социального инстинкта был бы подобен плотоядному орангутангу, Калибану-людоеду. Человек, лишенный эгоизма, был бы подобен кроткому орангутангу, Жеко, сентиментальному Калибану.

Мы хотим быть свободными и счастливыми, мы хотим быть любимыми, потому что мы эгоисты. Любят всегда для себя, никогда не для других».

«Истинный интерес этики не в том, чтобы уничтожать эгоизм — братство никогда не поглотит его, — а в том, чтобы найти возможность соединения этих двух великих элементов человеческой жизни в гармонии, где они могли бы помогать друг другу, вместо того, чтобы поносить друг друга, как это делается в христианском мире».

«Человек социален — любить так естественно для него, что он будет много любить; но иногда он будет и ненавидеть — и только тогда его любовь будет ценна...» «Последняя форма рабства — это Дуализм, отделяющий Человека от Общества и изображающий их как двух врагов» [1].

Представителей новой морали Герцен видит в Сен-Симоне и Фурье: «один отомстил за плоть, другой — за страсти».

С полной уверенностью можно утверждать, что Добролюбов не знал этой статьи Герцена. Если у обоих писателей находим тождество в аргументации, то оно обусловлено влиянием Фейербаха.

В настоящее время совершенно нет никакой необходимости развертывать критику теории разумного эгоизма. Что касается Фейербаха, то как его философская система в целом, так и теория разумного эгоизма исчерпывающе разобрана и объяснена Марксом и Энгельсом. Они показали, что Фейербах не мог освободиться от отвлеченностей, не мог постигнуть действительной природы, не сумел изучать человека в его конкретной общественно-исторической деятельности. Теория разумного эгоизма поэтому страдает рационализмом, абстрактностью, «она выкроена для всех времен, для всех народов, для всех состояний и именно потому она неприложима нигде и никогда. По отношению к действительному миру она так же бессильна, как категорический

---

[1] «Звенья», «Academia», 1932, кн. I, стр. 165.

императив Канта»[1]. Порочные идеалистические элементы разумного эгоизма Фейербаха, естественно, перешли во взгляды Чернышевского и Добролюбова. Естественно также и то, что Плеханов критику Маркса и Энгельса системы Фейербаха блестяще перенес непосредственно на взгляды Чернышевского и Добролюбова.

Вместо критики теории разумного эгоизма мы намерены указать, почему именно эту теорию, а не какую-либо другую восприняла русская революционная демократия 60-х годов прошлого века. Теория разумного эгоизма была системой глубоко-общественной, связанной с социализмом; она требовала, чтобы интересы отдельного человека совпадали с общественными интересами. Это целиком отвечало классовым задачам революционной демократии, которая стремилась разбить индивидуалистическую мораль, основанную или на узко личном счастье, или на отказе от счастья и вообще от своей личности. Революционная демократия не могла принять системы узко личного счастья; это не мирилось бы с требованиями, которые к ней предъявляла революционная деятельность, связанная с величайшим самопожертвованием вплоть до отказа от своей жизни в физическом смысле. Революционная демократия знала, что ее ждут тюремные казематы, сибирские снега, каторга и виселица; со всем этим узко личное счастье никак не может быть сведено в систему, если не принять принцип долга, жертвы, отказа от свободной личности. Борясь с самодержавием, революционная демократия боролась не только за счастье народа вообще, но и за свободную личность. Ей чужда была идея долга, ее не увлекала идея самопожертвования и смирения. Революционная демократия боролась за свободно-целостного человека, и революционную деятельность хотела рассматривать не как акт тяжелого долга, принципа, а как свободный акт свободной личности. Этим требованиям теория разумного эгоизма удовлетворяла вполне. Она была могучим идеологическим средством в организации революционных сил демократии. Добролюбов не раз ставил вопрос о самопожертвовании. Говоря о себе, он всегда подчеркивал свою готовность к самопожертвованию, но всегда добавлял, что для этого нужны соответствующие общественные обстоятельства, ради которых стоило бы жертвовать жизнью. Идея максимальной общественной пользы совершенно вытесняла идею долга. Что касется абстрактности и рационализма, то эти качества вполне отвечали социальной сущности демократии, поскольку она не могла стать на четкие классовые позиции и подняться до сознания, что каждый класс имеет свою мораль.

[1] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Сочинения, т. XIV, стр. 661. «Людвиг Фейербах».

Если бы представители демократии могли осознать теорию классовой борьбы, принципы диалектического материализма, они перешагнули бы через Фейербаха и от принципов демократии перешли бы к диктатуре пролетариата, что произошло с Марксом и Энгельсом.

V

Перейдем к вопросам эстетики. Фейербах вопросами эстетики не занимался; не писал о них специально и Добролюбов. Материал в силу этого опять ограничен, но и этот ограниченный материал все же дает возможность вскрыть отправные эстетические точки зрения критика. Поскольку Добролюбов целиком принимал диссертацию Чернышевского, мы можем начать с выявления ее основных положений.

В основе гегелевской философии лежит абсолютный дух. Он раскрывает свою сущность в религии, философии и искусстве. Следовательно, предметом искусства является абсолютная истина, как самопознание абсолютного духа. Если истина принимает видимость в том или другом чувственном явлении, достигается красота. Эту красоту в искусстве создает фантазия художника. Создаваемый художником образ — это символ идеи. Красота в мире, однако, не совершенна, хотя искусство и имеет своей целью дать истину в полной ее сущности, в гармонии с действительным миром. Таким образом, Гегель растворял искусство в несовершенном, ограниченном познании. Чувственное бытие, по Гегелю, неполноценно.

Фейербах выставил тезис, что мир познается не только в мышлении, но и через посредство всех наших чувств, но он взял человека отвлеченно, вне исторических условий. Он упустил из виду, что эстетические потребности человека не есть что-то чисто биологическое, данное вне общественного развития. Он не понял, что эстетические потребности — исторический продукт, продукт общественных отношений, классовой борьбы. Не имея силы перенести свой философский материализм в область общественных отношений, не сознавая, что человек есть продукт производственных отношений, Фейербах все же показал, что искусство, как и религия, является выражением сущности человека, а не абсолютного духа. Противопоставлять дух и природу в искусстве так же недопустимо, как и в философии. Унаследовав от спекулятивной философии учение, что форма искусства определяется его содержанием, что в различные исторические моменты форма и содержание то сближаются между собою, то расходятся, ученики Фейербаха, не отрицая важности в искусстве формы, доказывали, что форма живет, поскольку в ней есть содержание, без содержания форма мертва, отвлеченна. Из всех этих рассуж-

дений вытекает, что искусство целиком зависит от жизни, — жизнь выше искусства.

Эти фейербахианские мысли об искусстве были усвоены французскими социалистами-утопистами. П. Леру указывал, что искусство есть выражение жизни как в ее прекрасном проявлении, так и в уродливом, тяжелом, мрачном. Поскольку искусство есть выражение состояния человека, оно всегда отражает определенную эпоху, поэтому художник в своем творчестве никогда не должен забывать об окружающей его жизни. Этот взгляд заставлял утопических социалистов превращать искусство в служебную силу пропаганды идей социализма.

Все это и обусловило главные выводы диссертации Чернышевского. Он провозглашает: «Прекрасное есть жизнь», и решительно отвергает, что «прекрасное есть полное проявление общей идеи в индивидуальном явлении». Он утверждает, что «искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни», и отрицает мысль, что искусство ограничивается областью прекрасного: «создания искусства ниже прекрасного в действительности»; «совершенство формы (единство идеи и формы) не составляет характеристической черты искусства в эстетическом смысле слова (изящных искусств); прекрасное, как единство идеи и образа или как полное осуществление идеи, есть цель стремления искусства в обширнейшем смысле слова или «уменья», цель всякой практической деятельности человека». Последний вывод Чернышевского гласит: «Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни». «Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни. Действительность выше мечты, и существенное значение выше фантастических притязаний» [1].

Сущность всех этих утверждений и отрицаний сводилась к тому, чтобы восстановить в правах жизнь, действительность и поднять борьбу за эту действительность, чтобы дискредитировать тех, кто надеется противопоставить действительности искусство, как нечто высшее, и таким образом парализовать борьбу за жизнь, как она представлялась революционной демократии. Высочайшая красота есть только в мире действительности. Красота, прекрасное всегда связано со счастием человека. Следовательно, нужно бороться за действительность, за жизнь. Если же

---

[1] *Н. Г. Чернышевский,* том X, ч. 2, стр. 162, 163, 164. «Эстетические отношения».

признать, что «прекрасное в жизни только призрак», то придется отказаться от борьбы за действительность, и человек вынужден будет утолять жажду прекрасного, отыскивая его в искусстве. Раз «прекрасное есть жизнь», то «в области прекрасного нет отвлеченных мыслей, а есть только индивидуальные существа, — жизнь мы видим только в действительных, живых существах, а отвлеченные, общие мысли не входят в область жизни» [1].

Отход от философии Гегеля и принятие философии Фейербаха очевидны без всяких добавочных разъяснений. Абсолютный дух Гегеля низвергнут; природа, человек, разум поставлены на первое место, в центре всего мировоззрения. Поскольку же «Фейербах не нашел дороги, ведшей от царства столь ненавистных ему отвлеченностей в живой, действительный мир», поскольку «его человек остается отвлеченным человеком, который фигурирует в религии», хотя он и «сносится со своими ближними», такими же отвлеченными существами, как и он, постольку его идеализм перешел во взгляды Чернышевского, и последний не сумел показать, как исторический процесс с его классовой борьбой обусловливает эстетические вкусы. То же самое положение, что и с теорией разумного эгоизма. Правда, Чернышевский сумел показать, что каждая общественная группа по-своему понимает прекрасное. Поскольку «прекрасное есть жизнь» и это прекрасное связано со счастием в жизни, а счастие каждая общественная группа понимает по-своему, Чернышевский писал: «Хорошая жизнь», «жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей однако до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна — это также необходимое условие красавицы сельской; светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачной», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не дает разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком. У сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает, — об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях...

[1] *Н. Г. Чернышевский*, т. X, ч. 2, стр. 93, «Эстетические отношения».

Совершенно другое дело светская красавица; уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни кровь льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки; они признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества: жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилии. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки... Болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни...

Всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь—жизнь ума и сердца. Она отпечатлевается в выражении лица, всего яснее в глазах; потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза» [1].

Это, конечно, колоссальнейший шаг вперед. Если Гегель учил, что чувственное познание мира не соответствует его действительной природе и должно быть проверено с помощью чистого мышления, то Фейербах, а за ним и Чернышевский и Добролюбов реабилитируют действительность. И все же рассуждения Чернышевского о красоте нас не могут удовлетворить. Правда, Чернышевский берет не отвлеченного человека, не человека вообще, а различает поселянина от дворянина и противопоставляет их образованному человеку, но эта конкретность все же весьма относительна, так как Чернышевский берет представителей различных общественных групп, не имея принципа классовой дифференциации общества. Если еще можно было противопоставлять во времена писания диссертации поселянина дворянину, как класс эксплоатируемый классу-эксплоататору, то никак уже нельзя противополагать им образованного человека. Кроме того, упомянутые общественные группы взяты вне их исторической жизни, отвлеченно, как будто у поселян всех народов и времен один и тот же идеал женской красоты. Если мы проследим дворянскую литературу, просмотрим ее портреты женской красоты, то увидим, что идеал красоты, нарисованный Чернышевским, далеко не

---

[1] *Н. Г. Чернышевский*, т. X, ч. 2, стр. 89. «Эстетические отношения».

всегда и не во всем отвечает представлению самого же Чернышевского. Понятие прекрасного складывается, по Чернышевскому, не в результате классовой борьбы, общественных отношений на той или иной ступени развития производительных сил, а исключительно в процессе труда, что, конечно, неверно. Да и эта точка зрения не выдержана строго до конца. Образованный человек взят не в процессе труда, а в зависимости от его образованности, причем всем известно, что образованные люди имеют довольно различное представление о красоте. Чернышевский понимание красоты человека, свойственное в 60-х годах революционной демократии, перенес на все образованное общество. Сделал он это, сказав не просто «образованный человек», а «истинно-образованный». Но что такое истинно образованный человек? Тут Чернышевский впадает в идеализм, становится на просветительскую точку зрения.

Правда, Добролюбов понимал, что бытие определяет мышление, а не наоборот; правда, под «искусственными стремлениями» он понимал стремления классов упрочить свое господство над другими классами в целях их эксплоатации и порабощения, но это еще не объясняло исторического процесса. Нельзя же примириться с объяснением исторического процесса, как истории «искусственных общественных комбинаций», в основе борьбы с которыми лежит высокая нравственность, истинная образованность. Поскольку французские материалисты XVIII в., Фейербах, утопические социалисты, а за ними Чернышевский и Добролюбов, были просветители, они, хотя постоянно и оговаривались, но довольно часто исходили из идеалистического положения, что «мнение правит миром», и выход искали в просвещении. Это и помешало Чернышевскому и Добролюбову преодолеть идеализм Фейербаха в своих эстетических взглядах.

Добролюбова все и всегда упрекали, что он снижает задачи искусства, принижает его, убивая фантазию и ища в искусстве воспроизведения действительности; но это был основной тезис фейербаховской эстетики. В этом был материалистический характер эстетики революционной демократии 60-х годов.

«Прекрасное есть жизнь». Искусство показывает жизнь; раз так, то надо объяснить, что показывается — важное или второстепенное, органическое или случайное, какой общественный класс показывается, с какой стороны, с какой точки зрения, правильно ли все это сделано и для какой цели. Если художник показывает, то критик объясняет. Раз критик объясняет произведение, анализируя показ художником жизни, то, естественно, критик выбирает такие художественные произведения, которые в силу различных обстоятельств привлекают критика показом определенных общественных отношений. Как революционер и де-

мократ, Добролюбов взял комедии Островского, поскольку видел в них наиболее полное и лучшее отображение жизни всего русского общества, со всеми его отвратительными сторонами; взял он Гончарова, поскольку на разборе романа «Обломов» мог показать, что русское общество полно Обломовых и эти Обломовы не способны ни на какое общественное дело, в особенности на освобождение народа.

Но что значит объяснить художественное произведение? Можно ли ограничиться раскрытием содержания образов произведения, раскрытием основной идеи? Конечно, нет. Всякое объяснение дается с целью познать явление в сущности, т. е. определить его отношение к общественному человеку. Всякое объяснение неизбежно связано с оценкой его. Критик, объясняя, указывает читателю роль художественного произведения в жизни, указывает, какие основы и порядки жизни оно защищает, чьи интересы отстаивает, куда ведет.

Те, кто упрекал Добролюбова, что он выбирал тенденциозные произведения и мало понимал в вопросах художественности, не понимали, что Добролюбов враг тенденциозности, т. е. искажения жизни ради предвзятой идеи, что он противник нереальных, фантастических произведений, что он глубоко разбирался в эстетических вопросах. Многие из его статей, например, статьи об Островском, — величайшие образцы одновременно и общественной и эстетической критики. Но не последняя была сущностью его эстетического кодекса.

Плеханов в своей статье о Добролюбове находит противоречие в литературной деятельности критика; он подчеркивает: критик начал с указания, что критика ничего не предписывает, а только изучает, а кончил, отведя литературе служебную роль. То же самое повторяет и проф. Е. Аничков, объясняя найденное им противоречие с точки зрения своих умеренно-либеральных требований к литературе, но о нем в другом месте, при других обстоятельствах.

Мы здесь не видим противоречия. Одно положение говорит о задачах критика, другое — о задачах писателя-художника. Смешивать этого никак нельзя. Критик вскрывает, что и как показано в произведении, произносит над ним «приговор», оценивает его с точки зрения, насколько произведение отвечает историческому прогрессу, «естественным стремлениям человечества». Оценить произведение, указать пользу или вред, которые оно приносит общественному развитию, еще не значит предписать художнику. Конечно, художник считается с критикой, но он может и не считаться с ней. В классовом обществе критика всегда подходит к произведению с разных точек зрения и по-разному произносит свой «приговор»: одни осуждают, другие оправдыва-

ют, третьи превозносят. Художник считается с критикой по своему классовому усмотрению, — это не предписание. Да, наконец, предписывает или не предписывает критик, это не изменяет общественной роли литературы. Она служит интересам того или иного класса, как продукт положения класса в обществе, с целью организации этого класса в определенном направлении. Плеханов видит противоречие и объясняет его идеалистическим взглядом на историю. Идеализм в общественных вопросах у Добролюбова есть, но в данном случае дело не в нем. Плеханов думает, что Добролюбов «придумал служебную роль художественной литературы». Далеко не так. Критик не «придумал» свою установку, а она закономерно вытекала из основных его философских представлений, из реабилитации действительности, из формулы «человек и его счастье». Можно подвергать критике эти основные тезисы, что сделали Маркс и Энгельс по отношению к философии Фейербаха, но искать у Добролюбова в данном пункте противоречия никак нельзя. Добролюбов был строго логичен и последователен даже в своих противоречиях. Это сильная сторона его большого и светлого ума.

Мы считаем, что Добролюбов был прав и по существу вопроса. Принципы критики не абсолютны; служебную роль литературы мы подчеркиваем в наши дни с особенной силой. Учит нас сама жизнь, действительность, но в какой-то степени учит нас и литература и вообще искусство. Мы критикуем и выносим подчас излишне строгие «приговоры» над теми писателями, которые не идут в ногу с советской действительностью, отстают, не понимают ее. Мы их воспитываем, но не предписываем им. Писателя можно перевоспитать, но предписать ему поступать вопреки его классовым интересам нельзя. Даже и тогда, когда писатель «подделывается» под идеологию господствующего класса, он блюдет свои классовые интересы.

Плеханов пишет: «Если «мнение правит миром» (этот взгляд он приписывает Добролюбову. *В. П.),* то человеку, желающему повлиять на «мир» в том или ином направлении, остается сделать свое мнение господствующим. И если этот человек стремится к великой общественной реформе, то неудивительно, что он готов будет воспользоваться, между прочим, и художественной литературой для доставления господства своему мнению. В таком случае известная односторонность совершенно неминуема»[1]. Выход из этой односторонности Плеханов видит в двух направлениях: или в отказе от стремлений к общественным реформам, или в замене идеализма историческим материализмом. Плеханов в

---

[1] *Г. В. Плеханов*, Сочинения, т. XXIV, стр. 60. «Добролюбов и Островский».

этом пункте впадает в величайшую принципиальную ошибку, которую уже отвергла действительность диктатуры пролетариата в СССР. Пролетариат не отказался от «общественных реформ», планомерно внедряет в жизнь, в науку и искусство марксистско-ленинское мировоззрение, борется за это, считая искусство своей служебной силой и приспособляя его к целям своего развернутого социалистического строительства. Плеханов как будто забыл, что художественная литература — это один из видов идеологии класса, что роль ее в обществе та же, что и всякой другой идеологии. Плеханов ее как-то изолировал, своеобразно объективизировал, отвел ей чисто пассивную роль, как будто бы литература лишена социальной функции. Если же художественная литература в какой-то мере выполняет социальную функцию, а этого Плеханов не отрицает, если она служит интересам того или иного класса, то почему класс не может требовать от литературы, чтобы она лучше служила классу, полнее и вернее отражала его интересы? Иначе и нельзя понимать стремление воспользоваться литературой для господства своего мнения. Во всем этом никакой односторонности нет. Есть строгая классовая последовательность, которую класс не должен приносить в жертву идеалистическим соображениям, что художественная литература выше стремлений класса и ими не обусловлена.

Плеханов указывает, что, отводя художественной литературе служебную роль, критик дает простор «рассудочности», которая присуща вообще «шестидесятникам» и вытекает из их идеалистического взгляда на историю. Его же позиция будто бы вводит рассудочность «в надлежащие пределы или дает возможность такого введения». Рассудочности, действительно, было не мало во взглядах Добролюбова. Не можем мы оспаривать и того положения, что диалектический материализм вводит рассудочность «в надлежащие пределы». Однако, все эти аргументы идут помимо Добролюбова. Плеханов ни в какой мере не доказал, что только и исключительно исторический идеализм и рассудочность могут требовать от литературы служебной роли, исторический же материализм эту служебную роль абсолютно отвергает, начисто. Да этого и нельзя доказать. Построение Плеханова глубоко отвлеченно и носит чисто логический характер. Плеханов берет под сомнение «рассудочность», он считает ее порочной (она руководится решениями отвлеченного разума) и находит, что эта порочная рассудочность делает порочной и литературу. Но как же требовать от класса, чтобы он искал в литературе свойства, которых он сам не имеет, и, наоборот, отказывался от тех свойств литературы, которые являются его основными классовыми свойствами? Рассудочность — основное свойство революционной демократии 60-х годов. Не сползает ли сам Плеханов на идеа-

листическую позицию? Пролетариат никогда не откажется от служебной роли искусства. «Искусство в массы» — лозунг наших дней; искусство — пособник социалистического строительства.

В данном пункте Добролюбов со своей классовой позиции прав. Плеханов без всяких оговорок, совершенно не исторически, не диалектически, приписал Добролюбову основное положение просветителей: «мнение правит миром», и отсюда логически начал строить всю свою критику эстетических взглядов Добролюбова и находить ошибки даже там, где их нет.

VI

Обобщая философские высказывания Добролюбова, приходится констатировать, что он строго и последовательно выражал философию Фейербаха, отражая ее материалистическую сущность и идеалистические ошибки. Вместе с Чернышевским он и в области познания (бытие определяет сознание), и в области этики (разумный эгоизм), и в области эстетики (прекрасное есть жизнь) прежде всего реабилитирует действительность. Отвергнув основное положение умозрительной философии, что чувственное познание не отражает в полной мере действительности и должно проверяться с помощью чистого мышления, Добролюбов, идя за Фейербахом, утверждал, наоборот, что предмет познается только чувственным образом, что чувственность или действительность тождественны с истиной. Фантазия, вымысел, абстракция теряют свое прежнее значение; чувственность, действительность определяют все. Над вопросами о действительности много мучился Белинский. Понял он ее лишь в последний период своей жизни, раскланявшись с философским «колпаком» Гегеля и восприняв материалистические принципы левого гегельянства. Реабилитируя действительность, Добролюбов признал, что все поведение человека, его стремления, его желания, его надежды, его нравственные, общественные и эстетические взгляды имеют значение постольку, поскольку они опираются на действительность. Перевертывая гегелевское положение, Фейербах утверждал, что разумно только то, что действительно. Под действительностью же, вопреки Гегелю, им понималось существующее, поскольку оно освобождалось от абстрактных вымыслов.

Исходя из этого положения, Добролюбов требовал от искусства прежде всего, чтобы оно полнее и совершеннее отображало действительность в ее сущности, полагая, что через это изображение общество скорее увидит и поймет ненормальность человеческих отношений, «искусственные отношения» человечества. Когда-то Белинский писал, что «задача истинной эстетики состоит не в том, чтобы решить, чем должно быть искусство, а в том,

чтобы определить, что такое искусство». Белинский в своей литературно-критической деятельности не мог реализовать этого своего теоретического положения. Реализовали его Чернышевский и Добролюбов, поскольку они интересовались преимущественно его практическим значением.

Писарев пришел к отрицанию эстетики, не сумев примирить многообразие личных вкусов с понятием прекрасного, как чего-то самостоятельного, самодовлеющего. Чернышевский и Добролюбов поняли, что прекрасное определяется действительностью, что каждый человек, каждая группа людей имеет свое понимание прекрасного. В своей диссертации Чернышевский доказывал, что понятие о прекрасном зависит от представления о жизни, какой она по его мнению должна быть, а представление о жизни определяется положением человека в обществе. Если Писарев уничтожал эстетику, то Чернышевский и Добролюбов ставили ее на материалистическую основу, но поскольку ни тот, ни другой не смог перенести материализм в область общественных отношений и оба они апеллировали преимущественно к природе человека, они часто в своих этических, эстетических и общественных взглядах сбивались на идеалистические позиции.

Плеханов, исходя из указанной теории Белинского о задачах «истинной эстетики», упрекал Добролюбова в том, что он якобы незаконно признал служебную роль литературы, что он слишком увлекался просветительством. Плеханов не только ошибался, но хотел отнять у Добролюбова лучшую, актуальную позицию его литературно-философских взглядов. Если основной философско-общественный тезис гласил: во всем исходить из действительности, из интересов человека, из его природы, из его положения в обществе и в интересах же человека, всего общества, то вполне закономерно, неизбежно должен был быть выдвинут тезис о служебном положении литературы в обществе. Это положение Плеханов понял слишком ограниченно. Вообще надо заметить, что Плеханов очень часто называет Добролюбова идеалистом, просветителем. Этот суровый приговор следует смягчить. На суждениях Плеханова сказался дух времени. Борясь за марксистское мировоззрение, он делал сильный упор на идеалистические тенденции великого критика, на неуменье мыслить диалектически. Теперь, когда историческая обстановка изменилась, когда у нас, в СССР, марксизм-ленинизм становится достоянием масс, когда идеалисты являются только предметом язвительных насмешек, следует без всяких опасений подчеркнуть с большей настойчивостью те стороны взглядов Добролюбова, которые выдвигают его как величайшего предшественника марксистской мысли в России. Добролюбов, как последователь Фейербаха, воспринял все пороки этой философии, особенно в области социологии, ис-

тории и политики. Он не поднялся до принципов «Манифеста коммунистической партии», с которым он не был знаком, и все же он стоял на вершине мысли своего времени.

Ленин, конспектируя лекции Фейербаха о сущности религии, бросал на полях своей тетради замечания: «очень хорошо», «замечательное место», «глубоко верно», «прелестно сказано», «метко»; он отмечал пункты, когда в философии Фейербаха видел «зачаток исторического материализма», подчеркивал, что «Фейербах ярок», хотя и неглубок.

Работая над Добролюбовым, мы ставили перед собой задачу выдвинуть на первый план именно то, до чего поднялся критик, а вместе с ним и революционная демократия, конечно, не закрывая глаз на его идеалистические ошибки.

Фейербах под конец своей жизни, под влиянием Маркса и в частности «Капитала», стал утверждать, что «мораль» — часть политической экономии. «Где отсутствуют условия для материального благонравия, там отсутствуют также условия и для добродетели, т. е. мораль. Добродетель, как и тело, нуждается в пище, одежде, свете, воздухе». Свои соображения Фейрбах даже подтверждал указаниями на «Капитал». В 1870 г. Фейербах вступил в ряды социал-демократии. Он с горечью признавался, что старость лишает его возможности быть активным в общественном движении, что он вынужден ограничиться выражением симпатии социализму, освобождению рабочего класса от капитализма и «эмансипации женщины». На его могилу немецкая социал-демократия и международная ассоциация рабочих, его друзья, Маркс, Бебель, Либкнехт, Вайян возложили лавровый венок. Учение Фейербаха исторически связано с марксизмом и имело революционный характер.

Ленин считал философию Фейербаха «идеалом передовой буржуазной демократии или революционной буржуазной демократии» [1].

Эта философия и была воспринята русской революционной демократией, идеологами крестьянской революции в период ликвидации крепостного хозяйства. Она более всего отвечала ее классовым задачам, организации ее сил.

По мере развития рабочего движения отдельные представители революционно-социалистической демократии шли в ряды рабочей партии. В эти ряды пришел Фейербах, пришел бы и Добролюбов, если бы он не так рано умер.

---

[1] Ленинский сборник, XII, стр. 111.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

I

Добролюбов прекрасно сознавал, что политический деятель должен иметь ясное представление о том, что такое история, каковы ее движущие силы, что такое революция, реформа и т. д. Всем этим вопросам он уделил не мало внимания; в его статьях рассыпано большое количество рассуждений и замечаний, которые позволяют довольно определенно восстановить общественно-политические взгляды критика. Само собою понятно, что Добролюбов разрешал политические проблемы, исходя из общих философских установок, внося в разрешение общественных вопросов значительную долю идеализма.

В основу понимания исторического процесса Добролюбов положил тезис: «Рассуждая отвлеченно, нельзя не сознаться, что мысль о вечном движении и вечной смене идей в обществе, а, следовательно, и о постоянной необходимости проповедников этих идей — вполне справедлива. Но ведь нужно принять во внимание и то, что общества живут не затем только, чтобы рассуждать и меняться идеями. Идеи и их постепенное развитие только потому и имеют значение, что они, рождаясь из существующих уже фактов, всегда предшествуют изменениям в самой действительности. Известное положение дел создает в обществе потребность, потребность эта сознается, вслед за общим сознанием ее должна явиться фактическая перемена в пользу удовлетворения сознанной всеми потребности. Таким образом, после периода *сознавания* известных идей и стремлений должен являться в обществе период их *осуществления;* за размышлениями и разговорами должно следовать дело»[1]. Вряд ли нужно много говорить об идеалистических ошибках критика; теперь хорошо известно, что определенные исторические, экономические и политические идеи, как и всякие другие идеи, познаются далеко не

[1] Том IV, стр. 368. «Когда же придет настоящий день?»

всегда и не всеми, а только определенным классом, интересам которого эти идеи отвечают; и дело наступает не в силу сознания этих идей всем обществом, а определяется ростом, экономической и политической силой класса, призванного историей эти идеи осуществлять. Каждому из нас понятно, что идеи коммунизма не могут быть достоянием класса капиталистов, и реализовать их будет не вообще общество, а пролетариат через свою революционную диктатуру.

В указанном тезисе нас интересует, однако, не ошибочная сторона, тем более, что в других статьях, когда Добролюбов касался этого вопроса специально и подробно, например, в статье «Р. Оуэн», он разрешал вопрос в противоположном направлении, высмеивая утопические мечты Оуэна переубедить богатых устроить жизнь на новых, справедливых основаниях. Нас занимает то положение, что не идеи определяют общественное развитие, а общественное развитие порождает определенные идеи. Идеи не пропадают в обществе, они производят известное действие; находятся классы, которые их осуществляют, разрешая общественные задачи.

Придавая большое значение образованию, часто переоценивая его, Добролюбов одновременно отмечает, что «не одно скромное учение под руководством опытных наставников, не одна литература, всегда более или менее фразистая, ведет народ к нравственному развитию и к самостоятельным улучшениям материального быта. Есть другой путь жизненных фактов, никогда не пропадающих бесследно, но всегда ведущих событие за событием, неуклонно, неотразимо. Факты жизни не пропускают никого мимо; они действуют и на безграмотного крестьянского парня, и на отупевшего от фехтелей кантониста, как действуют на студента университета. Холод и голод, отсутствие законных гарантий в жизни, нарушение первых начал справедливости в отношении к личности человека всегда действуют несравненно возбудительнее, нежели самые громкие и высокие фразы о праве и чести»[1]. Конечно, критик неправ теоретически, когда объединяет деревенского парня и студента: это разные социальные категории, они занимают разное положение в обществе и имеют разные классовые интересы; кроме того, крестьянство и студенчество сами по себе — не однородные социальные группы. Среди студенчества были и Чернышевский и Катков. Если критик не смог сформулировать материалистическое понимание истории, то он все же глубоко понимал действительное положение дел, когда убеждал общество, что намечаемые реформы 60-х годов диктуются не гуманностью помещиков, проникнувшихся человеколюбивыми

[1] Том VII, стр. 435. «Народное дело».

идеями мыслителей человечества, а объективным положением дела — голодом, холодом, отсутствием первоначальных гражданских свобод и т. п., поскольку все это разрушает благосостояние помещиков. Старое подгнило, крепостное право изжило себя экономически и политически. Будущее рисовалось в переходе к капиталистическому строю; и помещики спорили лишь о том, в какой степени и как осуществить капиталистический буржуазный порядок без особых потрясений, без утраты своего господствующего положения в государстве. Нужно, однако, отметить, что накануне реформы 61 года не только крестьянство в целом стояло за уничтожение крепостного права, но и подавляющая часть студенчества, которое к этому времени включило в себя значительные слои революционно-демократической разночинной интеллигенции. Это и давало повод Добролюбову сближать деревенского безграмотного парня со студентом. Важнее то, что критик разрушал либеральные легенды о гуманности помещиков и царя и доказывал, что сама история в своем развитии пришла к данному этапу и что главным действующим лицом является народ, крестьянство. Помещики и царь предупреждали гнев крестьянства подачкою сверху, — Добролюбов звал крестьянство свергнуть царя и помещиков, звал крестьянство к революции, звал народ, чтобы он сам, по своему пониманию и сообразно со своими интересами, устраивал жизнь.

Добролюбов высоко ценил роль просвещения и пропаганды, но в то же время он и ограничивал эту роль. Он сознавал, что «образованность именно ведет к большей или меньшей ясности сознания и затем к умению формулировать то, что сознается... Но и не формулированное страдание — все-таки страдание. Пусть оно таится, пусть не принимает определенного выражения, это не должно обманывать нас: есть предел, за которым оно может ярко обозначиться, и тогда без всяких книг, без всяких отвлеченных соображений, не говоря никаких фраз, даже не принимая особого имени для себя (т. е. имени революции. — *В. П.),* оно проявится на самом деле. Действительный факт, отозвавшись на практической жизни рабочего человека, породит тоже действительный факт, тогда как книжные теории и предположения образованных людей так и останутся только теоретическими предположениями» [1].

Совершенно очевидно, что движущие силы истории Добролюбов видел не столько в просвещении и пропаганде, сколько в экономических и политических условиях времени. Эти движущие силы критик видел в народе, в крестьянстве, в его голоде, холоде, бесправии, в экономической и политической кабале. Добро-

[1] Том VII, стр. 436. «Народное дело».

любов не раз подчеркивал, что образованность является монопольной принадлежностью господствующих классов — промышленников и фабрикантов. Критик сравнивает просвещение с промышленностью. Как отечественная промышленность занята чуть ли не исключительно выработкой предметов роскоши, так и просвещение, литература, удовлетворяя всякой казуистической любознательности, занимаясь вавилонской письменностью, ничего не дает для блага народа. Известно, что «самые успехи цивилизации нередко обращаются у нас в средство к более искусной эксплоатации народа». Добролюбов прямо заявляет: «Всеми средствами образованности, всеми преимуществами малейших открытий и изобретений владеют неработающие классы общества, которым нет никакой выгоды передавать оружие против себя, тем, чьим трудом они до сих пор пользовались даром. Следовательно, без участия особенных, необыкновенных обстоятельств нечего и ждать безоговорочного распространения образования и здоровых тенденций в массе народа»[1].

Под особенными и необыкновенными обстоятельствами критик разумел революцию, которая, передав власть народу, принесет ему плоды просвещения, как это сделала Великая пролетарская революция 1917 г., поставив перед просвещением задачу обслуживать социалистическое строительство общества, пропитывая его глубже и шире пролетарским мировоззрением, марксизмом-ленинизмом, искореняя принципы, на которых строили просвещение эксплоатирующие классы государства.

Признав, согласно своим философским взглядам, решающим моментом в историческом процессе действительность, а не идею, критик соответствующим образом решает и вопрос о роли личности в истории. В основательнейшем разборе «Истории царствования Петра Великого» Н. Устрялова Добролюбов показал, что «история в своем ходе совершенно независима от произвола частных лиц, что путь ее определяется свойством самих событий, а вовсе не программой, составленною тем или другим историческим деятелем. Напротив, деятельность всех исторических лиц развивается не иначе, как под влиянием обстоятельств, предшествовавших появлению их на историческом поприще и сопровождавших его. Поэтому приписывать замечательным двигателям истории ясное сознание отдельных последствий их действий, или все мелкие и частные их деяния подчинять одной господствующей идее, представителями которой они являются во всей своей жизни, делать это — значит ставить частный произвол выше, чем неизбежная связь и последовательность исторических явлений...» «Как бы человек ни был умен и гениален, он может производить

[1] Том VII, стр. 433. «Народное дело».

свои соображения только на основании данных, имеющихся у него под руками»[1].

Заостряя свою мысль против грубо идеалистического понимания роли личности в истории, Добролюбов, как это с ним бывает, одновременно и сам впадает в идеалистическую ошибку. Боясь превратить великих деятелей истории в мифические, сказочные существа, в древних богатырей, чудесные подвиги которых «уничтожают истинную человеческую сторону их доблести», он приписывает им успех лишь в разрешении *ближайших* целей, видимых для всех, «предоставляя *конечную* цель дальнейшему течению событий». В своей литературной деятельности Добролюбов никогда не отрывал ближайших задач от конечной цели; наоборот, все решения ближайших политических задач всегда рассматривались им в свете конечного идеала, установления «естественных отношений» людей. Подчинение конечной цели «дальнейшему течению событий» вызвано у критика исключительным желанием ярче и сильнее подчеркнуть ограниченную роль исторических деятелей, но он не развил с надлежащей ясностью, что надо понимать под ближайшими задачами, которые на каждом этапе исторического развития в условиях текущей действительности имеют свои особенности. Поскольку разрешение ближайших задач в той или иной степени разрешает и конечную задачу, политический деятель имеет успех. Тут опять начинаются неясности. Добролюбов имеет в виду успех исторических деятелей у народа, а под конечною целью — разрешение задачи «естественных стремлений» народа, но ведь успех имеют и те политические деятели, которые совершенно не хотят знать «естественных стремлений» народа и, наоборот, поддерживают «искусственные стремления» эксплоататоров; их успех, конечно, не у народа.

При дальнейшем изложении общественно-политических взглядов Добролюбова нельзя забывать, что теоретически он вопросов не ставил, а рассуждал практически, пользуясь материалом русской действительности при ликвидации крепостного права. Упор на эту действительность, исключительное оперирование текущим материалом не дали Добролюбову твердой опоры для четкой формулировки своих теоретико-социальных взглядов, свободной от недоговоренностей и даже прямых, очевидных противоречий.

Добролюбову нравилась историческая точка зрения Гизо, поскольку последний умел подходить к историческим событиям материалистически, со своей классовой точки зрения. Восхищаясь тем, что Гизо «возводит факты к идеям, а идеи призывает на окончательный суд и поверку фактами», он считает работу Ги-

---

[1] Том VI, стр. 102.

зо почти совершенно удовлетворительной и упрекает его лишь в том, что он «слишком резко разделяет моральную силу от материальной, как будто она находится где-то отдельно от материи, а не в ней самой». Правильно разрешив вопрос о происхождении идей, Добролюбов не смог показать, как и чем живут эти идеи, какова их роль в общественном развитии, какова их функция и т. д., но он все же ясно сознавал их организационно-пропагандистскую функцию как в области науки, так и в области искусства и литературы. Как противник эстетической критики, как политик, эту функцию литературы он выдвигал всегда на первый план и был глубоко прав. Он только не сумел четко формулировать проблемы и ее решения теоретически. Решение же это, несомненно, лежало в материалистических основах мировоззрения критика.

Рассуждая о Гизо, он соглашается с последним, что иногда «общественные улучшения, которые должны быть результатом известной степени развития народа, появляются в нем тогда, когда он еще не достиг до этой степени развития», «в таком случае само видимое благосостояние общества угрожает непрочностью», поскольку под произведенными историческими актами нет почвы, материальной и нравственной. Гизо выдвигал свои теории исключительно в реакционных целях, сдерживая революционный натиск, доказывая, что в общественной жизни все должно итти постепенно, без скачков, без потрясений, без революций, да и всякие реформы могут производиться только тогда, когда уже есть и осознана соответствующая для них база. Революционные эксперименты не нужны, они вредны, опасны. Добролюбов в какой-то мере опирался на Гизо, конечно, не из этих соображений, а, отстаивая свой материалистический взгляд на историю против славянофилов и всяких идеалистов того времени, оставляя в стороне реакционно-политические задачи Гизо. Он ядовито издевался над г. Жеребцовым, который наивно полагал, что история России, начиная с новгородских славян, управлялась «высокими, непреложными и благотворными идеями». Эти идеи критик сравнивает с негреющим солнцем. Взглядами Гизо Добролюбов оперировал не против революции, не против интересов керстьянства, а против тех идеалистов и мечтателей дворян, которые строили всякие воздушные замки, много говорили и спорили и не могли осуществить даже того, что народ осознал, к чему был готов.

Добролюбов настойчиво подчеркивал, что до сих пор история писалась как история царей, писалась «преимущественно в смысле внешне-государственной» жизни; необходимо, чтобы история была историей народа, его движений, его борьбы за свои права. Жизнь отдельных исторических деятелей может быть понята и оценена только в связи с историей народа. Иначе будет не исто-

рия, а собрание случайных, разрозненных фактов, хотя бы и интересных и освещенных какой-либо идеей. В истории же народа развернется борьба эксплоатируемых и эксплоататоров, угнетенных и поработителей, борьба «естественных» и «искусственных» стремлений. При разборе книги Н. Устрялова критик на основе целого ряда фактов заключает, что «государственная точка зрения не всегда бывает совершенно верна к фактам народной жизни и потому должна уступить им первое место». Классы, стоящие во главе государства, и их идеологи рассматривают народную жизнь и народные интересы со своих точек зрения, не считаясь с самим народом, искажая его действительное положение и его действительные стремления.

Поскольку Добролюбов понимал, что «холод и голод» двигают историю, поднимают на борьбу «низший класс народа», основу общества, поскольку он сознавал, что от народа все зависит, что необходимо «действовать на него, раскрывать ему глаза на настоящее положение дел, возбуждать в нем спящие от века богатырским сном силы души, внушать ему понятия о достоинствах человека, об истинном добре и зле, о естественных правах и обязанностях», — постольку он вполне верно определял социальную функцию идеи — не как исторического вершителя судеб истории, а как лишь пособника, пропагандиста.

Теоретические соображения Добролюбов подкрепляет рассуждением: «Мы не можем не вспомнить здесь одного условия, соблюдение которого необходимо для истории, имеющей притязание на серьезное научное значение. Это — идея об отношении исторических событий к характеру, положению и степени развития народа. Всякое историческое изложение, не одушевленное этой идеей, будет сбором случайных фактов, может быть, и связанных между собою, но оторванных от всего окружающего, от всего прошедшего и будущего. Таким образом, история самая живая и красноречивая будет все-таки не более, как прекрасно сгруппированным материалом, если в основание ее не будет положена мысль об участии в событиях самого народа. Участие это может быть деятельное или страдательное, положительное или отрицательное, — но во всяком случае оно не должно быть забыто историей. На него историк должен обращать главным образом свое внимание не только в общей истории, служащей изображением судьбы царств и народов, но и в истории частных исторических деятелей, как бы ни казались они выше своего века и народа. Без сомнения, великие исторические преобразователи имеют большое влияние на развитие и ход исторических событий в свое время и в своем народе; но не нужно забывать, что, прежде чем начнется их влияние, сами они находятся под влия-

нием понятий и нравов того времени и того общества, на которое потом они начинают действовать силою своего гения» [1].

Если Гизо писал свою историю Франции, защищая интересы буржуазии, если Устрялов излагал русскую историю как историю царей с точки зрения славянофильствующего помещика, то Добролюбов, как демократ-революционер, движущей силой истории считал народ, крестьянство. С точки зрения этого класса он только и считал возможным рассматривать русскую историю. Крестьянство — это самый низший, самый угнетенный класс. Критик хотел видеть в истории страдание этого класса, его борьбу за свое освобождение, картину того, что сделали для народа правящие классы, говорившие о народном благе. Добролюбов уверен, что «в общем ходе истории самое большое участие приходится на долю народа и только весьма малая доля остается для отдельных личностей». Он убежден, что когда все это будет осознано, «тотчас исторические сведения о явлениях внутренней жизни народа будут иметь гораздо более цены для исследователей и, может быть, изменят многое из доселе господствовавших теорий».

Отнимая у личности решающую роль в историческом процессе, Добролюбов все же отвел ей важную роль. Не признавая за историческими деятелями роли вершителей судеб царств и народов, критик одновременно борется против тех образованных людей, которые впали в другую крайность — «в уничтожение вообще личностей. Важно общее течение дел, говорят они, важно развитие народа и человечества, а не развитие отдельных личностей. Если личность занималась какой-нибудь специальностью и сделала открытия, то об этих открытиях можно еще говорить, потому что они способствуют общему ходу развития человечества. Но личность сама по себе не имеет никакого значения, и мы не должны обращать на нее внимания. Такое рассуждение показывает, по нашему мнению, только неуменье обращаться с общими философскими положениями, когда дело коснется применения их к частным случаям. Конечно, ход развития человечества не изменяется от личностей. В истории прогресса целого человечества не имеют особенного значения не только Станкевичи, но и Белинские, и не только Белинские, но и Байроны и Гете; не будь их, то, что сделано ими, сделали бы другие. Не потому известное направление является в известную эпоху, что такой-то гений принес его откуда-то с другой планеты, а потому гений выражает известное направление, что элементы его уже выработались в обществе и только выразились и осуществились в одной личности более, чем в других. Следовательно, в сфере

[1] Том VI, стр. 12 «Первые годы царствования Петра Великого».

отвлеченной мысли можно сколько угодно уничтожать личности, имея дело только с идеями. Но не столь справедливо будет в частных случаях, в применениях к действительной жизни, говорить, что такая-то и такая-то личность не заслуживает уважения, потому что через 25 лет о ней останется одно воспоминание, а через 250 и того не будет. Подобное смешение общих теоретических положений с точки зрения действительности может повести к весьма забавным практическим последствиям» [1].

Исходя из этих общетеоретических положений, Добролюбов оценивает личность Петра Великого. Прежде всего он указывает, что как бы гениален ни был Петр, все же нельзя забывать, что он вышел из того самого общества, которое он потом начал преобразовывать. «Мысль преобразования, приведенная им в исполнение, была, следовательно, доступна этому обществу и могла проявиться в различных его членах, хотя не в такой степени развития, как в пылкой, энергичной натуре Петра». Переворот, произведенный им, «был быстр, но не был насильственен». Борьба между старым и новым в жизни была видна уже в царствование Алексея Михайловича; с каждым годом она становилась очевиднее и ощутительнее. Петр лучше и вернее, острее других понял непригодность старой системы управления, учел новые народившиеся в государстве потребности, нашел путь и методы, которыми разрешались новые задачи, и «решительно ступил на новую дорогу», причем путь и методы были указаны самой же жизнью. Добролюбов рассуждал: «Петр разрешил вопросы, давно уже заданные правительству самой жизнью народной, — вот его значение, вот его заслуги. Напрасно приверженцы старой Руси утверждают, что то, что внесено в нашу жизнь Петром, было совершенно не сообразно с ходом исторического развития русского народа и противно народным интересам. Обширные преобразования, противные народному характеру и естественному ходу развития истории, если и удаются на первый раз, то не бывают прочны. Преобразования же Петра давно уже у нас сделались достоянием народной жизни, и это одно уже должно заставить нас смотреть на Петра как на великого исторического деятеля, понявшего и осуществившего действительные потребности своего времени и народа, а не как на какой-то внезапный скачок в нашей истории, ничем не связанный с предыдущим развитием народа» [2]. Критик указывает далее, что Петр своими реформами предотвратил революцию, элементы которой выявились в народных волнениях при Алексее Михайловиче и в стрелецких бунтах. Выясняя причины, породившие реформы Петра, Добролюбов, конеч-

[1] Том III, стр. 155. «Н. В. Станкевич».
[2] Том VI, стр. 30. «Первые годы царствования Петра Великого».

но, не мог говорить о производительных силах страны, о базисе и надстройках; он говорил сразу обо всем — и об экономике, и о суде, и о воинских делах, и о быте, и о характере Алексея Михайловича и Петра, и о многих других вещах. Он даже был склонен видеть задержку в проведении наметившихся реформ в мягком характере царя Алексея, но все это не может уничтожить положительной стороны взглядов критика на роль личности в истории.

Ошибочной мыслью считает Добролюбов указание на то, что Софья была единственной виновницей стрелецкого бунта. Софья этот бунт выявила, сорганизовала, направила, но подготовлен он длинным рядом жизненных обстоятельств, которые свидетельствовали, что «начала управления древней Руси оказались вовсе несостоятельными в деле народного благосостояния». Словом, «Петр был сильным двигателем, направление же движения не от него... оно задавалось, как всегда и везде, ходом истории». И, наконец, критик, перечисляя реформы и нововведения Петра, отмечает, что «есть пределы человеческому могуществу. Петр мог привести в движение те силы своего народа, которые готовы были двинуться, но он не мог вызвать ранее срока тех сил, которые еще были так слабы, что не способны были к движению» [1]. Петр собирал жатву, оставленную предшественниками, но «по своему произволу заставить расти зерно» он не мог.

Не так давно наше литературоведение, упрощая марксизм, совершенно отрицало значение биографии. Изучение биографии для литературоведа считалось делом пустым, посторонним, ненужным, даже вредным, уводящим в сторону от марксизма. Мы никогда не держались подобных взглядов, всегда считали их глубоко ошибочными, определенно не марксистскими, поскольку хорошо знали, что историю делают люди. Марксизм не может мириться с биографическим методом исследования, этот метод отвергнут, изжит даже буржуазно-социологической школой, но мы за знакомство с биографией исследуемого автора, за изучение ее мы всегда стояли горячо, так как в биографических данных находили не мало фактов, помогающих разобраться в творчестве писателя, хотя и не определяющих его в основном направлении. По этому вопросу Добролюбов высказал вполне здравые, ценные и поучительные мысли. Он писал, что при оценке роли личности в истории «биографический интерес не лишен был бы и общеисторического характера, показывая степень развития и направление стремлений того общества, которое произвело необыкновенную натуру преобразователя. Разумеется, в историческом отношении не важны сами по себе мелочи домашней жизни

[1] Том III, стр. 181, «Первые годы царствования Петра Великого».

государственного человека; но в иных случаях эти мелочи являются нам, как ближайшие поводы важных событий исторических, т. е., по общественной поговорке, как «малые причины великих событий».

Философско-историческая концепция Добролюбова не была голой отвлеченной формулой. Упрекая людей 40-х годов в схематизме, абстрактности, критик выделил среди них небольшую кучку людей, пять-шесть человек во главе с Белинским, которые сумели «довести в себе отвлеченный философский принцип до реальной жизненности и истинной, глубокой страстности». В 60-х годах такими людьми были Чернышевский и Добролюбов. Добролюбов отверг теорию «безусловной и регулярной преемственности поколений»; он расчистил себе дорогу, избавляясь от зависимости прошлого. Он понимал, что у «молодого поколения» совершенно другая роль, чем у «поколения старшего». Отказываясь от «всех туманных абстракций и призраков прошедших поколений», критик видел в мире «только *человека,* настоящего человека, состоящего из плоти и крови, с его действительными, а не фантастическими отношениями ко всему внешнему миру». Он шел за Фейербахом.

«Молодое поколение» охватило «сознание своего кровного, живого родства с человечеством, полное разумение солидарности всех человеческих отношений между собою». «Вот те внутренние возбудители, которые занимают у них мир принципа. Их последняя цель — не совершенная, рабская верность отвлеченным высшим идеям, а принесение возможно большей пользы человечеству». Переходя к конкретным задачам, стоявшим перед революционной демократией, Добролюбов указывал, что, «признавая неизменные законы исторического развития, люди нынешнего поколения не возлагают на себя несбыточных надежд, не думают, что они могут по произволу переделывать историю, не считают себя избавленными от влияния обстоятельств. Таким образом ясное сознание своего положения не допускает их входить в азарт и убиваться из-за пустяков. Но в то же время они вовсе не впадают в апатию и бесчувственность, потому что сознают и свое значение. Они смотрят на себя как на одно из колес машины, как на одно из обстоятельств, управляющих ходом мировых событий. Так как все мировые обстоятельства находятся в связи и некотором взаимном подчинении, то они подчиняются необходимости, силе вещей; но вне этого подчинения они никаким кумирам не поклонятся, они отстаивают самостоятельность и полноправность своих действий против всех случайно возникающих претензий. Предоставляя другим кричать, гневаться, плакать и прыгать, они делают свое дело ровно и спокойно, плачут и прыгают, когда приводит к этому сила событий, но не делают

ни одного лишнего движения по своему капризу, а если и делают что лишнее, то не гордятся этим, а прямо сознаются, что сделали лишнее... Они также добьются своего шаха и мата, но их образ действий вернее, хотя вначале игра не представляет ничего блестящего и поразительного»[1].

Эти свои рассуждения Добролюбов обозвал аллегорией, от которой неизвестно как добраться до действительности. Современному читателю совершенно очевидно, что, противопоставляя молодое и старое поколение, критик противопоставлял либеральное дворянство и революционную демократию, противопоставлял идеалистическое понимание истории, преимущественно гегельянское, и свое фейербаховское, намечал пределы революционных возможностей демократии, определял ее роль и тактику. Он убежден, что с такой идеологической установкой конкретная деятельность революционной демократии будет увереннее, упорнее, последовательнее, плодотворнее. Подобные мысли Добролюбов развивал в статье о Щедрине. Эти же мысли легли в основу всей литературно-критической деятельности Добролюбова.

Из его статей видно, что революционная демократия со своим материалистическим мировоззрением, ставя себе в зависимость от конкретных условий общественной жизни, шла к разрушению самодержавно-крепостнического государства путем наиболее верным для своего времени; через капитализм и буржуазно-демократическую форму правления она шла к конечной цели, к полному удовлетворению «естественных стремлений» народа, к социализму, шла через революционные потрясения.

Итак, «история в своем ходе совершенно независима от произвола частных лиц; путь ее определяется свойством самих событий, а вовсе не программою, составленною тем или другим историческим деятелем».

II

В понимании исторического процесса Добролюбов возвышается до понимания классовой борьбы. Конечно, эту классовую борьбу критик не понимал так отчетливо, как она изложена Марксом и Энгельсом, но когда он начинает разбирать конкретные вопросы общественного движения, он поднимается на такую высоту сознания классовой борьбы, которая недоступна иным даже в наши дни. Добролюбов указывал, что основным фактором истории являются народные страдания, что они поднимают народные массы на непримиримую борьбу. Придавая большое значение просвещению, критик одновременно подчеркивал, что «с развитием

[1] Том VII, стр. 267. «Литературные мелочи прошлого года».

просвещения в эксплоатирующих классах меняется только форма эксплоатации и делается более ловкою и утонченною, но сущность все-таки остается та же, пока остается попрежнему возможность эксплоатации». Останавливаясь на положении рабочего класса в Англии, критик объясняет его тяжелое материальное и правовое положение наличием «принципа эксплоатации, служащего там основанием почти всех общественных отношений». Он задает вопрос: «Где и когда существенные улучшения народного быта делались просто вследствие убеждения умных людей, не вынужденные практическими требованиями народа?» — и дает отрицательный ответ.

В своих рассуждениях Добролюбов часто употребляет понятия: класс, сословие, народ. Ясного содержания эти понятия у него, однако, не имеют, да он и не пытался раскрыть и обосновать их, поэтому его глубокая мысль об историческом процессе не получила надлежаще точной формулировки. Он писал, что история есть борьба аристократии с демократией, дармоедов и представителей труда, что прежде всего заслуживают внимания «с одной стороны, права рабочих классов, а с другой,— дармоедство во всех его видах». Не имея теоретически определенного представления о классах, критик ясно видел в истории две борющиеся силы: эксплоатируемых и эксплоататоров. Эти группы в различные эпохи истории состоят из различных слоев общества.

Когда Добролюбов обращается к конкретной истории Европы, он дает изумительно проникновенную и яркую картину того, что история есть борьба классов между собою и всех классов против рабочего класса. Он так и заявляет: «Так называемое *общественное* мнение в Европе далеко не есть в самом деле общественное убеждение всей нации, а есть, обыкновенно (за исключением весьма редких случаев), мнение известной части общества, известного сословия или даже кружка, иногда довольно многочисленного, но всегда более или менее своекорыстного. Оттого-то оно и имеет так мало значения: с одной стороны, оно и не принимает слишком близко к сердцу те действия, даже самые произвольные и несправедливые, которые касаются низших классов народа, еще бесправных и безгласных; а с другой стороны, и сам произвол не слишком смущается неблагоприятным мнением тех, которые сами питают наклонности к эксплоатации массы народной и, следовательно, имеют свой интерес в ее бесправности и негласности. Если рассмотреть дело ближе, то и окажется, что между грубым произволом и просвещенным капиталом, несмотря на их видимый разлад, существует тайный невыговоренный союз, вследствие которого они и делают друг другу разные деликатные и трогательные уступки, и щадят друг друга, и прощают мелкие оскорбления, имея в виду одно: общими силами противостоять

рабочим классам, чтобы те не вздумали потребовать своих прав... Самая борьба городов с феодализмом была горяча и решительна только до тех пор, пока не начала обозначаться перед той и другой стороною разница между буржуазией и работником. Как только это различие было понято, обе враждующие стороны стали сдерживать свои порывы и даже делать попытки к сближению, как бы в виду нового, общего врага. Это повторялось при всех переворотах, постигших Западную Европу, и, без сомнения, это обстоятельство было очень благоприятно для остатков феодализма, как для партии уже ослабевающей. Но для *мещан* эта робость, сдержанность и уступчивость была вовсе не выгодна: вместо того, чтобы окончательно победить слабевшую партию и истребить самый принцип, ее поддерживавший, они дали ей усилиться, из малодушного опасения, что придется поделиться своими правами с остальною массою народа. Вследствие таких своекорыстных ошибок, остатки феодализма и принципы его — произвол, насилие, грабеж — до сих пор еще не совсем искоренены в Западной Европе и часто высказываются то здесь, то там, в самых разнообразных, даже цивилизованных формах» [1].

По существу основная линия развития Западной Европы дана верно и ярко. Все свидетельствует, что критик проникал в тайны классовой борьбы. Особенного внимания заслуживает мимоходом брошенная, неразвитая, очевидно, в силу цензурных условий, но подчеркнутая мысль о том, как во всех западно-европейских революциях эксплоатирующие классы объединялись против рабочего класса, когда он начинал нарушать их интересы. Эта мысль сильно отразилась как на всей общественно-политической стороне мировоззрения Добролюбова, так и на его практической деятельности. Он считал, что настоящую революцию может произвести только сам народ, своими собственными силами. В своей борьбе он не должен рассчитывать на поддержку других классов. Отсюда его крайне резкое отрицательное отношение к русскому либерализму.

Необычайно яркую картину дает Добролюбов, раскрывая основу борьбы аристократии с буржуазией в Англии в период промышленного переворота. На одной стороне — помещики, феодалы, «поземельная собственность и родовые привилегии», на другой — буржуазия, «капитал и индустриальные стремления». Характерно, что критик не дает названия классов, партий, а указывает их экономическую основу. Все это говорит, что критик глубоко материалистически понимал сущность классовой борьбы, роль производительных сил в столкновении классов, сил, которые направляют и решают в конечном счете исход классовой

---

[1] Том VII, стр. 642. «От Москвы до Лейпцига».

борьбы. Во время промышленного переворота английская земельная аристократия страшилась, как бы внутри Англии не возобладали принципы французской революции 1789 года; она боялась, как бы идеи якобинства не проникли в массы народа, как бы народ не предъявил своих прав и не разделался бы с земельной аристократией. Опасаясь революционного народа, земельная аристократия незаметно для себя допустила, что сильно возросло значение промышленности, значение капиталистов, — настолько сильно, что «сделалось заметным преобладание индустриальных интересов перед земледельческими, сельское население переходило в города, огромные массы бедного народа группировались в промышленных центрах, значение поземельной аристократии падало и коттонлорды, владельцы больших хлопчатобумажных фабрик, сделались, наконец, опасными соперниками лендлордов, поземельных владельцев. Не вдруг поняли лендлорды весь смысл и последствия для них индустриального развития страны в ущерб благосостоянию низших классов. Их все еще ослеплял и стращал кровавый призрак французской революции. Наконец, реставрация их успокоила;они увидели, что народа бояться нечего, и вздумали действовать против буржуазии»[1]. Аристократия через своих государственных людей задумались над тем, как бы, давши народу право на кусок хлеба, дисциплинировать его, сделать его своим послушным орудием. Она начала вносить ряд реакционных законопроектов.

Подводя итоги этой борьбе, сознавая революционную роль буржуазии, поскольку она преодолевала феодализм, Добролюбов одновременно видел и реакционную сущность буржуазии, когда она, придя к власти, укрепив свое экономическое и политическое господство, пошла против рабочего класса. «Делались улучшения в пользу то одной, то другой части общества: но часто эти улучшения отражались весьма невыгодно на состоянии нескольких других частей. Эти, в свою очередь, искали улучшений для себя, и опять *на счет* кого-нибудь другого. Расширяясь мало-по-малу, круг, захваченный благодеяниями прогресса, задел, наконец, в Западной Европе и окраину народа, мещан». «Лишь только мещане почуяли на себе благодать прогресса, они постарались прибрать ее к рукам и не пускать дальше в народ. И до сих пор массе рабочего сословия во всех странах Европы приходится поплачиваться, например, за прогрессы фабричного производства, столь приятные для *мещан*. Стало быть, теперь вся история только в том, что актеры переменились, а пьеса разыгрывается все та же. Прежде городские общины боролись с феодалами, старались получить свою долю в благах, которые человечество, в своем про-

[1] Том VII, стр. 345. «Роберт Оуэн».

грессивном движении, завоевывает у природы. Города отчасти успели в этом стремлении, но только отчасти, потому что в правах, им наконец, уступленных, только очень ничтожная доля взята была действительно от феодалов; значительную же часть этих прав приобрели мещане от народа, который и без того уже был очень скуден. И вышло то, что прежде феодалы налегали на мещан и на поселян; теперь же мещане освободились и сами стали налегать на поселян, не освободивши их и от феодалов. И вышло то, что рабочий народ остался под двумя гнетами: и старого феодализма, еще живущего в разных формах и под разными именами во всей Западной Европе, и мещанского сословия, захватившего, в свои руки всю промышленную область»[1]. Таков для «рабочего народа» печальный исход борьбы аристократии с буржуазией.

Но на этом классовая борьба, движение истории не останавливается. На сцену выступает рабочий класс, в нем «накипает новое неудовольствие, глухо готовится новая борьба, в которой могут повториться все явления прежней», т. е. эта борьба развернется как борьба революционная, в корне переворачивающая основы, на которых держится современное общество, т. е. революции уничтожит частную собственность на землю и фабрики и создаст общественный порядок в интересах полного удовлетворения «естественных стремлений» народа. И в этой борьбе «ни гласность, ни образованность» не спасут имущих классов.

Добролюбов настолько убежден в неизбежности новой классовой борьбы, что даже не считает нужным «выискивать доказательства». Он уверен, что рабочий класс не успокоится на том, что его «не будут бить, грабить, морить с голоду и т. п.», что он не признает «прочными и существенными те уступки, какие ему делаются хозяевами и вообще капиталистами, лордами, баронами и т. д.». Добролюбов понимает, что «милостыней не устраивается быт человека; тем, что дано из милости, не определяются ни гражданские права, ни материальное положение. Если капиталисты и лорды и сделают уступку работникам и фермерам, так или такую, которая им самим ничего не стоит, или такую, которая им даже выгодна... Но как скоро от прав работника и фермера страдают выгоды этих почтенных господ, все права ставятся ни во что, и будут ставиться до тех пор, пока сила и власть общественная будут в их руках... И пролетарий понимает свое положение гораздо лучше, нежели многие прекраснодушные ученые, надеющиеся на великодушие старших братьев в отношении к меньшим... Пройдет еще несколько времени, и меньшие братья поймут его еще лучше. Горький опыт научает понимать многие

---

[1] Том VII, стр. 631. «От Москвы до Лейпцига».

практические истины, как бы ни был человек идеален»[1]. Разрешить рабочий вопрос капиталист не может.

Ранее мы видели, как глубоко Добролюбов понял сущность реформ Петра Великого. Теперь мы видим, как верно он понял ход развития Европы. Он указал на неизбежность революции рабочего класса. Добролюбов обнаружил в своих политических суждениях не только глубину материалистического взгляда на историю, но и умение подходить к общественным явлениям диалектически. И в этом свете меркнут неточности, недоговоренности, неясности и ошибки его идеалистических формулировок.

Добролюбов звал рабочий класс к революции, звал взять власть в свои руки,— только тогда можно говорить об удовлетворении «естественных стремлений». Он высказывал искреннее желание, чтобы «Европа без всяких жертв и потрясений шла теперь неуклонно и быстро к своему идеальному совершенству», но он «не смеет надеяться, чтобы это совершилось так легко и весело». Наоборот, он предвидит, что грядущая классовая борьба будет ожесточеннее, поскольку рабочему классу будут противостоять все другие классы, боясь утерять свою экономическую и политическую власть.

Это уже не общие идеалистические рассуждения, «чтоб всем жилось хорошо», а конкретная историческая перспектива на много лет вперед, перспектива яркая, верная, манящая. Все надежды Добролюбова обращены в будущее, все надежды — на социальную революцию, на жестокую беспощадную борьбу рабочего класса с капиталистами и остатками феодализма.

Постоянную тенденцию истории Добролюбов видит «в уничтожении дармоедов и возвеличении труда». По степени большего или меньшего уважения к труду критик устанавливает степень цивилизации общества. Одновременно Добролюбов отмечает, что в сознании народа «нет аристократов и демократов, нет бояр и смердов, браминов и парий, а есть только люди трудящиеся и дармоеды». Дармоеды сгинут, трудящиеся будут торжествовать. Царство капитала будет покорено и разрушено трудом. Разбирая сочинения Саллюстия и Ю. Цезаря, критик с удовольствием выписывает цитаты, подтверждающие мысль, что «аристократия никуда не годится», что «Римской империи суждено было пасть с падением доблести народной». Он раскрывает, как в буржуазном обществе «дармоедство теперь прячется, правда, под покровом капитала и разных коммерческих предприятий, но тем не менее оно существует везде, эксплоатируя и придавляя бедных тружеников, которых труд не оценивается с достаточной справедливостью». Капиталистическую эксплоатацию До-

[1] Том VII, стр. 633. «От Москвы до Лейпцига».

бролюбов клеймит как «грабеж». Он видит, что знаменем братства, равенства и свободы прикрылись грабители народа, его эксплоататоры. Он сожалеет, что народ еще не настолько просвещен, чтобы все это разглядеть. Своей задачей критик и ставит разъяснить трудящимся массам, что новый общественный строй, капиталистический строй, — тот же подлый грабеж, что и существовал на протяжении всех предыдущих веков, только прикрытый лживо гуманистическими теориями и словами.

Призывая к разрушению буржуазного строя, к возвеличению труда, к социальной революции, Добролюбов предостерегал: «Пока вы будете связаны с обществом теми же отношениями и интересами, как теперь, до тех пор невозможно приобрести полного простора для ваших честных, правдивых стремлений; вы необходимо должны будете продолжать свои уступки в пользу существующего и укоренившегося зла». В этой эзоповской фразе под «злом» критик разумеет существующий общественный строй, под честными стремлениями — «естественные стремления» народных масс, стремления к социалистическому обществу. Тут прикрыта глубокая мысль, что социалистическая революция может быть совершена только тем классом, который в самой основе отрицает существующий социально-экономический строй. Пролетарий — раб капиталистического общества, никакими общими интересами с ним не связан, только он может этот строй разрушить, чтобы выйти к новой жизни. Все другие классы так или иначе заинтересованы в сохранении капитализма, — они не могут порвать с принципом собственности, они не могут принять социальной революции. Они могут чинить существующий строй, проводить частные улучшения жизни рабочего класса, но освободить его от капиталистической кабалы они не в состоянии. Эта мысль, высказанная Добролюбовым, в иных социальных условиях была сформулирована Плехановым как лозунг: «Революционное движение в России победит как движение рабочих, или не победит вовсе». Окончательное завершение этот призыв получил в учении Ленина о диктатуре пролетариата, о перерастании буржуазной революции в социалистическую.

Итак, Добролюбов видел, что историю движет классовая борьба. Класс эксплоататоров он называл дармоедами, эксплоатируемых, угнетенных — народной массой. В различные исторические эпохи эти две основные группы вбирают в себя различные общественные слои. На исторических примерах он показал, как развертывалась и к чему привела борьба промышленников с феодалами, и указал, что борьба не закончена и будет закончена только с победой рабочего класса. «Борьба аристократии с демократией составляет все содержание истории», писал критик, варьируя свою мысль. Так рисовался Добролюбову путь истории,

так он представлял классовую борьбу. Повторяем, тут не мало следов идеалистических, просветительских взглядов, нет четкого представления о классе, но в общем исторический процесс понят правильно, несмотря на то, что перед Россией стоял еще вопрос об уничтожении крепостного права, а о капиталистическом развитии ее шли еще горячие споры.

III

Свой общественно-политический идеал Добролюбов выразил в формуле: «чтобы всем было хорошо». Он рассуждал: «Человек родился, значит должен жить, значит имеет право на существование; это естественное право должно иметь и естественные условия для своего поддержания, т. е. средства жизни. А так как эта потребность средств есть потребность общая, то и удовлетворение ее должно быть одинаково общее для всех, без подразделений, что вот, дескать, такие-то имеют право, а такие-то нет. Отрицать чье-нибудь право в этом случае значит отрицать самое право на жизнь. А если так, то в пределах естественных условий решительно каждый человек должен быть полным, самостоятельным человеком и, вступая в сложные комбинации общественных отношений, вносить туда вполне свою личность, и, принимаясь за соответственную работу, хотя бы и самую ничтожную, тем не менее никак не скрадывать, не уничтожать и не заглушать свои прямые человеческие права и требования» [1]. Добролюбову кажется все это до очевидности простым и ясным.

Всматриваясь в общественные отношения, он находит, однако, совершенно другие отношения людей, «искусственные», поскольку «естественные» отношения заменяются отношениями господства и эксплоатации. Критик ищет корни «искусственных» человеческих отношений. «Естественные стремления человечества, приведенные к самому простому знаменателю, могут быть выражены в двух словах: «чтобы всем было хорошо». Понятно, что, стремясь к этой цели, люди, по самой сущности дела, сначала должны были от нее удалиться: каждый хотел, чтобы ему было хорошо, и, утверждая свое благо, мешал другим; устроиться же так, чтобы один другому не мешал, еще не умели...» «Более ловкие продолжали отыскивать свое благо, другие сидели, принимались за то, за что не следовало, проигрывали; общий праздник жизни нарушался с самого начала; многим стало не до веселья; многие пришли к убеждению, что к веселью только те и призваны, кто ловко танцует. А ловкие танцоры, устроившие свое благосостояние, продолжали следовать естественному влечению и за-

[1] Том V, стр. 161. «Забитые люди».

бирали себе все больше средств для веселья. Наконец они теряли меру; остальным становилось от них очень тесно, и они вскакивали с своих мест и подпрыгивали — уже не за тем, чтобы танцовать хотели, а просто потому, что им даже сидеть-то стало неловко. А между тем в этом движении оказалось, что и между ними есть люди, не лишенные некоторой легкости,— и те пробовали вступить в круг веселящихся. Но привилегированные первоначальные танцоры смотрели на них уже очень неприязненно, как на непризнанных, и не пускали их в круг. Начиналась борьба, разнообразная, долгая, большею частью неблагоприятная для новичков: их осмеивали, отталкивали, их осуждали платить издержки праздника, у них отнимали их дам, а у дам кавалеров, их совсем прогоняли с праздника. Но чем хуже становится людям, тем они сильнее чувствуют нужду, чтобы было хорошо. Лишениями не остановишь требований, а только раздражишь; только принятие пищи может утолить голод. До сих пор, поэтому, борьба не кончена; естественные стремления, то как будто заглушаясь, то появляясь сильнее, все ищут своего удовлетворения. В этом состоит сущность истории...» «С искажением этих стремлений в массе совпадает водворение многих нелепых понятий о мире и человеке; эти понятия в свою очередь мешали общему благу» [1]. Аллегорическая картина ясна. Нашлись, однако, люди, которые сумели услышать естественные стремления человека. Они понесли в общество здравые понятия о естественных стремлениях и начали помогать преодолевать существующее зло. Среди этих людей были философы, социологи, представители литературы и искусства, а также инженеры, врачи, агрономы и т. д.

Итак, человеку нужно счастье, на него он имеет право, к нему он стремится, его добивается, прибегая к самой отчаянной борьбе. Но это счастье «возможно только при удовлетворении первых материальных потребностей человека». В современном обществе достигнуть этого невозможно. Человек, который вздумал бы установить «естественные отношения, должен был бы разрушить существующий порядок; он не был бы терпим в обществе, его считали бы опасным, вредным вольнодумцем, от него постарались бы так или иначе, но как можно скорее избавиться. Что же нужно делать в таких обстоятельствах?» Добролюбов дает решительный революционный ответ: «Если настоящие общественные отношения не согласны с требованиями высшей справедливости и не удовлетворяют стремлениям к счастью, сознаваемым вами, то, кажется, ясно, что требуется коренное изменение этих отношений. Сомнения тут никакого не может быть. Вы должны быть выше этого общества, признать его явлением ненор-

[1] Том IV, стр. 276. «Луч света в темном царстве».

мальным, болезненным, уродливым, и не подражать ему, а, напротив, громко и прямо говорить о нем, проповедывать необходимость радикального лечения, серьезной операции» [1].

Добролюбов доказывает, что деспотизм и рабство, поскольку они противны природе человека, не могут существовать вечно. Несмотря на различные теории, оправдывающие ненормальное общественное положение, «естественные стремления» возьмут верх. «Отсюда постоянно напряженное, неспокойное, недовольное положение масс, даже безропотно, повидимому, подчинившихся наложенному на них рабству. В истории всех обществ, где существовало рабство, вы видите род спиральной пружинки: пока она придавлена, — держится неподвижно, но чуть давление ослаблено или снято,— она немедленно выскакивает кверху. По прямому закону ее устройства она естественно стремится к расширению, и только посторонняя сила может ее сдерживать. Так и людская воля и мысль могут сдерживаться в положении рабства посторонними силами; но как бы эти силы ни были громадны, они не в состоянии, не сломавши, не уничтоживши спиральной пружинки, отнять у нее способность к расширению, точно так же как не в состоянии, не истребивши народа, уничтожить в нем наклонность к самостоятельной деятельности и свободному рассуждению».

Указывая на исторические труды о революционных событиях в Европе, Добролюбов отмечает, что в них раскрывается «внутренний смысл истории народов», что из этих трудов видно, как народ беспрерывно, с большей или меньшей сознательностью, стремится восстановить естественные права на «нравственную и материальную независимость от чужого произвола».

Но что нужно для того, чтобы найти «радикальное лечение», чтобы произвести «серьезную операцию»? Как подготовить народную революцию? «Чтобы понять общее благо, нужно много основательных и твердых знаний об отношении человека к обществу и ко всему внешнему миру; чтобы полюбить общее благо, нужно воспитывать в себе эти здоровые понятия, довести их до степени сердечных глубочайших убеждений, слить их с собственным существом своим. Но и этого еще мало отдельному человеку для того, чтобы по идее любви к общему благу расположить свою деятельность. Тут уже силы одного человека ничтожны: нужно, чтобы большинство общества прониклось теми же стремлениями, достигло такой же степени развития», как и само общество, писал критик, возражая г. Жеребцову. Это место дает много поводов говорить об идеалистических установках Добролюбова, о его просветительстве, на чем осо-

[1] Том VII, стр. 416. «Новый кодекс русской практической мудрости».

бенно сильно настаивает Плеханов. Действительно, тут нет рассуждений об экономической структуре общества, о классах и классовой борьбе; тут делается упор на сознание человека и большей части общества. Но ведь эту цитату нельзя брать изолированно от других высказываний критика. Добролюбов много не договорил и не мог договорить, многое сказал туманно, и не мог сказать яснее в условиях тогдашней действительности. Действительный же смысл этой цитаты тот, что прежде, чем делать революцию, надо твердо знать общественные отношения. Мы эти отношения уразумели в свете гениальной мысли Маркса, его сочинения изучались нами на свободе, в тюрьме, в ссылке и на каторге. Чем больше мы постигали их смысл, тем лучше осознавали классовую борьбу и человеческие отношения, тем больше чувствовали в себе сил и способностей организовать революцию. Заботились мы и о том, чтобы любовь к революции не была у нас чем-то случайным, каким-то нравственным долгом, принуждением, а чтобы она сливалась органически «с собственным существом», чтобы человек вне этой сущности не находил удовлетворения в жизни и стремился к революции, как он стремится пить, есть, дышать; чтобы без революции он не мог жить, как люди не могут жить без воздуха. Такие люди крепки, они ни при каких обстоятельствах не могут уйти от революции. Только смерть, виселица прерывают эту органическую потребность в революции. Умирая, человек жадно глотает воздух; стоя у виселицы или под расстрелом, действительный революционер умирает с мыслью о революции своего класса. Наконец, мы всегда говорили, что победит не один человек, а класс. С этой целью мы вели пропаганду в рабочем классе и его организовали. Свою пропаганду и организацию рабочего класса и революции мы, большевики, вели, исходя из конкретных общественно-политических условий, не тащась в хвосте действительности, но и не ставя перед собой утопических и преждевременных задач. Руководя пролетариатом, мы шли от одного исторического этапа к другому, шли, руководствуясь марксистско-ленинским изучением действительности. На это Добролюбов, естественно, не был способен. Жизнь еще не давала материала для марксистского решения вопроса у нас в России. Но никак нельзя упрекать Добролюбова в просветительстве, думая, что он надеялся произвести революцию путем убеждения господствующих классов. Над этим он часто смеялся, таких надежд у него не было, они совершенно чужды ему и всему его мировоззрению, а если он и говорил о силе просвещения и сворачивал на идеалистические позиции, то всегда помнил, что убедить в том или другом человека, а тем более целый класс возможно только тогда, когда действительность уже подготовила почву к восприятию этих идей, рожденных той же самой действительностью.

Многочисленные замечания о естественных и искусственных отношениях человечества разбросаны критиком в ряде его статей, но они не дают материала, чтобы воссоздать систему его социалистических взглядов. Вернее, стройной системы взглядов у Добролюбова в этой области и не было. Однако, все говорит, что он в какой-то мере возвышался над системой утопического социализма, хотя его социализм и не был научным социализмом.

Отношение Добролюбова к утопическому социализму с достаточной четкостью сказалось в его статье о Р. Оуэне. Ошибка критика не в том, что он полагался на исключительную силу разума, просвещения и пропаганды; тут он высказал, несмотря на свои ошибки, много здоровых и ценных мыслей. Его ошибка коренилась главным образом в том, что он приписывал исключительную силу и значение природе человека, постоянно к ней апеллировал, на нее опирался, отвлекаясь от человека, как конкретного исторического субъекта, носителя определенной классовой идеологии. Как критик относился к просвещению, мы говорили уже достаточно, а что касается пропаганды среди имущих классов и убеждения их пойти навстречу естественным стремлениям народа, то он вместе с Фейербахом хорошо знал, что «во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах».

Считая Р. Оуэна «бесспорно одним из самых благородных и симпатичных явлений» своего времени, привлекательным своими «светлыми начинаниями», направленными к улучшению и коренному изменению быта рабочего класса, Добролюбов в то же время, хотя и любовно, называет его чудаком, самонадеянным человеком, суеверным, а все планы его нелепыми. В целях пропаганды критик с большим сочувствием и симпатией излагает социальную систему великого английского утописта, его попытки осуществить свои планы в жизни, всю борьбу вокруг этих попыток, доказывая на протяжении всей своей большой статьи, что человеку определенного класса трудно, а целому классу совершенно невозможно отказаться от своих привилегий, от своего господства, от своего благосостояния. Добролюбов так и пишет: «Этот чудак вздумал преобразовать Англию, Европу, целый мир — и в чем же? В деле самом священном, самом милом для человеческих сердец, в деле личного интереса! Он хотел безделицы: чтоб лентяи и плуты не имели возможности обогащаться на счет чужого труда, чтоб дураки не могли записывать в преступники людей, не согласных с их мнениями! И наивный упрямец никак не хотел убедиться, что подобное предприятие безумно, что тут никакого успеха нельзя ожидать» [1]. Вот отношение критика и к английско-

[1] Том VII, стр. 349. «Роберт Оуэн».

му капитализму и к просветительским мечтам утопического социализма Оуэна.

Доказывая, что не теория управляет жизнью, а, наоборот, жизнь выдвигает те или иные теории, что человек в своей общественной деятельности должен исходить из конкретных экономических и политических условий, учитывая внутреннюю логику развития действительности, критик останавливается на деятельности английского утописта, когда он в 1829 г. возвратился в Англию с мыслью снова осуществить свои социалистические планы. Критик учитывает реальное соотношение классовых сил; он видит, что Оуэн «на этот раз явился вовсе не во-время. Борьба среднего сословия с аристократией явно склонилась в пользу первого. Парламентская реформа была уже решена в общественном мнении; коттонлорды принимали на себя представительство рабочих масс, и всякая попытка эмансипации работников казалась им враждебною и опасною для их политического значения». Было такое положение, что рабочие массы должны были выступать против среднего сословия, а последнее должно было защищать свои политические и экономические привилегии. Поэтому последние попытки Оуэна кончились полной неудачей, и он вынужден был в союзе с рабочими вести в некоторых предприятиях борьбу против их хозяев.

Предостерегая от утопических мечтаний, критик не раз указывал: «только тогда человек может заставить людей сделать что-нибудь, когда он является как бы воплощением общей мысли, олицетворением той потребности, которая выработалась предшествующими событиями». Это совсем не та просветительная установка, не та абстрактность, которые так сгущенно выдвигает Плеханов. Добролюбов ушел вперед от философии французских материалистов XVIII века. Он хорошо помнил, что бытие определяет сознание, хорошо понимал, что общественные перемены, реформы, революция возможны только тогда, когда в обществе созрели для этого нужные условия. Добролюбов никогда не писал о развитии производительных сил страны, вступающих в конфликт с организацией производства, с политическим строем, олицетворяющим экономическую структуру общества; он говорил преимущественно о состоянии общественного сознания, и тут он впадал в очевидный идеализм; но он был глубоко прав, когда доказывал, что всякая попытка социальных реформ требует не только определенного сознания общества, но и определенных экономических и политических условий, определенных «фактов жизни». «Факт жизни» действует и на представителя промышленности и на представителя труда, но действует по-разному, и это действие дает разные результаты. «Действительный факт», отразившись в практической жизни рабочего человека, вызывает другой

«действительный факт», и все это вместе ведет к определенному образу действий, обусловленному, продиктованному самой действительностью.

Тут Добролюбов снова подходит к своей основной идее, что наше общество «ненормально, болезненно, уродливо», что оно нуждается в «серьезной операции», что сама жизнь «неприметным и естественным образом» приводит к «кровавой вражде». Иными словами, развитие капиталистического общества неизбежно ведет к социалистической революции. Нужно итти к ней, но всегда с учетом реальной обстановки, с учетом классовых сил.

Материалистические и идеалистические взгляды Добролюбова тесно переплетаются между собою, но перевес довольно часто на стороне материализма. Это и дало ему возможность понять детерминированность общественной жизни, деятельности класса, личности, социальных реформ и революционного переворота. Это дало ему твердую убежденность, что социалистическая революция неизбежна, она грядет, таясь в недрах капиталистического общества, в условиях его развития; нет сил, которые могли бы предотвратить неизбежную смерть капитализма. Отсюда критическое, строго практическое отношение к утопическому социализму, который в основу проведения своих социальных реформ клал не революционный, насильственный переворот, а убеждение господствующих классов в незаконности, безнравственности настоящего их существования и в необходимости удовлетворить «естественные стремления» широких трудящихся масс. Добролюбов над утопическим социализмом поднимался и философски, и экономически, и политически. Он предостерегал, что к реформам Оуэна прислушивается буржуазия, что она может использовать их в своих классовых интересах. Чтобы внести успокоение в рабочие массы, буржуазия может пойти на уступки, но не в этих уступках выход из положения. Рабочий вопрос разрешается не реформами, а только социалистической революцией.

Установим разницу между утопическим социализмом и научным социализмом Маркса и Энгельса. «Прежние социалисты для обоснования своих воззрений считали достаточным показать угнетение масс при современном режиме, показать превосходство такого строя, при котором каждый получал бы то, что он сам выработал, показать соответствие этого идеального строя с «человеческой природой», с понятием разумной нравственной жизни и т. д. Маркс считал невозможным удовлетвориться таким социализмом» [1].

«Маркс и Энгельс разъяснили в своих научных трудах, что социализм не выдумка мечтателей, а конечная цель и необходи-

---

[1] *Н. Ленин.* Сочинения, т. I, стр. 75. «Что такое «друзья народа».

мый результат развития производительных сил в современном обществе»... «Почти все тогдашние социалисты и вообще друзья рабочего класса видели в пролетариате только *язву*, с ужасом смотрели они, как, с ростом промышленности, растет и эта язва»... Они рассчитывали, что «нужно только убедить правителей и господствующие классы в несправедливости современного общественного порядка, и тогда легко водворить на земле мир и всеобщее благополучие. Они мечтали о социализме без борьбы» [1]...

Конечно, Добролюбов, вслед за материалистами XVIII века, вслед за Фейербахом и утопическими социалистами, сильно грешил обращением к «человеческой природе» и к «разумно нравственной» жизни, он часто ступал на порочный идеалистический путь. Но он никогда не надеялся на то, что социализм наступит в результате убеждения сильных мира, он твердо знал, что неизбежна социалистическая революция и понимал, хотя и смутно, что в истории развития человеческого общества социализм придет на смену капитализму; он понимал, что капитализм не просто *язва*, а исторически неизбежный общественный строй.

Конечно, Добролюбов не поднялся до научного социализма, он остался на позициях до-марксовского социализма, но он продвинулся вперед по сравнению с утопическими социалистами. Что последним не было понятно, он уже сознавал, идя по пути приближения к научному социализму. В этом смысле мы и говорим, что Добролюбов поднимался над системой утопического социализма.

Эти основные социально-экономические взгляды Добролюбова обязывают нас к тому, чтобы мы, не забывая и не упуская из виду его идеалистических срывов, подчеркнули те материалистические высоты, на которые Добролюбов смог подняться в условиях крепостной России 60-х годов прошлого века и на которых не смогли удержаться революционеры-народники семидесятых годов и народничество в широком смысле вплоть до Октябрьской революции.

IV

Перейдем теперь к изложению политических позиций Добролюбова относительно России. Естественно, что они целиком определялись общеисторическими взглядами на движение человечества.

Общее положение России Добролюбов расценивал весьма мрачно. В какую бы область жизни критик ни заглядывал, у него всегда закипало возмущение и ненависть к существующему порядку. Он писал о разврате императора и его приближенных, о жестокостях крепостничества, о рабстве народа, о взяточничестве чи-

[1] *Н. Ленин*, Сочинения, т. I, стр. 409, 410. «Фридрих Энгельс».

новников, о произволе суда, о невежественных солдатах, возглавлявших просвещение, о развале в армии, о преследовании свободной мысли и о многих других сторонах гнусной российской действительности.

В газете «Слухи» он так и писал:

И я поник душой смятенной
И думал: Русь, как ты грустна!
Ужель еще есть во вселенной
Такая жалкая страна?

Россию Добролюбов сравнил с «темным царством», а ее граждан изобразил сидящими в темной, грязной, вонючей тюрьме, в яме, гниющем болоте; сидя там, они стонут под произволом и издевательством сильных. Приветствуя реформы Петра I, сочувствуя проникновению в русскую жизнь европейских (капиталистических) начал, Добролюбов всегда подчеркивал, что «древняя Русь не могла внезапно исчезнуть вместе с обритыми головами. Она вовсе не далека от нас, чтобы представлять ее нам каким-то раем земным, населенным чуть ли не ангелами». Этот рай критик характеризовал: «И прежде плакал человек, и прежде кровь лилась рекою».

В таких ужасных условиях, по мнению критика, говорить о какой-либо широкой деятельности не приходится; «жизнь проходит в мелочах, в плутнях, интрижках, сплетнях и подличаньи». Общественные деятели «крепколобы», погрязли в мелочах жизни, они не видят основного зла жизни, не слышат народного стона, не видят народных страданий. Те же, которые все это видят и понимают, «палец о палец не ударят», чтобы бороться за свои убеждения и проводить их в жизнь. Эти «умники» либералы ко всему подходят с юридической точки зрения, а не от конкретных запросов жизни.

Русскую жизнь Добролюбов сравнивает с царством сна и покоя, где все благополучно, где всякий проснувшийся и заявляющий о себе уже вносит в жизнь беспорядок.

Вся ничтожность и мерзость николаевского режима сказалась в крымской войне. Когда был взят Севастополь, общее настроение Добролюбов выразил в «Слухах» словами: «Как будто перевели дух после долгого ожидания и сказали: «Ну, наконец-то... Взяли же таки!..» И это выразили даже те, которые прежде с голоса газет кричали о невозможности взятия Севастополя». В этом поражении все увидели момент, с которого должно начаться какое-то изменение в направлении общественной жизни, все сознавали, что старый режим не оправдал себя, провалился.

Добролюбов хотя и писал о царстве сна и покоя, хотя и доказывал, что в «темном царстве» нет места протесту, все же он понимал, что «в нашем обществе есть уже место великим идеям

и сочувствиям и что недалеко время, когда этим идеям можно будет проявиться на деле». Он констатировал, что в русской жизни возможно появление таких характеров, как Елена, и уже не так далеко до прихода русских Инсаровых. Во «Внутреннем обозрении» за март 1860 г. Добролюбов писал: «Все ожило, проснулось, все идет вперед, и в то же время все спит, молчит, остается в неподвижной апатии; все зреет, зреет не по дням, а по часам, зреет уже несколько лет, и вдруг слышится торжественный голос, что все не созрело, и сотни взрослых людей безмолвно и кротко выслушивают этот голос и через несколько дней бегут поучаться и дозревать на лекции старого ученого, столь бесцеремонно аттестовавшего их. Все освещено, настал полный рассвет в нашей общественной жизни, во все уголки свет пробрался, вот уже года три тому назад, по газетным сведениям; и между тем, что год, то больше открывается темных уголков, в которых делаются вещи неслыханные и невообразимые, и бывалые люди говорят, что таких уголков и теперь осталось еще много, так много, что, если открытые углы «стократ умножить миллионом», и дерзнуть сравнить с неоткрытыми, так и то — лишь будет точкою одною»[1]. Желая показать, как сильно разложение государственной жизни, критик отмечает, что даже сам Николай I задумал освободить крестьян от крепостной неволи, полагая, что после этого жизнь будет совершенна. Но критик отмечает и другое — то, что это происходит из-за страха в верхах перед общим протестом против произвола и бесправия, из-за страха перед крестьянскими волнениями, которые начали охватывать крепостную деревню. В доказательство Добролюбов ссылается на то, что «меры обременительные, стесняющие народ в его правах, могут быть вызваны, вопреки требованию народной жизни, просто действием произвола, сообразно выгодам привилегированного меньшинства, которое пользуется стеснением других; но меры, которыми уменьшаются привилегии и расширяются общие права, не могут иметь свое начало ни в чем ином, как в прямых и неотступных требованиях народной жизни, и неотразимо действующих на привилегированное меньшинство, даже вопреки его личным, непосредственным взглядам»[2].

В «Литературных мелочах прошлого года», касаясь последствий севастопольского разгрома, критик писал: «Общество в самых дремлющих слоях получило могущественный нравственный толчок, и усиленная умственная деятельность, воспрянув от сна, закипела на всем необъятном пространстве России: все живые силы народа устремились на служение великому делу просвеще-

[1] Том VIII, стр. 36.
[2] Том IV, стр. 292. «Луч света в темном царстве».

ния и совершенствования. В то же время усвоение Россиею плодов европейской цивилизации открыло ей новую арену для полезной и разумной деятельности в сфере промышленного развития и материальных улучшений».

Естественно, Добролюбов ищет выход из этого самодержавно-крепостнического строя. Он анализирует силы, которые поддерживают и охраняют существующий режим; он отыскивает силы, которые могли бы подняться на борьбу за новый строй жизни. Говорить о самодержавии со всей откровенностью и силою негодования критик, понятно, не мог. Говорил он иносказательно, прибегая к сравнениям. Все его статьи об итальянских делах в сущности статьи о русских делах.

Русский царь казался всесильным, всемогущим. Сказать, что царь негодяй и мразь, критик не мог, но зато он воспроизводил проповеди Гавацци, в которых дается характеристика Бурбонам. «Эта надпись, эти статуи, этот дворец — все мне говорит о Бурбонах, — восклицал Гавацци. — Где же они, наши Бурбоны? Что сделалось с этим надменным родом, в котором от отца к сыну заслуженно переходило прозвище *«Бомбы»?* Все полно памятью о них на этой площади, которую, несмотря на ее неудобства для служения, я нарочно выбрал именно потому, что она сама громко говорит о Бурбонах. Где же они, эти властители? Они были на высоте... одно мгновение... одно только... и они низвергнуты *(аплодисменты)*, они низвергнуты навсегда *(восторженные аплодисменты)*. Никогда больше не будет царствовать это проклятое племя! «Из всех деспотов Европы самое жалкое племя — это племя Бурбонов...» «Долой Бурбонов!» (*Вся толпа разражается криком: «Браво! Долой Бурбонов!»*) Народ и герои народа прогнали Бурбонов. *(Толпа, как один человек, в несколько приемов гремит: «Долой, долой, прочь Бурбонов!»)*... Мы начали дело, мы доведем его и до конца» [1].

Читая эту итальянскую проповедь, русский человек за Бурбонами видел Романовых; он видел ничтожность и слабость русского самодержавия, представлял силу народа, оказавшегося в своем гневе достаточно мощным, чтобы опрокинуть самодержавие; он представлял народный энтузиазм и думал, что и русский народ может дойти до крайних пределов своего терпения и опрокинуть, раздавить существующий строй.

Чтобы дело неаполитанцев было прочно, Гавацци призывал их к единению; «разделение может сделаться препятствием к успеху и погубить даже то, что приобретено». Этим критик внушал мысль, что стоит народу взяться за дело дружно, организованно, самодержавие русское можно преодолеть...

---

[1] Том VIII, стр. 393. «Отец Александр Гавацци и его проповеди».

Добролюбов, естественно, не мог опустить и тех мест речи, в которых Гавацци славословил наряду с Гарибальди Виктора-Эммануила. Это была дань политическому гнету, Третьему отделению, царской цензуре. Впрочем, на это славословие критик отвел всего несколько строк, тогда как моменты свержения Бурбонов, энтузиазм народа воспроизведены с большой полностью и силой. Всякий понимал, что симпатии критика на стороне восставшего народа, что речь Гавацци он направляет как призыв к русскому народу. Спокойный, холодный, объективный тон критика, вынужденный обстоятельствами, никого не вводил в заблуждение.

Гавацци характеризует Бурбонов. Добролюбов выписывает эту характеристику, заставляя задуматься читателя над тем, чем же Романовы лучше Бурбонов.

«А что хорошего имели вы при Бурбонах? *(В толпе: «Ничего! ничего!»)* Ничего... Нет, хуже, чем ничего; у вас был ад кромешный... У вас было царство интриганов, разбойников, шпионов, палачей, царство убийц политических... Вот ваши выгоды при Бурбонах! *(Одобрение)*. Что вы имели при Бурбонах, так это лишение всякой свободы мысли, всякой свободы слова, печати, собраний, всякой свободы быть человеком!.. Бурбон поставил над вашей жизнью полицию, благодаря которой вы боялись даже ваших родственников, вашей семьи... Вот какие преимущества вы имели при Бурбонах! *(Сильные рукоплескания)*. Бурбон оцепил вас полками сбирров, которым поручено было следить за вашими мыслями, словами и действиями и которые все искажали, чтобы жить на ваш счет и чтобы, сверх того, опозорить вас и ваше итальянское имя и повергнуть в горе и нищету ваше семейство. Вот какие выгоды вы имели при Бурбонах! *(Новые рукоплескания)*. Вы осчастливлены были полициею мошенников, в противность ее настоящему смыслу, потому что она должна защищать честных граждан против воров, мошенников и убийц, а полиция Бурбонов, напротив, покровительствовала мошенникам и убийцам против честных граждан. *(Живые рукоплескания)*. Бурбон даровал вам суды, которые, когда не находили преступления в народе, нарочно выдумывали их, чтобы ограбить этот народ... Иначе — Виктория, Низида (тюрьмы в Неаполе)... каторга, ссылка, виселица... Вот ваши выгоды при Бурбонах! Словом, при Бурбонах никакой свободы, никаких гарантий; вы не могли даже ночью на вашей постели быть хоть сколько-нибудь спокойным; домашний обыск каждую минуту мог возмутить ваше спокойствие... мог, — как не раз было доказано, — стоить жизни честным женщинам, которые, страшась позора для их домов и мужей, имели мужество бросаться с высоких балконов, своею кровью смывая бесчестие, которое... *(Взрыв страшных рукопле-*

сканий заглушает конец фразы). Словом, Бурбоны хотели от первого итальянского народа, первого по уму, поэзии, по силе философской мысли, по художественным наклонностям, по стремлениям сердца и по любви к свободе, хотели сделать последним из народов Италии, угнетая и сдавливая неаполитанцев до того, чтобы они не только не были итальянцами, но вовсе перестали быть людьми. Вот что даровал вам Бурбон! *(В толпе крики, ругательства на Бурбонов)...»* [1]

Читатель «Современника» спрашивал себя: а у нас разве лучше? Разве это не про нас написано? Да это же описано русское самодержавие — и каторга, и виселица, и обыски, и суд, и полиция, — все, все наше, российское, от которого мы стонем и гибнем. У нас, может быть, даже страшнее. Если в Италии нашелся Гарибальди, который принес неаполитанцам свободу, то почему у нас не может быть своего Гарибальди, который свергнет нашего бурбона и даст народу свободу?

Добролюбов упорно проводит свою политическую линию. Дав характеристику самодержавию, он начинает определять те общественные силы, которые это самодержавие могут низвергнуть. Само собой понятно, что критик был решительным врагом всяких защитников существующего порядка, в каком бы плаще философских и политических направлений они ни появлялись. Добролюбов всегда высмеивал их и ставил к позорному столбу. Но не эти люди интересовали критика. Не о помещиках-крепостниках он писал. Он надеялся на силы народа. Силе русского самодержавия, силе крепостника-помещика критик противопоставлял силу русского народа. Поэтому он с таким большим вниманием и относился к художественным произведениям, которые затрагивали и трактовали темы народной жизни. Многие недоумевали, почему Добролюбов занимается повестями М. Вовчок, Кокорева, слабыми в художественном отношении. В то время как противники Добролюбова исходили если не исключительно, то преимущественно из эстетических оценок художественных явлений, критик прежде всего искал отображения народной жизни, сил народа; он выяснял, что в народе есть здорового, сильного, положительного, в чем его слабые, темные стороны, — как с этой народной силой можно выйти на борьбу с царем и помещиком. Он действовал как организатор сил революции.

★

Проблема народа — одна из основных проблем политических взглядов Добролюбова. Она определяла его отношение к литературе. В 1847 году Огарев, под впечатлением процедуры осмотра

[1] Том VIII, стр. 409. «Отец Александр Гавацци и его проповеди».

рекрутов, писал Грановскому: «Что за идиотство в массе народа, это также трудно представить. Это меня очень оскорбило. Я мало верю в важность литературы, а теперь равно мало верю в важность практической деятельности, и меня обдает каким-то хаосом, в котором я чувствую себя затерянным, и рад-рад, когда, приехав домой, ухожу в расчет о кристаллизации карбона (несмотря на то, что ты уверен, что я не сделаю бриллианта) или без жалости к бараньему поколению с величайшей подробностью вскрываю овец»[1]. Ко времени итальянских событий изменилось положение в России, — изменились и взгляды Огарева на народ, исчез его скептицизм. Мы сделали выписку из письма молодого Огарева исключительно для того, чтобы противопоставить взгляды и выводы либерала дворянина, который имел близкое отношение к революционному движению, взглядам молодой революционной демократии. Огарев, видя рекрутский набор и забитых крестьянских парней, пришел в панику и временно отошел в сторону. Добролюбов на дело взглянул иначе. Он знал забитость и темноту народа, но он знал и другое, что не баре освободят народ, а только сам народ освободит себя, и что в народе есть большие силы, только они сдавлены существующим режимом. Он выявлял эти силы. Что было естественным для революционера-демократа Добролюбова, то казалось оскорбительным, непонятным для Огарева и для либералов тургеневского толка.

Кого же Добролюбов считает народом? Он различает народ и общество. Общество — это образованные, привилегированные; народ — трудящиеся, эксплоатируемые массы, в первую очередь крепостное крестьянство. В разные исторические эпохи народ по своему составу не однороден. «Народная масса», по мнению критика, и составляет движущую силу истории. Она подготовила реформы Петра I, она подготовляет отмену крепостного права. Эта «народная масса» таит в себе огромные нравственные силы и способна на разрешение больших исторических задач. Эта «народная масса» уже проявила себя в движении Разина, Пугачева; она проявит себя и в будущем.

В каком положении находится народ?

«Почти весь производительный труд приходится на долю простонародья, почти все выгоды его достаются образованным классам. На обязанности земледельца лежит не только забота о своем собственном прокормлении, но и содержание, — да не просто содержание, а богатое, роскошное содержание, — и других классов общества». «Промышленность развита у нас мало, да и то составляет большею частью монополию капиталистов, у которых

---

[1] «Звенья», «Academia», 1932, кн. 1, стр. 113. Н. П. Огарев. Письма к Грановскому, Герцену и др.

бедному простолюдину можно быть только батраком и поденщиком; денежный курс все меняется к невыгоде бедняка: дороговизна увеличивается год от году, вместе с роскошью тех классов, которые безотчетно бросают направо и налево не ими нажитые деньги». «В юридических отношениях он натыкается всюду или на помещичью власть или на окружного и станового; в частных житейских делах он встречает — кулака, конокрада, знахаря, солдата на постое, купца-барышника, подрядчика» [1].

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что из крестьянской массы Добролюбов выделяет кулачество. Кулак не народ, — он враг народа. Не отрицая исключительно тяжелого положения крестьянства, критик никак не может согласиться с теми, кто думает, что этот забитый и бесправный голодный народ обречен если не на вечное, то на долгое рабское положение. Когда одни утверждали, что народ так задавлен и измучен, что у него даже нет «вкуса к общественным вопросам», Добролюбов видел другое; его радовала «одна сторона, отрадная, успокаивающая: это вид бодрого, свежего крестьянского населения, твердо переносящего все испытания, без отчаянного уныния, но с постоянной надеждой на милость божию и царскую. Много сил должно таиться в том народе, который не опустился нравственно среди такой жизни, какую он вел много лет, работая на Багровых, Куролесовых и т. п.» [2]. Добролюбов с любовью останавливается на рассказе М. Вовчок «Маша». Оказывается, в то время, как некоторые образованные люди полагают, что «мужик еще не созрел до настоящей свободы, что он о ней и не думает и не желает ее, и вовсе не тяготится своим положением, — разве уж только, где барщина очень тяжела и приказчик крут», существуют в народе массы, которые постоянно ставят вопросы: зачем и почему? Думают, спрашивают, возражают. Из отвращения к рабской работе на бар Маша доходит до ожесточения и «бессознательного, безумного героизма». Она ранила серпом барыню, она захотела быть вольной. Ей лучше умереть, чем жить в тисках крепостной жизни. Когда эстетствующая критика обвиняла М. Вовчок в нехудожественности ее рассказов, в неестественности ситуаций — таких запросов у крестьянской девушки, дескать, не может быть, — Добролюбов высмеивал их, язвя: «Люди говорят разными языками; один бывает разговорчив, другой нем, один имеет громкий голос, а другой слабый, — бывают даже и совсем немые, но все же остается не подлежащей сомнению та истина, что человек имеет дар слова. Так что, при разнообразии степеней, в каких проявляется в русском простолюдине мысль о своих естест-

---

[1] Том VII, стр. 431, 433. «Народное дело».
[2] Том III, стр. 232. «Сочинения С. Аксакова».

венных правах и стремление освободиться от обязанного, барщинного труда, — никакого сомнения не может быть в том, что эта мысль и стремление существуют»[1].

В. Зайцев упрекал Добролюбова в том, что его суждения о народе напоминают почвенников, что он «слишком много ждет от народа»[2].

Д. Писарев смотрел на народ как на темную, грубую, дикую массу, которую надо осторожно и исподволь просвещать. Он находил, что «русская жизнь в самых глубоких своих недрах, не заключает решительно никаких задатков самостоятельного обновления; в ней лежат только сырые материалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны влиянием общечеловеческих идей»[3], но «в настоящее время народ еще не в состоянии сознавать эти идеи, обращать их в свое умственное достояние, органически перерабатывать их силой собственного мышления; пусть он по крайней мере чувствует на себе их благотворное, согревающее влияние. Русский крестьянин быть может еще не в состоянии возвыситься до понятия собственной личности, возвыситься до разумного эгоизма и до уважения к своему *я;* пускай же он почувствует, по крайней мере, какую-то перемену в окружающей атмосфере, пускай почувствует, что с ним обращаются господа как-то не попрежнему, а как-то серьезнее и мягче, любовнее и ровнее»... А «чтобы русский мужик почувствовал эту благодетельную перемену, нужно, — по мнению Писарева, — чтобы наше провинциальное дворянство и мелкое чиновничество перестало быть тем, что оно теперь»[4]. Отсюда Писарев делает решительный вывод, что обращаться к народу ошибочно, бесполезно, к нему надо относиться, как «снисходительные братья»; что судьба народа в руках общества и решается в университетах. Он верит, что скоро придет время, «...и оно уже вовсе недалеко, — когда вся умная часть молодежи, без различия сословия и состояния, будет жить полной умственной жизнью и смотреть на вещи рассудительно и серьезно. Тогда молодой землевладелец поставит свое хозяйство на европейскую ногу; тогда молодой капиталист заведет те фабрики, которые нам необходимы, и устроит их так, как того требуют общие интересы хозяина и работников; и этого довольно; хорошая ферма и хорошая фабрика при рациональной организации труда составят лучшую и единственно возможную школу для народа»[5].

[1] Том V, стр. 52. «Характеристика русского простонародья».
[2] *В. Зайцев.* «Белинский и Добролюбов». «Русское Слово», 1864, № 1.
[3] *Д. И. Писарев,* Сочинения, изд. Павленкова, т. III, стр. 306. «Мотивы русской драмы».
[4] *Д. И. Писарев,* т. I, стр. 336. «Схоластика XIX века».
[5] *Д. И. Писарев,* т. III, стр. 305. «Мотивы русской драмы».

На все эти либеральные и просветительные рассуждения Добролюбов отвечал, что нельзя, «не истребивши народа, уничтожить в нем наклонность к самостоятельной деятельности и свободному рассуждению». «Целый край так вот взяли, да и забыли, — как бы не так». «В народной массе нашей есть деятельность, серьезность, есть способность к жертвам». Он ссылался на непроизводительность крепостного труда и им объяснял наличие в крестьянской среде тех чувств, которыми жила Маша. В ее поступках критик видит мысль о неприкосновенности личности: Маша никак не может понять, как ее тащат туда, куда она итти не хочет. Она недоумевает, по какому, собственно, праву все это происходит? Отсюда — уважение к другой личности. А далее протест против произвола и насилия, нежелание работать на других. «Что мне работать на других? Лучше я ничего не буду делать», рассуждает Маша. Но эта же Маша готова закабалить себя в свободном труде, лишь бы выкупиться из крепостной неволи. Разбирая рассказ «Надёжа», критик выясняет разницу переживаний у людей «цивилизованных» и «простых». «Желают они так, что жить без того не могут, и все-таки ничего не делают для осуществления своих желаний; страдают они так, что умереть лучше, — а живут себе, ничего, только меланхолический вид принимают. Не то у простого человека: он или неглижирует, внимания не обращает на предмет, и уже не толкует о своих желаниях; или, уже если привяжется, если решится, то привяжется и решится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствия не страшат его, когда их нужно одолеть для достижения страстно-желанного и глубоко-задуманного. Если же нельзя достигнуть, простой человек не останется, сложа руки; по малой мере, он изменит все свое положение, весь образ жизни: убежит, в солдаты наймется, в монастырь пойдет; часто он просто, естественным образом не переживает неудачи в достижении цели, которая уже проникла все существо его и сделалась ему необходима для жизни; если же физическое сложение его слишком крепко и может вынести больше, нежели сколько нужно для крайнего раздражения нервов и фантазии, он не церемонится покончить с собою насильственным образом». И это служит для критика «свидетельством, как для простого, здорового человека, раз почувствовавшего свою личность и ее права, несносна жизнь бесплодная, бесполезная, автоматическая, без принципов и стремлений, без смысла и правды» [1].

О русском крестьянине существовало мнение, что он или скотина бессловесная или зверь дикий. Добролюбов соглашается, что эти две крайности, к сожалению, в народе есть, но он тут же

[1] Том V, стр. 91. «Характеристика русского простонародья».

выясняет, что это результат общественной жизни. Он высмеивает «Москвитянина», который воспевал «смирение, покорность, терпение, самопожертвование» и другие подобные качества народа. Это искаженная крепостным правом деликатность, «жалкое и безобразное искажение», вредное в общественном отношении. «Мифически змеиные натуры» — результат той же крепостной действительности. В естественных, нормальных условиях человеку не будет необходимости проявлять свою озлобленность, да и откуда она появится, раз нет к тому условий? Зачем ему покорность и смирение? Деликатность и достойное сознание своей личности и прав «примут свое естественное направление при первой возможности». Все добрые и светлые стороны народного характера находятся большею частью в искаженном виде, и все же, наблюдая крестьянский быт и крестьянскую мысль, критик подчеркивает, что в народе сильно развито сознание, гораздо более, чем в образованном обществе, что «надо жить своим трудом и не дармоедствовать». Всякого человека, разжившегося на мирской счет, русский крестьянин клеймит позорным прозвищем «мироед». Свою «характеристику русского простонародья» Добролюбов посвятил всестороннему развитию мысли, что «народ не замер, не опустился, источник жизни не иссяк в нем; но силы, живущие в нем, не находят себе правильного и свободного выхода, принуждены пробивать себе неестественный путь и поневоле обнаруживаться шумно, сокрушительно, часто к собственной погибели» [1]. «С таким доверием к силам народа и с надеждою на его добрые расположения можно действовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое дело крепкие, свежие силы и предохранить их от того искажения, какому они так часто подвергаются при настоящем порядке вещей» [2].

Как известно, Добролюбов первый, года на полтора раньше Чернышевского, уже во второй половине 1860 г., начал звать «в народ», надеясь вызвать в нем нужные силы для свержения существующего порядка насилия и тиранства над людьми. Народ часто превосходит образованные силы общества, и нам следует «от этих тощих и чахлых выводков неудавшейся цивилизации обратиться к свежим, здоровым росткам народной жизни, помочь их правильному, успешному росту и цвету, предохранить от порчи их прекрасные и обильные цветы. События зовут нас к этому, говор народной жизни доходит до нас, и мы не должны пренебрегать никоим случаем прислушаться к этому говору», таким замаскированным, но революционным призывом кончает критик свою статью. «Говор народной жизни» — это крестьянские вол-

[1] Том V, стр. 124. «Характеристика русского простонародья».
[2] Там же, стр. 115.

нения, которые происходили в связи с реформой 1861 г. За период 1855—1861 гг. было 474 случая крестьянских волнений, а за один 1860 г. их было 100. После манифеста «об освобождении» крестьян было более 2000 волнений. Учитывая все это, «Молодая Россия» надеялась на революцию весной 1863 г. В шестидесятые годы, как известно, были уже многочисленные волнения рабочих. Критик зовет от отвлеченных теорий, бесконечных разговоров о страданиях и благе народа окунуться в самую гущу народной жизни, вместе с ним произвести революцию. «Народные массы не умеют красно говорить; оттого они и не умеют и не любят останавливаться на слове и наслаждаться его звуком, исчезающим в пространстве. Слово их никогда не праздно; оно говорится ими, как призыв к делу, как условие предстоящей деятельности». И далее критик приводит пример, как массы крестьянства отказались от водки. «Эти же сотни тысяч, — как надеялся он, — откажутся от мяса, от пирога, от теплого угла, от единственного армячишки, от последнего гроша, если того потребует доброе дело, сознание в необходимости которого созревает в их душах». «Доброе дело» — это псевдоним крестьянской революции.

Обращаясь к образованному обществу, Добролюбов разъясняет ему, что «в этой-то способности приносить существенные жертвы раз сознанному и порешенному делу и заключается величие простой народной массы, величие, которого никогда не можем достичь мы, со всей нашей отвлеченною образованностью и прививною гуманностью. Вот отчего все наши начинания, все попытки геройства и рыцарства, все претензии на нововведения и реформы в общественной деятельности бывают так жалки, мизерны и даже почти непристойны в сравнении с тем, что совершает сам народ и что можно назвать действительно народным делом» [1]. Как сильна была у Добролюбова вера в народ, можно судить по его статье «Непостижимая странность». В ней рассказывается, что неаполитанский народ считался безнадежно неспособным к какой-либо активности; он был забит и загнан до последней степени, и все-таки наступил момент, когда и этот народ восстал, прогнал Бурбонов, твердо и решительно борясь за свою будущность. Тут одновременно и ответ всем неверующим в народ. Словом, ради революции, ради своего освобождения от рабства народ пойдет на все, лишь бы образованное общество могло пойти с ним, поняв его истинные интересы. Добролюбов, как известно, ошибся. Ошиблись и народники-семидесятники. Хождение в народ разбило розовые, наивные мечты о готовности народа к революции. Крестьянство тех, кто шел к нему с проповедью

[1] Том VII, стр. 485. «Народное дело».

социализма, выдавало властям предержащим. История знает не мало таких примеров.

Следует, однако, заметить, что Добролюбов не идеализировал народ так, как это делали писатели-дворяне. Их идеализацию народа он считал ненужной и унизительной для народа. С народом он хотел быть на равной ноге, смело и открыто говоря о его светлых и темных сторонах жизни и характера. Не идеализировал он народ и в той преувеличенной степени, как это делали революционеры-народники в период хождения в народ. Он хотел знать силу грядущей крестьянской революции. Силу эту он не идеализировал, но мощность ее переоценил благодаря недостаточному знанию народной жизни.

★

Нарисовав две противостоящие враждебные силы — самодержавие и народ, показав, что одно обречено на гибель в силу своего внутреннего развития, несмотря на внешнюю несокрушимость, а другой силен, несмотря на свою вековую забитость, Добролюбов начинает искать героя, который пришел бы к народу, организовал его и вызвал на решительную схватку. Кто же это может сделать? Помещики, нарождающаяся буржуазия на это не способны по своему классовому положению. Полуграмотные, полупомешанные, развращенные, как назвал их критик, они чужды интересам народа, да и не пригодны на что-нибудь дельное. Просвещенное общество, дворяне либералы? Этих людей критик также не считал пригодными на что-нибудь путное. Либералам критик уделил много внимания; он их затрагивает почти во всех своих главных статьях; особенно сильно им достается при разборе романа Гончарова «Обломов» и в итальянских статьях.

«Стоя в стороне от практической сферы, додумались они до прекрасных вещей; но зато так и остались негодными для дела и оказались совершенно ничтожными, когда пришлось им столкнуться кое с чем и кое с кем в «темном царстве». Сначала их было побаивались, когда они явились с лорнетом Онегина, в мрачном плаще Печорина, с восторженной речью Рудина, но потом поняли, что все это Обломовы и что если они могут быть страшны для некоторых барышень, то, во всяком случае, для практических деятелей никак не могут быть опасны. Так они и остались вне жизни, эти люди честных стремлений и самостоятельных убеждений, нередко, впрочем, на деле изменявшие им, вследствие своей непрактичности. И если нельзя сказать, чтоб они остались чисты, как голуби, в своих столкновениях с окружавшими их хищными птицами, то, по крайней мере, можно утвердительно сказать, что они оказались бессильны, как голуби» [1].

[1] Том IV, стр. 111. «Темное царство».

В своих статьях Добролюбов постоянно и настойчиво противопоставляет старое и молодое поколения. Старое поколение — это лучшие люди 40-х годов, дворяне либералы; молодое поколение — это разночинцы 60-х годов и прежде всего представители революционной демократии. Характеристика поколений — это блестящая, яркая, сокрушительная характеристика дворянского либерализма; это вызывающая, дерзкая, дышащая силой и сознанием своей исторической роли, не менее прекрасная и изумительная по блеску, характеристика революционной демократии. Старое поколение негодно; все надежды на молодое поколение. Об исторической миссии спорят либералы и революционные демократы.

«Люди *того* поколения проникнуты были высокими, но несколько отвлеченными стремлениями. Они стремились к истине, желали добра, их пленяло все прекрасное; но выше всегда для них был *принцип. Принципом* же они называли общую философскую идею, которую признавали основанием всей своей логики и морали. Страшной мукой сомненья и отрицанья купили они свой принцип и никогда не могли освободиться от его давящего, мертвящего влияния. Что-то пантеистическое было у них в признании принципа; жизнь была для них служением принципу, человек — рабом принципа; всякий поступок, не соображенный с принципом, считался преступлением. Отвлекшись, таким образом, от действительной жизни и обрекши себя на служение принципу, они не умели верно рассчитывать свои силы и взяли на себя гораздо больше, чем сколько могли сделать...» «Отсюда вечно фальшивое положение, вечное недовольство собой, вечное ободрение и расшевеливание себя громкими фразами и вечные неудачи в практической деятельности. Отлично владея отвлеченной логикой, они вовсе не знали логики жизни, и потому считали ужасно легким все, что легко выводилось посредством силлогизмов, и вместе с тем ужасно мертвили всю жизнь, стараясь втиснуть ее в свои логические формы. Может быть, они и отстали бы от всего этого, если бы успели исподволь присмотреться к ровному ходу жизни. Но судьба поступила с ними безжалостно: она круто перевернула многих из них испытаниями разного рода, общими и частными, и они утвердились в убеждении, что жизнь беззаконна и нелепа, а только принцип истинен и законен. Они ринулись было в борьбу за принцип, но проиграли одну битву, другую, третью, четвертую, — и увидели, что бороться долее невозможно...» «Мало-по-малу они вошли в свою пассивную роль и из всего прежнего сохранили только юношескую восторженность да наклонность потолковать с хорошим человеком о приятном обращении и помечтать о мостике через речку. С этими-то малыми качествами и с совершенным неумением присматриваться к действительной жизни и понимать ее требо-

вания и задачи и выступили они в недавнее время снова на поприще литературы. Мгновенное привлечение к себе симпатий общества и замечательно быстрое обнаружение своего бессилия были естественными последствиями самой сущности того характера, какой получило большинство их, вследствие влияния обстоятельств, тяготевших над целым их поколением»[1]. С точки зрения марксизма-ленинизма эта характеристика не вскрывает социальных корней беспомощности и бесплодности либерализма, хотя критик и говорит об «обстоятельствах, тяготевших» над либералами; но характеристика эта сильна, метка и беспощадна, и эта беспощадность тем убийственнее, что критик внешне спокоен, холоден, страсть скрыта, главенствует анализ, рассудок. Что Добролюбов не досказал в данном месте, он обстоятельно раскрыл в других статьях. Политическую беспомощность русского либерализма он показал в статье об «Обломове», вскрыв, что либералам помещикам классовая сущность мешает «поднять руку на то дерево, на котором и они сами выросли».

Из людей 40-х годов Добролюбов выделяет только Белинского, которого он считал «человеком будущего», превосходящим многих «из действительно молодых людей нашего времени». Он умер от чахотки, но его ждала другая смерть, в далекой, суровой Сибири, на каторге, за революционное дело. Если он не погиб как погиб Чернышевский, то это простая случайность. Он не согнулся, он не уступил, он не стал на путь компромисса с самодержавно-крепостной действительностью. Он был истинный революционер. Большая часть людей 40-х годов согнулась, как ковыль в степи, не только отступила перед самодержавием, но, боясь потерять свои политические и экономические привилегии, пошла на жалкий компромисс с властью, предавая интересы народа.

С особенной красочностью и убедительностью политическую и психологическую сущность русского либерализма Добролюбов показал на итальянском материале. В итальянских статьях он оставляет в стороне философские взгляды либерализма, сосредоточивая внимание исключительно на его политической деятельности. Критик показал, что, несмотря на разную политическую обстановку, либерализм — явление гнилое, мелкое, половинчатое, что либералы никогда, ни при каких условиях не могут искренно и до конца защищать интересы народа. Если они и делают это, то постольку, поскольку это отвечает их интересам. Укрепив же свои права, они начинают урезывать права народа. Для них народ — сила, которой они при случае пользуются, но которой они боятся и с которой они не хотят делить своих прав и привилегий. Добролюбов противопоставляет графа Кавура Гарибальди и Гавацци.

[1] Том VII, стр. 261, 262. «Литературные мелочи прошлого года».

Кавур — либерал, усыпляет революционную бдительность народа, боится крайних мер, обделывает свои политические дела за спиной народа. Гарибальди, Гавацци — революционеры, они двигают народные массы для осуществления их конечных целей, они с народом, они преодолевают все трудности. Критик как бы спрашивает своего читателя: кто же лучше, благороднее, за кем нужно итти — за либералом Кавуром, который боится риска, лавирует между классовыми силами, предавая интересы народа, или же за Гарибальди, который осуществляет свою программу отважно, смело, не боясь потерять жизнь свою и своих товарищей? Параллель сделана так, что все симпатии неизбежно на стороне Гарибальди. Граф Кавур — это приказчик Наполеона III. В итальянских статьях Добролюбов заботился не столько о точности своих оценок политики Кавура, — должен был он заключать союз с Францией или нет и т. п.,— сколько о сближении Кавура с русскими либералами.

Кавур получил прекрасное образование. В чине инженерного лейтенанта он «вдруг оказался вольнодумцем, либералом и чуть ли не противником власти». Когда он был в Генуе и наблюдал за постройкой укреплений, либерализм его достиг такой степени, что ему пришлось выйти в отставку, так как власти не могли терпеть его на видных постах. И двадцатидвухлетний юноша, «сын богатых знатных родителей», «человек неглупый и честолюбивый», с запавшими в голову либеральными идеями, «предался тому образу жизни, который так обыкновенен и так знаком многим «передовым» людям недавних времен в разных странах Европы... Это жизнь созерцательного, платонического либерализма, крошечного, умеренного и не иначе переводящегося от слов в дело, как тогда, когда уже оставаться в бездействии становится невыгодно и даже, пожалуй, опасно. Этих людей немного повсюду, может быть, даже наши читатели припомнят несколько знакомых в подобном роде». Фразу о знакомых царская цензура в свое время выкинула: она поняла, что тут прямой намек на русских либералов. Царская цензура не хотела дискредитировать либерализм так жестоко, как делал это критик, она боялась, что так называемое передовое общество, разочаровавшись в либерализме, пойдет за революционной демократией.

Добролюбов же бил либералов беспощадно, до смерти. Продолжая характеристику Кавура, он отчеканивал: «Люди эти не настолько тупы, чтобы не понимать дикости некоторых диких вещей, и потому охотно говорят против этой дичи, говорят обыкновенно тем охотнее, чем менее представляется им возможности перейти от слов к делу... Но — или по темпераменту, или по своему внешнему положению — они никак не могут дойти до последних выводов, не в состоянии принять решительных радикальных воззре-

ний, которые честного человека обязывают уже прямо к деятельности, к пожертвованиям... Нет, девиз таких людей — не делать зла (т. е. как они понимают опять) и даже по возможности делать добро, когда это не представляет ни малейшего риска. Дальше они нейдут» [1].

Так нарисована жизнь графа Кавура от его рождения до того времени, когда он сделался фактическим распорядителем целого королевства. Буржуазные историки указывали, что Добролюбов не всегда прав в оценке Кавура, что он, отмечая, например, симпатии графа к половинчатой политике О'Коннеля, упустил из виду, что Кавур выступал за передачу землевладений фермерам, нанося этим решительный экономический удар лендлордам, что несколько выходило в те времена за рамки умеренного либерализма. Мы не будем разбираться в этих деталях, не в них дело. Вопрос в оценке всей деятельности, в оценке сущности этой деятельности, сущности либерализма. Тут критик всецело прав.

Характеристика Кавура целиком приложима к русским либералам. Можно утверждать, без боязни впасть в ошибку, что приведенная нами цитата продиктована не столько итальянскими событиями, сколько деятельностью русских либералов. Тут тот же самый прием, что и при характеристике Бурбонов. Читая о графе Кавуре, русский человек опять невольно приходил к выводу: а разве наши либералы лучше? В положении Кавура они не будут смелее, героичнее, последовательнее; слишком они похожи друг на друга.

Ту же самую цель Добролюбов преследовал, когда проводил параллель между Кавуром и Монталамбером. Тут опять не следует искать исторической точности. Монталамбер — умеренный либерал, трус, боится Наполеона III, враг революционных настроений, а тем более революционных движений. Деятельность его и его партии критик рисует в отвратительных красках. «Не умея вовремя составить сильную оппозицию и до конца ее выдерживать, они вместе с тем и не умеют вести себя после того, как потерпят поражение. Они не столько тверды характером и не столько преданы своим убеждениям, чтобы открытую борьбу за них продолжать, несмотря на все неудачи, и умереть с оружием в руках. Они не в состоянии отказаться от своих родовых привилегий общественного значения, жизненного комфорта и т. д., для того, чтобы неуклонно служить своему делу. Да и зачем же отказываться? Никто такого самоотвержения не требует; собственная совесть спокойна; убеждения находятся в таком положении, что допускают легкую возможность помириться с противоположными нача-

[1] Том VIII, стр. 442. «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура».

лами. Чего же лучше? Пока разногласие только в теории, в общих положениях, то стоит ли придавать ему значение? А на практике лично до нас, авось, дело и не дойдет... И человек успокаивается таким образом и довольно равнодушно сносит свое положение, пока действительно что-нибудь не заденет его самого лично. Тогда он возобновляет прежние вопли о неприятности своего положения, которое, впрочем, сам предпочел тем лишениям, с какими сопряжено было продолжение борьбы» [1].

Эта характеристика резче, жестче, грубее, чем характеристика русских либералов, идеалистов 40-х годов. Добролюбов не отказывал последним в убежденности, страстности, глубоком желании служить народу и т. п., но ведь русские либералы были молоды в общественном смысле, а Монталамберы — люди пожилые, солидные, с опытом: они уже изжили необузданные желания, несбыточные мечты, безумный героизм. На все это они смотрят свысока, как на детскую забаву, часто мешающую настоящему делу. Это, конечно, не Онегины, не Печорины, не Рудины. Это Монталамберы, «они сами своим образом действий способствовали возвышению нынешнего правительства; они боялись широкой свободы прений еще прежде, чем явилась февральская революция. После же февральской революции легитимисты еще более перепугались, что им не дадут свободы, соединенной с покоем, и из страха крайней республиканской партии подали руку ультрамонтанам и орлеанистам. Сам Монталамбер, по сознанию даже сторонников и панегиристов его, был в это время перепуган французской свободой и сильно поддерживал все репрессивные меры, не желая ничего, кроме порядка. Порядок и водворился при Людовике Наполеоне» [2].

Первое и основное сродство двух графов критик нашел в том, что оба графа «всегда старались держаться в пределах умеренности», находя, что «опасно плыть против течения». Монталамбер в 1852 г., говоря о боязливом молчании, наложенном на Францию вследствие coup d'état, рассуждал так: «Это, без сомнения, полезная и даже необходимая гигиена, и конечно я не захочу быть первым в отрицании ее законов». Оба графа не шумят из-за «минутных интересов», — у них глубокие «вечные идеи». Эти вечные идеи в конкретной политической обстановке претворяются в другие более специальные: права аристократии, сладость парламентаризма, отвратительность быстрых переворотов, умеренная свобода, ограниченная законность, законность, поддерживаемая союзом аристократии и духовенства. Оба графа много говорят о свободе, но, «чтобы свобода не была уж слишком свободна, оба графа

[1] Том VIII, стр. 175. «По поводу одной очень обыкновенной истории».

[2] Там же, стр. 176.

готовы на все». Они боятся, когда свободу берет сам народ, они предпочитают свободу «даровать» народу. Оба графа бесконечно говорят о благе народа, о честности, но своего благополучия не забывают ни на одну минуту. Граф Монталамбер превратился «в министра иностранных дел католицизма»; граф Кавур нашел «другую штуку»: он заключил союз с Бонапартом, «союз, который уже стоит Италии осмеяния и позора и еще будет стоить ей новой крови». Можно ли при таких условиях говорить о честности и о благе народа? Предательство революции никогда не отвечает интересам народа. Всякий граф на их месте действовал бы так, как они, бросает критик замечание, кончая характеристику.

В письме «Из Турина» Добролюбов мимоходом выводит еще одного либерала-проповедника, который не любит гарибальдийцев, боится Маццини настолько, что шопотом произносит его имя. Он боится, как бы власть не попала в руки Маццини и его партии.

Память об этих предателях народа, изменниках революции остается в народе навсегда. Этот погребальный аккорд звучит во всех итальянских статьях; не менее сильно он звучит и в рассуждениях о русских либералах.

Статья «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» заканчивается значительным разговором Добролюбова с одним сицилийцем. Монолог сицилийца, несомненно, сочинен самим Добролюбовым, он был ему нужен как общий вывод и как призыв к революции.

Вот этот заключительный аккорд: «Дорога прогресса для Италии, как и вообще для человечества, узка и трудна, и стерегут ее люди, заинтересованные в том, чтобы народ не шел по этой дороге. Находится отважный человек, пробирается мимо сторожей, выбегает на эту дорогу и зовет за собой других. Таков был в Италии, положим, основатель общества «Юной Италии». Его начинают преследовать, его ловят, в него стреляют; он не сходит с дороги и все зовет. Голос его доходит до сограждан. Более смелые кидаются по тому же направлению, но дорога затруднена хуже прежнего, стража умножена, по сторонам стоят крепости и батареи. Самые пылкие бросаются вперед, несмотря ни на что, и погибают... За ними идут другие, за другими третьи, все сражаются, все пролагают дорогу, и после многих неудач находят, наконец, своего Гарибальди, — рушат враждебные крепости, овладевают батареями, прогоняют стражу и открывают всем дорогу. Тогда по ней пойдет толпа, предводимая Кавуром. Кавур — это благоразумие. Покамест была опасность, он стоял в стороне и говорил: «Не ходите — погибнете». Некоторые не слушались, шли и погибали; толпа видела это и убеждалась, что почтенный человек говорит правду. А он все больше и больше собирает около себя народу и уверяет: «Я знаю, когда надо будет итти; поверьте, что

я вас приведу во-время и безопасно: положитесь на меня». И точно, пришло время, он сказал: «пора!» Толпы прошли спокойно и рассудили: «Вот это—так человек! Прежние головорезы или погибали или терпели страшные потери, чтобы пройти, а этот умел выждать время и как отлично провел нас». И человек этот делается в глазах толпы истинным вождем и спасителем, единственным мудрецом, на которого можно положиться... И многие ли хотят подумать, что ведь он только воспользовался работой прежних «сумасбродных головорезов», мало того, что он затруднил путь прогресса, собирая около себя праздными зрителями тех, которые без его увещаний, может быть, сами пошли бы на дело, увеличили силу тружеников и сделали бой менее трудным, победу более скорою и верною... Если бы этот благоразумный господин не удерживал вокруг себя толпы, может, все они бросились бы, и «безумное» предприятие головорезов оказалось бы не безумным, и они сами не погибли бы, а увенчалось успехом... Рассудите хорошенько и скажите: в какой мере нравственно и чисто добыт успех этого воздержателя горячих стремлений и решительных мер?.. Он окружен славою, почетом, о нем кричит вся Европа; он создает Италию (упрочивая себе в то же время состояние в 40 000 000 франков), ему удивляются, что он работает по 14 часов в день над дипломатическими нотами в своем роскошном кабинете... И в то же время забрасывают грязью, позорят и осмеивают людей, которые идут заведомо всем к той же великой цели, терпя на своем пути и нищету, и одиночество, и клевету, и изгнание, и тюрьму, и при всем том сохраняя больше бодрости и веры, нежели могучий министр, претендующий ворочать судьбами государств... И он сам не совестится бросать в них камнем, в них, которых труды и страдания вырастили для него такие сладкие плоды»[1].

Политический смысл этого аллегорического монолога сицилийца ясен: народ в революции должен итти самостоятельно, до конца, до завершения революции, не поддаваясь умным и благоразумным увещаниям всякого рода либералов. Взяв власть, либералы начнут бросать камни в тот самый народ, который привел их к власти, и всякими учеными разговорами о прогрессе будут повертывать революционные завоевания против народа, используя их в своих классовых интересах.

Этим концом статьи Добролюбов предупреждал русскую революционную демократию, чтобы она не поддавалась сладким речам русского либерализма, не допускала положения, аналогичного итальянским делам, не давала себя усыпить, обмануть, а шла своим путем без боязни, с отвагой, вперед, в бой. Только в этом

[1] Том VIII, стр. 507. «По поводу одной очень обыкновенной истории».

смертном бою, только в единстве с народом, в его собственной силе успех крестьянской революции в России. Царская цензура исковеркала весь разговор Добролюбова: она понимала его цель, его значение. Понимали это и все читатели «Современника».

★

Дав отвратительный образ государственного деятеля, постепеновца-либерала, Добролюбов дал и образ демократа-революционера. Этот образ в силу политических условий он не мог дать цельным, во всей полноте. Отдельные черты разбросаны в различных статьях критика, но эти черты, собранные воедино, дают яркий, сильный характер. Молодое поколение — это революционная демократия. Молодое поколение прежде всего «приучает себя к строгому различению дел от слов, фактов от предположений, живых явлений быта от мертвых, не перешедших еще в жизнь законоположений». Проводя размежевание между старым и новым поколением, устраняя всякую возможность к примирению и сближению их, критик категорически заявляет: «Без фактов мы не даем веры ни одному высокому стремлению, ни одному красноречивому возгласу». Красноречивых возгласов в стране много. Молодое поколение рассматривает их как определенное общественное направление, вредное для народного дела, направление, с которым оно должно вести непримиримую борьбу. Молодое поколение резко и, может быть, не всегда справедливо заявляет, что предыдущие поколения не сделали «ничего путного», но все же факт остается фактом. Нужно было разрушить самодержавно-крепостную Россию; старое поколение разрушить ее не смогло и, прожив жизнь, обнаружило полное политическое банкротство. «В их понятиях и привычках всегда бродила закваска крепостных воззрений, и вся жизнь их слагалась, с самого начала, под влиянием крепостного устройства. Пригнетая и сдавливая одних внешним образом, оно, в то же время, еще решительнее, внутренно и существенно, губило и тех самых, которые хотели жить угнетением других. Оно их расслабило, опошлило, развратило, обездушило и сделало гораздо ничтожнее и негоднее тех, которых они эксплоатировали своим произволом».

Молодое поколение считает себя совершенно свободным от этого развращающего влияния. Оно пришло из других социальных слоев, которые не жили крепостным трудом, которым самодержавие мешало жить их умственным трудом. Молодое поколение — мелкая буржуазия, разночинцы. Это преимущественно дети среднего и бедного духовенства, провинциального чиновничества, низшего офицерства, дети разорившихся дворян, помещиков, купцов, мещан; это люди свободных профессий, химики, механики, техники, медики, ветеринары; специалисты, вызванные к жизни

развитием в стране капитализма. Все они прекрасно сознавали свое особое общественное положение, как особой социальной группы, у которой нет ничего общего с дворянским либерализмом. Если буржуазия, промышленная и земельная, удовлетворялась программой нового царствования, крестьянской реформой, если она опасалась смело встать на путь широкого и свободного капиталистического развития, если она была еще заинтересована в сохранении своих различных феодальных прав и привилегий, то разночинцы, мелкая буржуазия, особенно ее левое крыло, демократы-революционеры, шли к революции, к свержению самодержавия. Отыскивая себе место в мире, они были кровно заинтересованы в развитии капитализма и уничтожении всего, что препятствовало этому развитию.

Мелкая буржуазия, разночинец, по своему классовому сознанию и своим классовым интересам, не был однороден. Его классовая сущность определялась его фактическим положением в обществе, тем местом, которое отводил ему капитал, ставя к себе на службу его интеллектуальную силу. Одно дело организатор предприятия — директор, одно дело — высшая техническая интеллигенция: механики, химики, инженеры и т. п.; одно дело — директора банков. И совершенно иное дело — люди науки, профессора, литераторы, врачи, землемеры, педагоги и весь мелкий служащий люд. Да и среди второй группы люди различны по своим классовым установкам. Писарев определился под конец жизни как защитник индустриализма, культурного капитализма, со ставкой на избранных, на образованных, колеблющийся между революцией и мирным путем развития, с нелепой надеждой на мирное разрешение рабочего вопроса, с неверием в силы народа, крестьянства. Лозунгу крестьянской революции он предпочел лозунг культурного капитализма. Иначе выступали Чернышевский и Добролюбов. Это последовательные революционеры, великие социалисты своего времени, великие демократы. Они ориентировались на народную крестьянскую революцию. Они боролись со всеми попытками «замазать трещину» в общественном организме, «удовлетвориться полумерой». Они звали итти «решительнее и тверже». В противовес либералам Добролюбов предлагал «немедленно пустить в оборот весь капитал, сколько его найдется».

Если недоразвитость капиталистических отношений, воспоминания о французской революции 1789 г. и революции 1848 г., о Разине и Пугачеве, страх перед крестьянскими восстаниями делали русскую буржуазию и дворянство неспособными итти даже по следам умеренного европейского либерализма, то мелкая буржуазия, ее революционно-демократическое крыло, брала на себя разрешение и тех задач, которые должна была разрешать крупная буржуазия.

В разборе «Губернских очерков» Щедрина Добролюбов отмечает, что «в обществе молодом, не успевшем еще основательно переработать всех своих взглядов и мнений, не успевшем, по причине неблагоприятных обстоятельств, развить в себе самоопределяемость к действию (говоря по-ученому), непременно являются два главных разряда людей. Одни — вполне пассивные, безличные и крайне ограниченные как в своих способностях, так и в потребностях. Эти—смирны; они не волнуются, не сомневаются и не только не выходят из своей колеи, но даже не подозревают, что можно из нее выйти». «Эти уже люди убитые, безнадежные; нечего ждать от них, нечего стараться направить их в хорошую сторону». «Они, как балласт на корабле, дают только устойчивость кораблю общества против бурных ветров и толчков взволнованного моря». Другую половину молодого общества составляют те люди, которых называют «современными героями», «провинциальными Печориными», «уездными Гамлетами», наконец «талантливыми натурами». Кто же лучше? «В настоящее время, — пишет Добролюбов, — они *оба хуже*, и горе тому обществу, которое долго остановится на этих двух категориях и в котором не будет с года на год увеличиваться число спасительных исключений. Но у молодого, еще не совсем развитого общества есть будущее. И для этого будущего второй разряд людей, т. е. люди с размашистыми натурами, дают все-таки несравненно больше хороших надежд, чем убитые существа без всяких стремлений. Они, по крайней мере, не будут иметь такого парализующего влияния на деятелей следующих за ними поколений, потому что в них есть уже хоть смутное предчувствие истины, хоть робкое, слабое оправдание молодых порывов» [1]. Этим двум разрядам людей критик и противопоставляет третьих. Эти живут фактами, мечты и иллюзии они отбрасывают; они не довольствуются прекрасными теориями, а требуют живого дела; они энергичны, активны; они понимают интересы народа и готовы на какую угодно опасную борьбу. Их ничто не смущает. Они предопределили себя как жертву за народное дело. Крепким дело они считают тогда, «когда под ним струится кровь». Из этих рядов и выйдут вожди народного освобождения. Добролюбов видит, что «везде и во всем заметно самосознание, везде понята несостоятельность старого порядка вещей, везде ждут реформ и исправлений, и никто уже не успокаивает своих детей песнью о том, что непостижимое совершенство представляет современный порядок в России. Напротив, теперь каждый надеется, и дети теперь подрастают, напитываясь надеждами и мечтами лучшего будущего, а не привязываясь насильственно к трупу отжившего прошедшего. Когда придет их

[1] Том III, стр. 360—364.

черед приняться за дело, они уже внесут в него ту энергию, последовательность и гармоничность сердца, о которых мы едва могли приобрести теоретическое понятие».

Первыми такими людьми были Чернышевский, Добролюбов и многие революционные деятели 60-х годов, а главным образом 70-х годов.

VI

Общие исторические взгляды и понимание положения в России, естественно, определили взгляды Добролюбова и на путь развития России и на ближайшие политические задачи. Добролюбов оказался очень трезвым политиком. Будучи убежденным социалистом, он не в пример деятелям следующего десятилетия, социалистам-народникам, понимал, что Россия должна пройти путь капиталистического развития, но покуда она — страна самодержавно-крепостническая. Как революционер, он допускал исторические скачки, отвергал мысль о медленном, постепенном, черепашьем движении прогресса, но в то же время он сознавал, что от крепостного хозяйства переход к социализму лежит через капитализм, хотя он вместе с Чернышевским и не отрицал при известных условиях возможности крестьянско-социалистической революции. Он ведет ожесточенную полемику со славянофильством.

Свою замечательную статью «От Москвы до Лейпцига» Добролюбов так и начинает: «Две великие партии существуют издавна между русскими учеными по вопросу об отношениях России к другим народам Европы. Одна партия выражает свое убеждение на этот счет формулою: «Россия цветет, а Запад гниет...» «В противоположность первой великой партии, сейчас охарактеризованной нами, другая должна бы говорить: «Нет, Россия гниет, а Запад цветет». Но столь крайней и резкой формулы до сих пор в русской литературе еще не появлялось и, конечно, не появится, ибо никто из нас не лишен патриотизма». Дело тут, конечно, не в патриотизме, а в том, что критик имел определенные материалистические взгляды на развитие общества и понимал путь развития России. Путь этот сложен, многообразен, зависит от ряда причин, обусловливающих развитие государства данного народа, но ни один народ не минует в своем развитии указанных историей этапов.

С верой в большие силы, таящиеся в русском народе, Добролюбов сознавал, что как ни забита Россия, как ни страшна и ни мучительна жизнь в ней, найдутся классовые силы, которые выведут ее на путь Западной Европы, на путь капиталистического развития. Если Белинский только ставил вопрос о капиталистическом развитии России и обсуждал его теоретически, то Добролюбов намечал конкретные пути капитализма в России и одновре-

менно указывал, что и в какой мере нами может быть взято от Европы.

Славянофильскую теорию он сравнивал с песней оборванного мальчишки в турецкой кофейне, который напевал: «Если б Черное море наполнилось вместо воды чернилами, то и его недостало бы описать, как сильна и богата Турция, сколько в ней войска и денег и как все народы завидуют ее сокровищам, могуществу и славе».

Западная партия, наоборот, утверждает: «Каждый народ проходит известный путь исторического развития; Запад вступил на этот путь раньше, мы позже; нам остается еще пройти многое, что Западом уже пройдено, и в этом шествии, умудренные чужим опытом, мы должны остеречься от тех падений, которым подвергались народы, шедшие впереди нас». Эту позицию критик считает «гораздо более умеренной и основательной».

Отстаивая западноевропейский путь развития России, Добролюбов одновременно отмечал, что это ни в какой мере не умаляет и не уничтожает нашей самостоятельности. Все народы идут одним путем, и мы не являемся «выродками человечества».

Если одни, как, например, Тургенев, имели в виду Запад капиталистический, с его конституцией, демократией, гражданскими свободами, с парламентом; если другие, вместе и вслед за Герценом, видели на Западе после поражения революции 1848 г. только сытое, тупое, торжествующее мещанство, от которого никому нет спасения, которое заволакивает своей вонючей тиной всю общественную и личную жизнь, то Добролюбов смотрел на Запад постольку, поскольку России неизбежен капиталистический путь развития. Он не видел спасения России ни в ее пресловутой самобытности, ни в конституционно-парламентском строе. Зная неизбежность капитализма в России, отстаивая его как очередной этап развития после падения самодержавно-крепостного режима, Добролюбов искал на Западе и изучал те революционные силы, которые должны взорвать капитализм и построить социалистическое общество. Герцен разочаровался в революционных силах Запада, впал в пессимизм, утерял революционный взгляд в будущее; Добролюбов, призывая следовать Западу, учил, чтобы мы, учитывая западноевропейский опыт, старались избегать ошибок, которые наделал Запад, и тем облегчили страдальческий путь России. Он надеялся, что мы с пользою для себя учтем уроки Запада. Под ошибками критик разумеет ошибки революционных партий, которые не всегда умели отстаивать свои классовые интересы и даже сдавали свои позиции противникам, последние же тормозили развитие революции и расстреливали ее при первом удобном случае.

В этом пункте Добролюбов вынужден был говорить эзоповским

языком, но все его исторические и политические статьи свидетельствуют о том, что под учебой у Запада критик разумел учебу, как делать революцию. Ошибки надо исправлять, не падая духом, не отступая в смятении, в беспорядке, теряя свои позиции, становясь на путь компромисса с явными врагами или сомнительными друзьями. Добролюбов сознавал, что приближающаяся отмена крепостного права, в какие бы формы она ни вылилась — в радикальные или умеренные, неизбежно ставит Россию на путь европейского развития. Ход дела ему представлялся в таком виде: «Мы еще только готовимся вступить на тот путь, которым прошла Европа; мы еще недавно и глядеть-то стали на ее путешествия и едва начинаем различать дорогу. От этого идем мы робко, неровно, как бы ощупью; от этого кажется, что у нас нет инициативы. Но мы чувствуем надобность итти, хотя бы до первой станции, нам нельзя оставаться на одном месте, нельзя и остановиться на дороге. Ясно, что начало нашего пути должно быть совершаемо с большею решимостью, спешностью и твердостью, нежели продолжение пути, которое мы видим теперь у других народов. Наши нужды настоятельнее, без удовлетворения их труднее прожить, нежели без удовлетворения того, к чему стремятся теперь европейские народы. Брайтовская реформа в Англии, свобода прессы во Франции, требуемая каким-нибудь Фавром или Оливье, без сомнения, вещи нужные, и, со временем, они будут достигнуты, но для них время еще терпит, они далеко не так существенны и настоятельны, как законное обеспечение гражданских прав и материального быта миллионов народа, до сих пор более или менее терпевших от тяжелого влияния произвола. Для этих миллионов дело идет не о какой-либо прибавке к правам, которые они уже приобрели прежде, а чисто-начисто о создании хоть каких-нибудь прав, потому что под влиянием крепостного принципа они, если не de jure, то de facto не имели вовсе никаких» [1].

О каком же пути, которым прошла Европа, говорит Добролюбов? Прежде всего он имеет в виду буржуазную французскую революцию, переведшую Европу из феодализма в капитализм, а равно и революции 1830 и 1848 гг., когда народ боролся за расширение своих прав, был побежден и обманут ставшей у власти буржуазией.

Как известно, крестьянская реформа 1861 г. проводилась в интересах помещиков, проводилась под давлением исторического процесса обуржуазивания России; она шла по прусскому типу развития, как характеризовал положение тов. Ленин, а не по американскому. Создавались крупные помещичьи латифундии, а не

[1] Том V, стр. 61. «Характеристика русского простонародья».

мелкие фермерские хозяйства. Добролюбов в этой обстановке звал начать путь «с большей решимостью, спешностью и твердостью». Он призывал к спешности, опасаясь, что нарастание народного стремления к воле, крестьянские волнения могут ослабнуть, раз будет упущен подходящий момент; опасаясь, что часть народа будет обманута правительством и либералами, а часть успокоится на полученном. Он призывал к решимости, веря, что раз начнется крестьянское движение, а оно, как известно, нарастало, то оно может подняться до вооруженного восстания, а если и не выльется в эту форму, то все же заставит правительство быть более уступчивым к требованиям народа. Он призывал к твердости, боясь, что если не будет положено прочное начало пути, то путь этот может прерваться, можно даже застрять на станции отправления, т. е. не выбраться из оков крепостного хозяйства, или двинуться вперед, не дойдя до первой станции, поскольку остатки крепостного хозяйства будут тормозить капиталистическое развитие страны. Добролюбов мыслил, что Россия, двинувшись в путь, не может оставаться на одном месте или где-либо в дороге; она должна итти до полного уничтожения крепостного строя, чтобы остатки его не тормозили капиталистического развития.

Успехи, достигнутые на этом пути, не конечные успехи. Как социалист, Добролюбов стремится к самой конечной станции. Путь этот длинен, сразу его не одолеть, не пройти. Как реальный политик, он видит очередность исторических задач, ту последовательность, с которой мы должны разрешать политико-экономические задачи. Он хочет обеспечить капиталистическое развитие страны, а потом уже поставить так же решительно задачу и относительно дальнейшего пути к социалистическому обществу.

Нам могут указать, что это заявление слишком категорично и, прежде чем его делать, следовало бы выяснить вопрос, каково было отношение Добролюбова к общине, как он мыслил крестьянскую революцию, — как революцию социалистическую или как буржуазную. Иначе, находил ли критик неизбежным и закономерным создание социалистического общества на основе существующей крестьянской общины? Вопрос, может быть, и законен, но он не дает ничего нового для уяснения взглядов Добролюбова по выдвинутому вопросу.

Об общине Добролюбов не писал, этим вопросом специально занимался Чернышевский. Когда же ему в статье «Литературные мелочи прошлого года» (1859 г.) пришлось затронуть вопрос об общине, он с первых же строк сослался на Чернышевского, заявив, что «вопрос об общине возбужден был и поддерживался постоянно в «Современнике». Поэтому мы не имеем надобности распространяться о нем», тем более, что «Чернышевский нашелся вы-

нужденным преподать своим противникам несколько элементарных сведений философских и политических». Добролюбов с несомненностью имеет в виду статью «Критика философских предубеждений против общинного землевладения», напечатанную в декабре 1858 г. Эта ссылка позволяет нам говорить, что в вопросе об общине Добролюбов и Чернышевский в основном стояли на одних и тех же позициях.

Однако нам нет необходимости останавливаться подробно на взглядах Чернышевского на общину. Вопрос этот в марксистской литературе разработан достаточно обстоятельно и специально разработан Плехановым. Точный и ясный ответ дал тов. Ленин. Ограничимся поэтому несколькими справками.

Вопрос о том, может ли Россия быть страной социалистической, минуя капитализм, был поставлен Чернышевским в 1857 г. Он указывал, что Западная Европа общинное землевладение изжила, но в России, которая еще долгое время останется страной земледельческой по преимуществу, «в настоящее время благо государства, тождественное с благом большинства земледельческого населения, требует сохранения общинного пользования землей».

Однако Чернышевский защищал общину не отвлеченно, не безусловно. Когда взгляд Герцена, что Россия со своей общиной — «практическим социализмом», явится спасителем и обвинителем Европы, стал распространяться и укрепляться, против него выступил не только Маркс, но и Чернышевский.

В предисловиях ко 2-му русскому изданию «Манифеста коммунистической партии» Маркс и Энгельс в 1882 г. писали: «Спрашивается теперь: может ли русская община, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного коллективного владения землей — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму землевладения? Или, напротив, она должна пройти сначала тот же процесс разложения, который определяет собой историческое развитие Запада? Единственный возможный в настоящее время, ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом рабочей революции на Западе, так что обе они пополнят друг друга, то современное русское землевладение может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

Чернышевский отстаивал общинное землевладение, тоже с учетом социально-экономической обстановки, правда, не в международном масштабе, а в России; он выставлял два следующих условия: чтобы «рента принадлежала тем лицам, которые участвуют в общинном землевладении», и чтобы земельная рента была «необременена кредитными обязательствами, вытекающими из самого его получения». Когда же стало совершенно ясно, что крестьянская реформа «мерзость», что «изменены были формы от-

ношений между помещиками и крестьянами с очень малым, почти незаметным изменением существа прежних отношений», Чернышевский перестал защищать общину. Свою известную притчу о провизии[1] он закончил словами: «Как я был глуп, — что хлопотал о деле для полезности которого не обеспечены условия». К концу 1858 г. Чернышевский прекрасно сознавал, что в России нет нужных условий для того, чтобы община стала основой социалистического общества. Он оценивал положение так, что не находил «причин горячиться даже из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне, тем меньше из-за того, кто станет освобождать их, либералы или помещики». По его мнению, «все равно. Или помещики даже лучше». Касаясь этой притчи, Ленин отметил те места, которые «рельефно показывают глубокое и превосходное понимание Чернышевским современной ему действительности, понимание того, что такое крестьянские платежи, понимание антагонистичности общественных классов». Наконец, давая объяснения следственной комиссии на допросе 14 марта 1863 г., Чернышевский заявил, что общинное владение он «постоянно защищал», но «все-таки выражал сомнение, удержится ли оно против расположения к потомственному землевладению».

Условность защиты социалистической роли общины со стороны Чернышевского видел Огарев, который обвинял его в измене. Кочаровский, Н. Анненский, Овсянико-Куликовский и некоторые другие вместе с Плехановым признавали «тот исторический факт», что Чернышевский никогда не был народником, хотя народники и находили в его сочинениях доказательства в свою пользу.

Наконец и сам Чернышевский стыдился (1859 г.) самого себя, ему было «совестно вспоминать о той самоуверенности, с которою» он «поднял вопрос об общинном владении». Он так и писал: «Этим делом я стал безрассуден, — скажу прямо, стал глуп в своих собственных глазах». Он видел, что России не миновать пути капиталистического развития. Впрочем, об этом он говорил и раньше, еще в 1857 г.

Поскольку Добролюбов и Чернышевский были единомышленники, и мы не располагаем никакими материалами, свидетельствующими о каких-либо разногласиях между ними по вопросу об общине, то все сказанное о Чернышевском должно быть целиком перенесено на Добролюбова, даже, может быть, с некоторою большей категоричностью. Если Чернышевский одно время прислушивался к славянофилам и даже кое в чем с ними соглашался,

---

[1] *Н. Г. Чернышевский*, т. IV, стр. 307. «Критика философских предубеждений против общинного владения».

разрывая в этом пункте с Белинским, то Добролюбов к славянофилам занимал самую резко отрицательную позицию.

Идя к социализму, он ориентировался на Запад, на капиталистическое развитие России. Это и заставило его обратиться к вопросам чисто и узко политического характера, которыми не занимались или очень мало занимались западноевропейские социалисты-утописты и наши народники. Тов. Ленин указывал: «вера в коммунистические инстинкты мужика, естественно, требовала от социалистов (народников-революционеров 70-х г. — *В. П.*), чтобы они отодвинули политику и «шли в народ». Чернышевский же стоял за политику и даже понимал, что политика дело «грязное». Ленин не раз с удовольствием вспоминал заявление Чернышевского: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болото, то через дебри. Кто боится быть покрытым пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие благотворное для людей, но занятие не совсем опрятное». Это очень характерное заявление.

Вопросы политики заставили Чернышевского и Добролюбова обратиться к ряду политических проблем, к характеристике государства, конституций, парламентаризма, либерализма и т. д.

Как же Добролюбов разрешал все эти вопросы?

Добролюбов знал, что конституции буржуазной Европы довольно разнообразны. Он за самую демократическую, но он твердо убежден, что какая бы демократическая конституция ни была, она поставит у власти буржуазию, она не может удовлетворить интересов народа, крестьянства, она оставит их на положении тружеников, хотя бы уже и свободных, но неизбежно эксплоатируемых промышленностью и земледелием. Народ будет в рабской зависимости или от фабриканта или от помещика. Это критик видел на опыте Западной Европы. Он сознавал, что буржуазный строй Европы не идеал, — он понимал, что и «Европа тоже имеет будущее, и очень светлое», т. е. и она будет социалистической.

«Нам еще нужно пройти большое пространство, чтобы стать на то место, на котором стоит теперь европейская жизнь», рассуждает критик. Он хочет, чтобы Россия, несмотря на все трудности, «достигла хоть того, что теперь есть хорошего в Западной Европе, но при том уберегласъ от всех ее ошибок, заблуждений, отвергла все, что было вредного и губительного в европейской истории». Оговорка «хоть того» многое раскрывает для читателя. Она указывает ему, что критик знал, что буржуазная Европа не конечная станция, а промежуточная.

Добролюбов знает, что «совершенно логического, правильного, прямолинейного движения не может совершить ни один народ» и

все же он надеется, что русский народ совершит ошибок меньше, чем другие европейские народы. «Счастье наше, что мы позднее других народов вступили на поприще исторической жизни. Присматриваясь к ходу развития народов Западной Европы и представляя себе то, до чего она теперь дошла, мы можем питать себя лестною надеждою, что наш путь будет лучше»... «Наш путь облегчен; все-таки наше гражданское развитие может несколько скорее перейти те фазисы, которые так медленно переходило оно в Западной Европе. А главное, мы можем и должны итти решительнее и тверже, потому что уже вооружены опытом и знанием» [1].

Призывая к решительности, Добролюбов всячески осуждал полумеры и компромиссы... Он твердо учил: «Желание помочь *как-нибудь и хоть сколько-нибудь*, замазать трещину хоть на короткое время, остановиться на полдороге к цели, удовольствоваться полумерой, в надежде, что потом *авось* это сделается само собой, по неминуемым законам прогресса, — такое направление деятельности вовсе не есть исключительное свойство русского человека, как полагают некоторые патриоты. Так поступали деятели всех народов Европы, и от этой невыдержанности происходила, разумеется, большая часть их неудач. В этом смысле мы признаем, что народы Западной Европы постоянно впадали в ужасную ошибку. И тем более мы удивляемся, каким образом могут некоторые ученые люди защищать благодетельность *паллиативных* мер для будущего прогресса Западной Европы и отвергать реформы общие и решительные, как гибельные для ее благоденствия» [2].

«Будущий прогресс Западной Европы» — это социализм. «Реформы общие и решительные» — это социалистическая революция. Всякие паллиативные меры — только задержка прогресса.

Добролюбов оказался неплохим пророком. В октябре 1917 г. российский пролетариат, под гениальным руководством тов. Ленина, учтя опыт европейских революций, всего европейского рабочего движения, привел Россию к социалистическому обществу, к той последней станции, о которой так страстно и мучительно думал молодой революционер и демократ Добролюбов.

Взгляд Добролюбова на положение дел в Европе и России ясен. Европа совершила буржуазную революцию, но это не все, этого «еще слишком мало»: Европу ожидает эпоха новых революций, социалистических, в результате которых будет уничтожена собственность, а государственная власть будет в руках трудящихся. Этих революционных потрясений она избежать не мо-

---

[1] Том VII, стр. 648. «От Москвы до Лейпцига».
[2] Там же, стр. 646.

жет. Россия догоняет Европу, она также должна притти к социализму, но покуда ей еще надо завоевать элементарные права, гражданские свободы и свободу труда. Как эта задача ни скромна, как ни мала, но это задача очередная; только разрешив ее, можно двигаться дальше, догоняя Европу. А догнать Европу Россия может, поскольку она уже имеет перед собою весь европейский опыт.

Характерно одно частное замечание Бабста, на котором остановился критик и которое является для некоторых и сейчас небесполезным указанием. У нас очень часто говорилось о широте русской натуры, о ее размахе, о ее высоком духе, противопоставляя ей скромный, трусливый, крохоборческий дух западноевропейского мещанства. Совсем недавно мне пришлось беседовать с одним из русских писателей, который противопоставлял пьяную натуру русского купца, с его бесшабашными попойками, битьем зеркал в ресторанах, — умеренной, скромной жизни европейского купца, «скромно и честно» наживающего свои капиталы. Этот писатель, несмотря на свое отрицательное к пьяной натуре отношение, нашел в ней широту, нашел протестующее начало, выходящее за рамки мещанства. Мы не будем вдаваться в исторические параллели, выяснять, как сложилась русская «широкая натура», как за нее цеплялись славянофилы и всякие реакционеры в своих доказательствах, что «Запад гниет», а у нас, несмотря на все неустройства, развиваются высшие народные начала. Вернемся к Добролюбову, — он с удовольствием отмечает, что Бабст посмеивается над широкими русскими натурами: «Пусть там и мещанские натуры, да вот умели же устроить у себя то, чего широкие натуры никак не могут добиться при всем своем желании...» Человек дела, враг пустых разговоров, хотя бы красивых и гуманнейших, критик отдает предпочтение тем, кто умеет добиваться себе прав, а не проводить время в пустой болтовне и вздохах.

В этом частном замечании таится глубокая мысль, принципиальная и революционная, имевшая огромное значение в 60-е годы для революционной демократии; мысль эта не утратила своего значения и сейчас. Западноевропейский бюргер, мещанин принимал весьма активное участие в борьбе с феодализмом, но он, как констатировал критик, не пожелал разделить власть с народом, пошел на компромисс с феодалами. Примеров из английской и французской революций можно привести немало, примеры есть поразительные. Мещанин искал тихой, спокойной жизни, дрожа за свое относительное благополучие и удовлетворяясь небольшим. Таково и наше русское мещанство, оно даже забитее. Эта умственная, политическая и даже бытовая ограниченность мещанства была потом перенесена на крестьянство, на про-

летариат. Рассуждали: эту силу можно использовать в разрушительной борьбе, где смерть ходит победительницей, где есть жертвы, где идет вооруженная борьба, но эта сила не может творить, для этого у нее нет соответствующей культуры, образования, знаний, навыков. Это, видите ли, дело высших классов, в руках которых собственность, культура, образование и всякие другие преимущества. Отсюда взгляд на пролетариат как на разрушителя, варвара, а на социалистическую революцию — как на восстание взбесившихся рабов, в своей злобе способных разрушить все достижения культуры, но не создать что-либо новое, высокое в культурном отношении. Отсюда и другой вывод: власть должна быть в руках людей из «класса образованных». Добролюбов предпочел западноевропейское мещанство русским широким натурам, под которыми он разумел, конечно, не пьяных русских купцов, а славянофильствующих политиков и идеологов. Он был прав. К тому же не надо забывать, что мещанство Запада в то время было далеко не тем, каково оно в наше время. За всеми этими рассуждениями лежала мысль, что народ, несмотря на свою «ограниченность», призван совершить революцию, а широкие натуры не только не совершат ее сами, но и мешают народу в его борьбе за свои права. Критик не боялся разговоров о засилии мещанства, он прекрасно понимал, что общественный процесс определяется не мещанством, а другими обстоятельствами, о которых мы говорили выше.

Особенный смысл замечание Добролюбова приобретает в свете пессимистических настроений и высказываний Герцена, надрывно кричавшего, что Европа не способна к революции, что она погибнет в болоте мещанства, с его ограниченностью, трусостью, стремлением к сытой, покойной жизни, с запросами, не идущими дальше своих личных интересов. Критик оказался не только прав, — он смел, мужественен, он не боялся, что его зачислят в ряды идеологов мещанства. А ведь Герцен жестоко нападал и на Чернышевского, и на Добролюбова. С мнением Герцена считались. И все же критик не смутился, а признал, что люди молодого поколения «в самом деле стали мельче, если хотите, и потеряли ту стремительную страстность, которою отличалось прошлое поколение». Они «не умеют блестеть и шуметь», их характер деятельности «более мягкий, осторожный». Он указывает, что эти натуры стремятся к благу человека, к реальному благу, и не могут увлекаться красивыми, но безжизненными принципами. Все это для них «слишком мало имеет значения». Но зато «они гораздо тверже и жизненнее» в борьбе за реальные, хотя бы и самые примитивные права человека и гражданина. Как идеолог крестьянской революционной демократии, как материалист и реальный политик, Добролюбов в своей «защите» западного мещанства

против упреков широких натур защищал в конечном счете крестьянскую революцию. Он как бы предвидел, что и ей бросят упрек в ограниченности, узости, в том, что голодное стадо стремится к сытому корыту, к теплому хлеву, не думая о высотах духа, мысли и т. п. Добролюбов понимал, что хотя народ темен, забит, хотя в нем много мещанства, все же только сам народ может освободить себя, а так называемое образованное общество и всякие высокопарные рассуждения о высотах духа ничему не помогут. Критик понимал, что освобожденный народ поднимется на невиданную высоту духа, но прежде он должен добыть себе хлеб и свободу. Добролюбов так и писал: «не те события обращают на себя особое внимание, которые имеют характер грандиозный или патетический, а те, которые сколько-нибудь подвинули *благосостояние* масс человечества» (курсив наш — *В. П.*). Иначе и не мог думать последователь той философии, которая учила, что бытие определяет сознание, а не наоборот.

Было бы, конечно, величайшей ошибкой, если бы кто-нибудь подумал, что критик вообще защищал мещанство. Критик был не только материалист, но он был и неплохой диалектик. Отмечая историческую роль мещанства на Западе, он противопоставлял эту роль философствующим идеалистам-либералам. Пороки мещанства критик видел, понимал их глубоко, он не восхвалял мещанство, не звал следовать за ним, подражать ему. Признаваясь, что молодое поколение мельче, осторожнее, критик не забывал подчеркивать, что все это не только не мешает борьбе за социализм, но подготовляет ее, способствует ей. Призывая «догонять» Европу с ее конституционно-парламентским строем, он знал, что в ней «не все хорошо», что этот порядок часто превращается в издевательство над народом. Добролюбов, как и Белинский, сознавал, что «внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию». Вместе с Белинским он повторял, что «буржуазия есть, и пока она сильна», «она должна быть и не может не быть». «Промышленность — источник великих зол», «она же — источник великих благ для общества» [1].

Добролюбов, конечно, прекрасно видел, что несет капитализм положительного и отрицательного, к чему ведет парламентский строй, как развертывается классовая борьба.

★

Над парламентом, в котором тогда многие видели голос общественной совести, общественной справедливости, критик зло издевался. Письмо «Из Турина» он начал словами: «Европа, как

[1] *В. Г. Белинский*, Письма, т. III, Спб., 1914, стр. 331.

вы знаете, превратилась теперь в «говорильню», как перевел бы покойный Шишков слово «парламент». Не говоря об Испании и Греции, даже во Франции устроилась маленькая говорильня. А уж на что, кажется, молчаливее нынешней Франции: вот уже десять лет только тем и занимается, что ищет разгадки судеб своих в Монитере, заслужившем от самих же французов название немого (правильнее бы: косноязычного)».

Добролюбов приводит мнение одного соотечественника «благороднейшего образа мыслей». Этот соотечественник видел в парламенте «что-то великое и симпатичное». Видел «залог солидарности и братства народов, забвение старинной вражды» и всяких раздоров. Соотечественник в восторге от парламента; он убеждает других, что нам «невозможно без особенного сердечного волнения видеть это величавое собрание мужей совета, которые приходят со всех концов нового царства, представляя в лице своем интересы народа, еще так недавно не смевшего и думать о своих интересах».

Сконцентрировав все аргументы буржуазного государственного права в защиту парламента, критик на всем протяжении своей большой статьи «Из Турина» вдребезги разбивает самую идею спасительности парламента. Критик издевается над парламентом даже с внешней стороны. Вместо величайшего собрания мужей совета он увидел почтенных лысых. В итальянском парламенте Добролюбова взяла тоска и он рассматривал «почтенных». «Фигур замечательных» он нашел мало; «нечто внушающее» он нашел в другом: он «никогда не видывал такого собрания плешивых и седых волос». Для развлечения он принялся считать лысины и «на одной правой насчитал 63, а между тем в сборе было всего около 200 человек в это заседание... Да еще он не считал в числе лысых таких, как Кавур, например, а брал в расчет лысины только настоящие, открытые, или такие, которых уже и закрыть нельзя иначе, как париком».

И это пишет о парламенте русский человек, народ которого вообще безмолвен и забит; пишет, впервые видя парламент, притом парламент, собравшийся в результате революции, зная, что парламент — сущность государственного буржуазного устройства. Изливая свою язвительность, критик наносит удары парламентаризму, он вскрывает всю «хитрую механику» этого учреждения. Он начинает с описания выборов, выясняя, как министерство старалось подобрать послушных себе депутатов, как происходили подкупы избирателей, как противодействовали избранию левых, рисуя их как «красных террористов, жаждущих крови и раздора», иногда изображая их просто людьми бесчестными. По поводу выборов Добролюбов замечает, что нет ничего «удивительного, что министерство старалось подобрать депутатов, которые бы под-

держивали его политику». На всякие бесполезные разговоры о том, что правительство унизило себя, выступая на выборах не как правительство, объективно выражающее общую волю, а как определенная партия, критик, как политик трезвый, указывает: «Но ведь это игра слов, да и игра-то, основанная больше на азиатских понятиях о правительстве, нежели на тех, какие прилично было бы иметь передовой партии освобождающейся Италии». Вместо всяких отвлеченных разговоров о том, как должно было вести себя на выборах правительство, Добролюбов подчеркивает, что такое поведение правительства вредно для итальянцев, но зато «полезно для Кавура». «Оно удерживает за ним власть, а власть дает ему не только почет, но и замечательные материальные выгоды». И далее Добролюбов приводит факты, как правительство в Пьемонте наложило страшно высокую пошлину на ввоз фарфора, потому что Кавур состоял пайщиком одной из фабрик химических продуктов, а главное фарфора. В другом случае Кавур оказался главным акционером мельницы, которая скупала хлеб в зерне и муке. Голодная толпа собралась у дворца Кавура, а он разогнал ее вооруженной силой. Добролюбов клеймит Кавура позорным именем мошенника.

В результате всех махинаций правительство имело депутатов, нужных ему. Народ, оппозиция не сумели дать своего состава парламента. Парламент с подобострастием встречает, провожает, глядит на Кавура, внимает его речам и репликам, раболепно ему служа и заискивая перед ним. А граф любезно подсаживается то к одному, то к другому депутату, с барской снисходительностью подает руку, снисходительно-благосклонно улыбается им. Словом, ведет себя как полный хозяин парламента, властный распорядиться, как ему заблагорассудится. Для завершения картины этого высокого собрания критик описал жульничество счетчиков. Словом, «составилась камера депутатов смирная, покорная, мало того — экзальтированная поклонница графа Кавура. На 300 присутствующих в парламенте правых депутатов оппозиции было человек 30, да и какая это оппозиция!» Так разрисовывает Добролюбов это «великое и симпатичное» учреждение. Вот какое «сердечное волнение» охватило его при виде этого собрания почтенных и лысых.

От такого «великого» учреждения, как описал его критик, вряд ли кто-либо запылал восторгом и воодушевился идеей парламентаризма. Всякому было видно, что парламент — это своеобразная ширма для правительства, чтобы ему легче было обманывать народ в интересах той партии, которую правительство представляет. Такому парламенту грош цена. И как смешон взволнованный наш соотечественник «благороднейшего образа мыслей»! Соотечественник видит внешность, декорацию, торжественность,

прения, — критик проникает в сущность установления, вскрывает гнусную игру правительства с народом.

Из истории парламентской борьбы мы знаем немало высоких, действительно трагических моментов, когда даже трусы и пошляки вынуждены были, например, голосовать за казнь Людовика. Но Добролюбову нужно убить идею парламентаризма, для этого он дискредитирует и оппозицию, показывая, как она ничтожна и бессильна, как она далека от монтаньяров французской революции 1789 года. Он опять прибегает к диалогу. Разговор ведется с одним из левых депутатов: «Каким же образом все вотировали *за*, когда многие говорили и думали: *против?*» — Уверяет, что иначе нельзя. «Почему?..» — «Потому что в этом вопросе должны были все показать согласие». — «Да ведь дело шло не о создании итальянского королевства; оно не вашими прениями и нотами создается, а событиями и народом; дело шло о форме закона, которую вы считаете дурною. Ну и осудите ее». — «Невозможно: народ не различает формы от дела, и нас бы камнями побили, если бы мы стали противиться». — «А, это другое дело, — значит, вы сознаетесь, что народ с министерством против вас? — «Что делать, народ обманут». — «Так отчего же вы не хлопочете о том, чтобы открыть ему глаза?» — «Как же не хлопочем? Всю жизнь мою я больше ничего не делал... Но вразумить массу не так легко. Это вы, может быть, по молодости, думаете еще, что можно преобразовать человека в двадцать четыре часа». — «Я давно уже этого не думаю; но все-таки понять не могу, каким образом, вотируя в пользу закона, считаемого всеми негодным, раскрываете вы глаза народу? Не напротив ли? Не помогаете ли вы тем, кто его обманывает?» — «Нет, потому что мы заявили свой протест в прениях». — «Да что же в этом толку? Ваших протестов никто не слушает; вам смеются в лицо; перед вами, не задумавшись, высказывают полное презрение к правам народа». — «О, еще то ли вы увидите, — присмотритесь только к нашей камере!» воскликнул собеседник с такой непритворной горечью, что мне (критику. — *В. П.*) стало жаль далее атаковать его... И это был еще один из самых отважных и влиятельных членов оппозиции» [1]. «Великое и симпатичное» учреждение оказывается западней для народа. Благородный, но наивный соотечественник! Все разбито, не от чего волноваться сердцу. Парламент — место предательства народа, место узаконения привилегий (политических и экономических) господствующих классов, место сговора между различными группами командующих классов. А народ? Народ в стороне. О нем пекутся настолько, насколько это необходимо в интересах привилегированных.

[1] Том VIII, стр. 374. «Из Турина».

Чтобы окончательно дискредитировать и благороднейшего соотечественника и парламент, Добролюбов рассказывает, о чем спорят в парламенте, в этом детище революции, что там думают о народе и как понимают положение дел. Критик с нетерпением ждал, когда откроется парламент. «В самом деле, положение Италии затруднительно: внутри и вне столько вопросов и требований, что есть о чем потолковать, была бы охота! К парламенту же имеют доверие, от него ждут решения... Что-то он скажет?..» И что же критик видит: скучную, длинную процедуру проверки депутатских мандатов, процедуру, растянувшуюся чуть ли не на десяток заседаний; потом скучные, казуистические, схоластические, формальные прения о том, как надо формулировать титул короля: «Король Италии или итальянский король». Так все это наскучило, что критик «от нечего делать шлялся целый день по кафе» и даже решился поехать в Милан и Венецию. Когда кто-то из депутатов заметил, что итальянское королевство провозгласил Гарибальди, революционер, вождь, что итальянское объединение завоевано восставшим народом без ведома всякого министерства, граф Кавур захохотал, выражая «свое отвращение ко всему, что могло делаться волею народа или, по словам его, вспышкою страстей народных». На слова, что для короля выпал «великий жребий получить корону от народа», граф, не смущаясь, заявил, что «в последних событиях инициатива дана была не народом, а правительством», что он, граф, следит за международными отношениями, и «вот почему нужно было, чтобы оно (объединение) произошло не от вспышки страстей народных, а из инициативы самого правительства. При этом только условии итальянское королевство и может получить надежную законность и важность». В день, когда было провозглашено итальянское королевство, пошли слухи, что Франция настаивает на двух королевствах, верхней и нижней Италии, заговорили о выводе французских войск из Рима. Кавур, чтобы получить из Парижа более или менее определенные ответы, чтобы протянуть время, устроил министерский кризис. Под предлогом начать «новую эру, эру составления первого министерства нового королевства», так, чтобы были представлены провинции, хитрый граф сумел людей либеральных заменить более послушными и подходящими.

Описывая всю эту министерскую игру, Добролюбов подчеркивает, что интересы народные тут не при чем; «одна только мысль — не теряться никогда из виду, как бы самому не слететь, как бы проскочить сквозь обстоятельства» — не оставляет депутатов. Всей закулисной торговле, внутренней и внешней, критик противопоставляет Гарибальди. «Тут не то, что Гарибальди. Ему говорят: «Безумство — итти на Сицилию», а он идет; грозят: «Не смей трогать Неаполь», а он берет; кричат: «Не ходи на Рим»,

а он говорит: «пойду!», и все знают, что он пойдет и на Рим, и на Венецию, если без него Рим и Венеция не освободятся». Добролюбов с величайшей тщательностью и любовью воспроизводит проповедь Гавацци, в которой он поучает народ: «Друзья мои! Только революция может «создать Италию», а дипломатия никогда ее не создаст. Если революция создаст Италию, дипломатия принуждена будет признать ее, как совершившийся факт; но если мы не создадим Италии, дипломатия разделит нас еще раз и не допустит *единой Италии,* потому что слишком боится ее. *(Хорошо! Браво!)* ...Гарибальди представляет собою нашу победоносную революцию... А дипломатия означает — восстановление прав герцогов и короля против прав народа... *(Единодушные крики одобрения в толпе.)*» [1].

После всех этих фактов падают либеральные надежды на спасительность парламентского строя. И все же Добролюбов не отрицал относительной полезности этого учреждения в определенных исторических обстоятельствах. Он только стремился доказать классовый характер парламента и борьбы в нем; хотел доказать, что парламент не может заменить революции и сам парламент может иметь какое-либо значение для народа только в том случае, когда оппозиция в своей борьбе с правительством опирается на народ. Без народа парламент против народа. От давления и силы народа за стенами парламента зависит характер работы внутри парламента.

Приблизительно такого же взгляда на парламент в это время держался и Герцен. В V части «Былое и думы», в главах, написанных в 1857 г., Герцен так характеризует момент: «Для этого перехода ничего не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских прений; она дает движение и пределы, дает *вид дела* и форму общих интересов для достижения своих личных целей. Парламентское правление, — не так, как оно истекает из народных основ англо-саксонского Common law (обычное право), а так, как оно сложилось в государственный закон, — самое колоссальное беличье колесо в мире. Можно ли величественнее стоять на одном и том же месте, придавая себе вид торжественного марша, как оба английские парламента. Но в этом-то сохранении вида и главное дело» [2].

★

Идеал государства Добролюбов рисовал иронически в таких тонах: «Нельзя всем быть богатыми, всем талантливыми, всем красивыми; нельзя всем начальствовать, всем быть на первых местах;

---

[1] Том VIII, стр. 415. «Отец Александр Гавацци и его проповеди».
[2] «Былое и думы», «Academia», т. II, стр. 73.

но истинный идеал государства состоит в том, чтобы всякий был доволен на своем месте, всякий сознавал законную и глубокую справедливость своего положения и с такою же охотою повиновался, с какою другие повелевают, так же был спокоен и счастлив при своих десяти целковых жалованья, как другие при двадцати тысячах дохода. Вот тогда может осуществиться идеал золотого века; тогда, если даже кто и неприятности от других потерпит, и это не расстроит ни общего хода дел, ни его собственного счастья, потому что и в неприятностях этих он будет видеть дело законное и полезное и будет примиряться с ними, как с годовыми переменами». «Какое вечно нерушимое спокойствие, какая непрерывная тишина, какой мир и благодушие царили бы в нем! Никто бы не домогался того, чего не дано ему, никто бы не рвался с того места, на котором поставлен, никто не рассуждал бы о том, что выше его звания. От бедняка мысль сделаться богатым была бы так же далека, как желание пролезть сквозь игольные уши». «Все были бы на своих местах. Одни ездили бы в колясках, жили в великолепных палатах, занимались распеканием других, другие ходили бы пешком по грязи, в дырявых сапогах, жили в сырых углах и получали распеканции, но и те и другие одинаково были бы спокойны и довольны своею участью». «Не было бы тогда гнусной зависти, непозволительных стремлений, всякого рода опасений и подкопов; люди жили бы как святые в царстве небесном». «Идеальное общество, основанное на здравых понятиях об иерархии, могло бы существовать целые века спокойно, мирно и счастливо, и разве какой-нибудь геологический переворот мог бы разрушить его идеальные совершенства» [1].

В качестве попытки устройства такого государства критик ссылается на практику иезуитов в Парагвае. И он «сожалеет», что эта попытка не удалась.

Такому порядку вещей Добролюбов смело и гордо противопоставлял свободу, прекрасно понимая, что свобода разными классами понимается по-своему. Еще в газете «Сплетни» он занимался выяснением вопроса, чего хотят люди, «желающие свободы».

В своем страстном обращении «не к людям парикмахеров, не к вывескам модных портных, не к ходячим автоматам, а к тем, в ком есть хоть капля искры священного пламени, любви и свободы, кто сознал в себе хоть зачатки благородных стремлений», он спрашивал: «Чего мы хотим? Пусть каждый из тех, которые считают себя людьми мыслящими, людьми с убеждением и сознательными стремлениями, пусть каждый из них задаст себе этот вопрос и серьезно потрудится над его разрешением. Дело стоит того, чтобы заняться им, потому что без сознания цели невозможно избрать

[1] Том V, стр. 169—171. «Забитые люди».

правильного пути к ней и верных средств к ее достижению. Правда, русскому, томящемуся в пытке беззаконного рабства, цель по-видимому ясна: свобода... Но дали ли вы себе труд подумать, что же такое свобода? Тысячи мнений существуют на этот счет, и нужно определить, какого именно держаться. Одни свободою считают право делать все, что только придет в голову, без всякого отчета и закона, другие же понимают под свободою добровольное подчинение своих стремлений воле божией. Между этими полюсами вертится множество больших и малых кругов, сообщающих убежденным бóльшую или меньшую темноту и ясность. Для одних свобода — право не давать никому отчета в своих поступках, для других — возможность пользоваться правами личности, для третьих — удобство говорить безнаказанно глупости всем и каждому, для четвертых — дозволение ходить без веревки на шее, для пятых — безопасность от телесного наказания, для шестых — вольность говорить и писать что вздумается, для седьмых — удовольствие не принимать ничьих мнений, навязывая всем свои собственные, для восьмых — покойное сосредоточение в себе, с отречением от участия во всех чужих делах, для девятых... Но, повторяем, мнений этих тысячи. В чем же вы, русские ревнители свободы, полагаете цель своих стремлений? В каком смысле вы хотите быть свободными? Конституция ли вам нужна, или может и монархизм остаться? Или вы желаете республики? Так какой же? Огромной ли, вроде Римской, чтобы вся Россия составляла одно целое? Или маленькой, разделенной по областям и городам, вроде мелких греческих государств или Соединенных штатов? Будет ли вам аристократическое правление выгоднее, или демократия лучше успокоит вас? Или изберете вы какого-либо президента или диктатора для высшего надзора за управлением? Далее, хотите ли вы управления всех сословий, или общественная лестница останется в прежнем положении? Или вы ищете только уничтожения крепостного права? Тогда как вы намерены поступить с крестьянами? Сравнять ли помещичьих с государственными, или всех приписать к мещанам, или произвесть их в вольные фермеры? Какие средства для жизни дадите вы им? Землю? По каким началам вы ее разделите? Фабрики? Какие вы имеете средства их устроить, кто будет антрепренером, кто работником, и по какому праву? Каково будет распределение труда, надзора, распорядительности во всем предприятии? Что вы дадите и самим помещикам взамен отнятых богатств, т. е. рабов их? Какое место вы назначите им в народе? Сравняете со всеми, или отличите тоже чем-нибудь? Куда опять денете многочисленный класс чиновников? Оставите ли их, чтобы вести попрежнему длинные переписки по делам, или будете решать дела на городских сходках и все палаты, суды и департаменты со всем содержащимся в них, совершенно уничтожи-

те? Будет ли ваша республика государство земледельческое или торговое, промышленное? Будут ли все равно пользоваться всеми общественными удобствами, будет ли святое братство царить между людьми всеми без исключения? Или, напротив, общество ваше будет состоять из избранных, лучших, достойнейших, и из него будут изгнаны все негодяи, злодеи, тунеядцы? Тогда надеетесь ли вы, что хороших будет больше, чем худых? А если еще окажутся и между избранными негодные, что с ними делать? Содержать тунеядцев на общий счет будет ли справедливо? Наказать их и бросить без помощи будет ли согласно с правилами человеколюбия? В мнениях дана ли будет полная воля каждому высказывать свое мнение и оставаться при нем, или признаваемо будет решение большинства? В воспитании можно ли предлагать мнения и давать направление ребенку или только представлять факты? Преступления, необходимые всегда человечеству, как будете судить? Всеобщее ли примирение или прощение покроет их, или штраф наложится на преступника, или тюрьма лишит его возможности вредить обществу, или казнь прекратит дни его? Да и какие деяния назовете вы преступными, какие — похвальными, какие — подлыми, какие — благородными? Примете ли вы, например, меры для сохранения неприкосновенности браков или, удовлетворяя началам материального коммунизма, предоставите каждому следовать беспрепятственно склонности своего сердца? Найдут ли у вас покровительство влечения телесной природы, или вы позволите только духовные наслаждения? Глазами негодования и презрения или мольбы и сострадания будете вы смотреть на женщину, сделавшуюся общим достоянием? Будет ли у вас семейный долг высоким достоинством или должен будет умолкнуть перед долгом гражданина? Наконец в деле религии — оставите ли вы всей массе народа религию церкви, или решитесь раскрыть ему вновь евангельскую религию Христа, или переделаете эту религию, сообразно с новыми началами, или положите новую доктрину в основу вашей республики, или наконец оставите народ совсем без религии? Что вы считаете лучшим, удобнейшим для него и для себя? Подумайте и дайте себе полный отчет в своих требованиях, составьте себе верную и живую картину идеальной республики, к которой вы стремитесь» [1].

Как видите, Добролюбов ставит все основные вопросы будущего государственного строя, начиная с формы государства, с характера общества и кончая семейной жизнью, воспитанием детей и религией. Точных ответов на поставленные вопросы критик не дал, но он ясно сказал, что мы должны «догнать Европу» в ее лучших демократических учреждениях. Крепостнически-самодер-

[1] Том VII, стр. 39.

жавный режим России он хотел заменить республиканским режимом США. Это государство он находил наиболее демократическим.

В этом отношении большой политический интерес представляет отзыв Добролюбова о книге А. Лакиера «Путешествие по Северо-Американским штатам». Из этой книги «Современник» напечатал два больших отрывка, поскольку они давали русскому читателю возможность знакомиться с государственным устройством, нравами и бытом этой страны и сравнить все это с тем, что есть у нас в крепостной России. В целях большей пропаганды американской конституции Добролюбов дает отзыв о книге, останавливаясь не на частностях, а давая «общий очерк учреждений и быта страны». Свой очерк критик заканчивает обещанием проследить и показать, как демократические учреждения США отражаются на жизни граждан. К сожалению, этого обещания он не смог выполнить, и мы не имеем критики государственного устройства США. В первой же статье критик останавливается только на положительных сторонах государственного порядка США.

Чтобы избежать придирок цензуры, он начинает говорить о своем «спокойном и беспристрастном» изложении государственных начал, он как будто бы не хочет «попусту тратить время на бесплодные и напрасные рассуждения о выгодах и невыгодах демократии» и даже указывает, что «от Соединенных штатов и от Англии нас отделяют обширные пространства морей; наши нравы и обычаи, весь наш общественный быт, сложились совсем под другими условиями, наши интересы направлены совершенно иным образом, и конечно для нашего общества вовсе не любопытно то, что составляет жизненный вопрос по ту сторону океана». Все это, конечно, следует понимать совершенно обратно, в том смысле, что русскому человеку необходимо знать, какие преимущества представляет демократическое устройство государства перед самодержавным режимом. Добролюбов дает массу таких примеров, которые невольно вызывают сравнение с Россией.

Цитируя американский кодекс 1850 г., критик подчеркивает, что в определение свободы американцы положили «право разумного убеждения» и уничтожили «слепой, неразумный произвол» — как раз то, на чем держится политический режим в России. «Человек должен делать не все, что вздумается, а только то, что хорошо и справедливо. Этим требованием предоставляется человеку широкая свобода в рассуждениях о том, что справедливо и что ложно, что хорошо и что дурно, а через это прямо уже уничтожается слепое подчинение чужому авторитету и узаконяется самостоятельность личности. При соединении отдельных личностей в общество из этого же начала должны возникать понятия о братстве и о равных правах всех его членов. Так именно и случилось

с обществами, образовавшимися в Северной Америке: полная демократическая свобода составляет основание всех их учреждений».

Эта общая характеристика американской демократии написана в полном согласии с тем, как Добролюбов представлял себе демократический строй России. Конечно, критик преувеличил относительно братства и равенства; видел же он, что пользование рабами не мирится с принципами братства и равенства. Особенно выдвигал критик на первый план то, что «основанием всего их (США. — *В. П.*) устройства служит народная воля, и что если в этой стране и есть некоторые признаки *правительственной* централизации, то в *административном* отношении господствует децентрализация полная». Волю народа критик ставит выше всего, ею он объясняет и историческое движение, прогресс, реформы Петра I и намечающуюся реформу 1861 г.

При таком взгляде на народ Добролюбов придает громадное значение организации городских и сельских общин, в которых протекает жизнь и которые своим политическим устройством определяют характер высшей политической организации, характер общей конституции. Отмечая выборное начало общинной администрации, критик всюду настойчиво и подчеркнуто отмечает, что чиновники избираются всеми жителями общины, что чиновники являются лишь «покорными служителями народной воли» и не могут быть иными, не могут злоупотреблять своим положением, поскольку «управление делами общины никогда не выходит из-под контроля народа и очень прочно ограждено от всякого произвола чиновников». Над всем господствует «общее собрание граждан общины, которое обязано созываться по требованию самого незначительного числа граждан, именно: десяти из двух-трех тысяч жителей общины». Да и нет стимулов к злоупотреблению. Общественная служба рассматривается как служение обществу; чиновник никакими правами и привилегиями перед другими гражданами не пользуется, за исключением той узкой отрасли деятельности, которая ему поручена. Чиновничество — это «простое разделение труда между членами общины». Управляющие и управляемые равны. Управляющие понимают, что власть их «может продолжаться только под тем условием, если они будут ею пользоваться добросовестно». Управляемые повинуются им не потому, что это власть всесильная и карающая, а потому, что они видят в этой власти свою волю, «находят свою собственную пользу». Чиновник в любой момент может быть привлечен к ответственности любым гражданином общины. «Если дорога не в порядке, то всякий, у кого сломалось колесо в какой-нибудь яме или вообще случилось что-нибудь неприятное от дурной дороги, имеет право позвать к суду чиновника, наблюдающего за путями сооб-

щения». Если, например, плохо устроена школа и небрежны в своем деле учителя, то «каждый отец семейства может обвинить эти лица и даже целую общину». И так во всех областях жизни. И все это проистекает из «совершенного равенства прав».

Из соединения этих демократических общин составлялись графства. Несколько графств образовывали штат. Организация власти в графстве и штате построена на тех же самых началах, что и в общине. Этим обусловливался и укреплялся демократический строй всей страны. Сравнивая английский образ правления и США, Добролюбов отдает предпочтение Америке. В Европе «отдельные общины никогда не составляли самобытного целого, начала государственной жизни развивались прежде всего не в них, а в высших сословиях, чуждых народной жизни». В Америке наоборот: «С самого начала своего существования американские общины получили свое самостоятельное политическое устройство». В Европе, в Англии «все устраивалось в видах государства»; в Америке влияние государства скорее «ограничивалось только пустою формою подданства».

Добролюбову США нравятся тем, что основной принцип их общественной жизни состоит в том, чтобы «делать как можно больше для народа и как можно меньше потворствовать аристократическим тенденциям». Ему нравилось «государство народа», чего он не находил в Европе.

Особенное значение имели замечания критика относительно землевладения и общественной иерархии. Эмигранты Северной Америки сознавали, что все их родовые права и привилегии остались в Европе; здесь они все равны, и общественная иерархия не имеет никакого значения. Да и не было почвы для этой иерархии, особенно аристократическим тенденциям. «Известно, что основанием аристократии всегда была земельная собственность, наследственно переходящая из рода в род. На ней всегда покоилось высокое значение аристократов, на ней опирались их права, без нее ничего не могли значить их громкие титула и почетные звания. В Америке земля не была ни в чьем исключительном владении. По понятиям пуританских поселенцев, это было достояние божие, которым равно может пользоваться всякий человек. И действительно, всякий поселенец брал себе из огромных пространств девственной земли, расстилавшихся перед ним, столько, сколько мог обработать» [1].

Государственный строй США, по мнению Добролюбова, наиболее отвечал требованиям русской революционной демократии. Основное положение, что вся власть должна принадлежать народу, что земля божья и обрабатывать ее может всякий, насколько у

---

[1] Том VI, стр. 467.

него хватает сил, в момент, когда обсуждалась реформа 1861 г., когда общество заговорило о всяких «насущных вопросах», приобретало исключительно революционное значение, было лозунгом крестьянского движения.

Все это было как бы ответом русским ревнителям свободы, о которых мы говорили выше. Какое политическое значение имела пропаганда государственного устройства США в тогдашних русских условиях, ясно всякому. В рецензии на «Народный календарь на 1860 год» критик подчеркивал: мужик знает, «что он должен терпеть, слушаться, работать и платить», «ему все говорят и все доказывают ему на деле его обязанности. Но о том, что и он, в свою очередь, имеет свои права, хоть бедные, но все же права, признанные и огражденные даже положительным законом, — об этом обыкновенно никто не заботится ему сказать». Вызывающей революционной нотой звучит и отзыв критика на «Библиотеку римских писателей в русском переводе». Критик подчеркивает, как «Саллюстий восхваляет Цезаря за уничтожение аристократической партии и советует ему принять меры для того, чтобы воскресить народ римский и сделать его способным пользоваться вольностью, какая была у его предков». Он отмечает указания, как борьба патрициев и плебеев «вела к все большему расширению прав народа и к ограничению власти аристократии», как «каждый гражданин пользовался вольностью, не стараясь ставить свою волю выше законов», как «граждане соперничали друг с другом не в богатстве и спеси, а старались превзойти один другого на пути чести и добра», как, наконец, «Римской империи суждено было пасть с падением доблести народной», поскольку ни Цезарь, ни Август немогли «восстановить ниспроверженную свободу народа».

А как представлена критиком допетровская Русь, какими красками изображена текущая действительность? Прочтите разбор истории Петра I, разбор «Русской цивилизации», сочиненной Жеребцовым, «Литературные мелочи», «Внутреннее обозрение за 60-й год», сопоставьте все это с заметками о государственном устройстве США, о римских писателях, и сразу станет ясен весь смысл политической установки критика.

Зная неизбежность капиталистического развития России, неизбежность конституционно-парламентского режима, выдвигая лозунг «догнать Европу», Добролюбов фактически звал русского человека учиться не у Европы, а у более демократических США, где в основу государственного устройства было положено господство народа, а не господство аристократии, как это было в Европе.

Так Добролюбов разъяснял русскому мужику, какие права народ имеет в других странах, как он их добывал, как развертывалась

жестокая, кровопролитная классовая борьба и что должно крестьянство завоевать у нас в связи с реформой 1861 г.

Однако американская демократия не была «последней станцией» для Добролюбова. Критик, упрекая Лакиера, что он слишком мало остановился на промышленном кризисе в США, на международной конкуренции США с Англией, на невольничестве, предупреждал читателя, что и в царстве этой демократии далеко не все благополучно. Капитализм делал свое дело. Критик звал дальше, звал к социализму, к социалистической революции и был глубоко убежден, что ее может совершить только сам народ своими силами.

VI

Выводы. Добролюбов находил существующий порядок ненормальным. Он видел, что мир разделен на эксплоататоров и эксплоатируемых, угнетателей и угнетенных. Эту жизнь он называл «искусственной». Создали ее сильные мира. Забрав господство в свои руки, они не дают развернуться нормально «естественным стремлениям человечества».

Угнетенные борются за свое освобождение. Вся история есть история борьбы аристократии и демократии, дармоедов и представителей труда. Мир угнетателей, однако, силен; если он и делает какие-либо уступки, то только в крайнем случае, вынужденно, и только в своих интересах, не подрывая основ существующего общественного строя.

Между тем все люди должны быть равны в экономическом и политическом отношениях, чтобы исключалась всякая возможность эксплоатации и насилия, чтобы каждый человек мог проявить максимально свои творческие силы и способности, мог максимально удовлетворять свои «естественные стремления».

Это новое, социалистическое общество можно завоевать только путем революции. Убедить господствующие классы, чтобы они добровольно отказались от своих привилегий, нельзя.

В анализе исторических явлений критик поднимается временами до понимания классовой борьбы. Чтобы разрушить мир «искусственных отношений», рабочий класс должен революционным путем завоевать власть, разрушить существующую экономическую структуру общества и держать курс на социалистическую революцию. Зная, что эта борьба будет жестокой, кровавой, Добролюбов без всяких оговорок зовет к этой «серьезной операции». Обращаясь к судьбам России, Добролюбов указывал, что она должна прежде всего разрушить крепостническое самодержавное государство, дав возможность крестьянам жить не под властью помещиков, а наподобие вольных самостоятельных фермеров.

Россия должна пройти через капиталистическую стадию развития; как и вся Европа, она должна пережить революционные потрясения. Свою программу-минимум он берет с демократического устройства США, относясь резко отрицательно к конституционно-парламентскому образу правления в Европе.

Кто же может в России совершить очередную задачу свержения самодержавия и помещиков? Конечно, не сами помещики. Конечно, не либералы, много болтающие о благе народа, но не способные ни на какое серьезное дело и самопожертвование. Освобождение народа может быть добыто только самим народом. Критик верит в силу народной массы; видит в ней силы, способные не только разрушить существующий образ правления, существующие классовые отношения, но и создать новый общественный порядок. В народе таятся колоссальные силы, которых нет в других классах общества.

Намечая свою политическую программу и путь борьбы за ее осуществление, Добролюбов многократно подчеркивает, что не программы, не действия отдельных государственных деятелей определяют путь истории, а сами они являются историческим продуктом. Но, являясь им, они в то же время лучше и раньше других разрешают поставленные жизнью задачи. Приближающаяся крестьянская революция, которая должна смести самодержавие, крепостничество, создать капиталистическое общество и расчистить поле для борьбы за социализм, — все это является результатом исторического развития.

Однако, следуя за французскими материалистами XVIII века и Фейербахом, Добролюбов неизбежно допустил целый ряд глубоко идеалистических, просветительского характера ошибок.

Существующий «искусственный» порядок общественной жизни он объяснял во многих случаях недостатком просвещения; всю историю считал ошибкой, забывая, что стадии общественного развития обусловлены законами исторического развития.

Добролюбов знал истину и заблуждение; хотя он и владел диалектикой и понимал ее, все же он не сумел диалектически осмыслить историческую истину и историческое заблуждение, — не мог понять, что то, что сегодня является исторической ошибкой, заблуждением, вчера могло быть глубокой истиной.

Поднимаясь до сознания классовой борьбы, до понимания необходимости крестьянской революции, до ставки на народ, до необходимости политической пропаганды, он часто переоценивал значение пропаганды.

Считая бесполезной и вредной надежду убедить господствующие классы в перемене порядка в интересах народа, Добролюбов, обращаясь в своей пропаганде к народным массам, останавливает свое внимание не столько на экономической действи-

тельности, сколько обращается к природе человека, доказывая, что в этом отношении все люди равны и должны быть поставлены в равное общественное положение. Временами он незакономерно выдвигал биологический принцип.

Различные общественные группировки пытались использовать политико-идеологическое наследство критика в своих классовых интересах. Каждая группа из идейного наследства критика эклектически брала то, что подходило для подкрепления ее мировоззрения, обоснования ее политических целей. Добролюбова считали своим либералы, которых он при жизни так ненавидел и так жестоко высмеивал, предостерегая от всяких соглашений с ними, как с людьми, не способными на серьезное дело. Приспособляли Добролюбова к себе народники, меньшевики. Все это очевиднейшая путаница.

Добролюбов за крестьянскую революцию, — либералы всегда ее боялись как огня, боялись в 60-е годы, боялись в 1905 г., боялись и в 1917 г.

За крестьянскую революцию стояли народники. Как будто бы это дает право сближать политические позиции критика и народников. Но дело не только в крестьянской революции, но и в основах мировоззрения, в понимании всей политической ситуации. Народники не хотели капитализма, не признавали классовой борьбы, были социологи-субъективисты, идеалисты, мечтали о социализме, выросшем на основе крестьянской общины.

Народники, считая себя идейными наследниками Чернышевского и Добролюбова, продолжателями «лучших традиций 60-х годов», жестоко ошибались в этом. Сильные стороны мировоззрения этих двух великих людей народниками не были поняты, оказались им не под силу; слабые же стороны они использовали в построении своей субъективной социологии. От нее Добролюбов был очень далек. Он не раз писал о передовых людях, о вождях, но он все время настаивал на массовом крестьянском движении, на «народе» как единственной силе, которая может совершить революцию, отводя великим людям хотя и большую, но все же подчиненную, обусловленную роль. Народники использовали идеализм Чернышевского и Добролюбова, но никак не их философский материализм и элементы материалистического взгляда на историю. Известно, что взгляд на русскую историю народники заимствовали у Щапова; Чернышевский же относился к взглядам Щапова настолько отрицательно, что сотрудничество последнего в «Современнике» считал невозможным. А вот народники сумели эклектически сочетать Чернышевского с Щаповым.

Еще меньше общего у Чернышевского и Добролюбова с позднейшим народничеством, с В. В. (Воронцовым) и Николаем — оном (Даниэльсоном), которые в 80-х годах оформили экономи-

ческое учение народников. Равно, нет ничего общего у великих «шестидесятников» и с публицистами из «Русского богатства» 90-х годов — Михайловским, Кривенко, Южаковым и многими другими...

В. И. Ленин, отмечая, что у шестидесятников была «вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни», «вера в возможность крестьянской социалистической революции», указывал публицистам из «Русского богатства», что «из политической программы, рассчитанной на то, чтобы *поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества*, выросла программа, рассчитанная на то, чтобы заштопать, «улучшить» положение крестьянства *при сохранении основ современного общества*» [1].

В народничестве в широком смысле слова тов. Ленин видел два течения: либеральное, которое «прикрашивало реформу 1861 г. и защищало капитализм, и демократическое, которое не идеализировало крестьянской реформы, но демократизм которого носил явно буржуазный характер и был явно непоследователен». В революции 1905 г. первое течение представляли кадеты, второе — трудовики. Блестящим представителем демократического народничества был Н. Михайловский.

Относительно его и его ближайших сотрудников из «Русского богатства» тов. Ленин прямо заявил, что они «пачкают» идеалы Чернышевского и Герцена. В 1922 г. тов. Ленин еще раз указал, что «современные народники (народные социалисты, с.-р. и т. п.) отступили назад» от заветов Чернышевского, становясь на путь «прислужничества буржуазии, ее предрассудкам и буржуазной реакционности». Чернышевского Ленин очень любил, от его идейного наследства не отказывался, считал его «русским великим социалистом до-марксова периода» и последовательно-революционным демократом. Он никогда не забывал «о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский». Если не упомянут Добролюбов, то только потому, что его облик растворялся в лице Чернышевского.

Можно ли после всего этого говорить, что Добролюбов был народником? Никак нельзя. Если нельзя сближать славянофилов и народников, несмотря на то, что те и другие были сторонниками общинного землевладения, то как же сближать с народниками Чернышевского и Добролюбова, когда они расходились и во взглядах на общину и в очень многом другом.

Добролюбова можно считать народником только в самом широком смысле, в том смысле, который позволил тов. Ленину причислить к правому народничеству кадетов 1905 г. Смешивать кри-

---

[1] *Н. Ленин.* Сочинения, т. I, стр. 165. «Что такое «друзья народа».

тика с народниками-семидесятниками и позднейшим народничеством никак нельзя.

Бросая марксистский взгляд на прошедшие исторические судьбы России, на призыв Добролюбова к крестьянской революции, к американскому пути развития России, исследователь с неумолимой неизбежностью приходит к выводу, что Добролюбов политически был предшественником рабочего движения, революционной социал-демократии.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

I

К началу 60-х годов вспыхнула полемика об искусстве. Старому либерально-дворянскому взгляду на искусство и литературу, как на нечто самостоятельное, свободное от социальных условий, отвлеченное творчество, развивающееся по своим особым законам, был противопоставлен взгляд революционной демократии, руководимой «Современником» во главе с Чернышевским и Добролюбовым. «Современник» понимал искусство как отображенную в образах действительность. Между искусством и жизнью противоречий он не видел. Эти противоречия создает художник, поскольку он не в силах понять жизни, не в состоянии проникнуть «в общий таинственный смысл жизни».

М. Протопопов писал: «Искусство в руках Добролюбова было тем же, чем политическая экономия в руках Чернышевского». Этим он подчеркивал, что идеолог крестьянской революции подходил к искусству с научными требованиями, как к изображению действительности. Это так и было. Это вытекало из общих философско-политических взглядов критика, из его революционного стремления делать «живое дело вместо слов». Прекрасным стремлениям души, как известно, критик не придавал никакого значения; он ценил только факты; по действиям он оценивал и людей. «При разборе русских повестей, стихотворений и пр., — пишет Добролюбов, — мы всегда старались указать не на «вечное и абсолютное», навеки нерушимое художество их, а на тот прямой смысл, который они имеют для нас, для нашего общества и времени»[1]. Касаясь творчества А. Плещеева, критик поставил вопрос о противоположности среды и благородных стремлений в обществе и дал указание, что решение может быть дано только тогда, когда будут переработаны в общем сознании самые факты общественной жизни, от которых зависит суть дела. Эта переработка фак-

[1] Том V, стр. 2. «Благонамеренность и деятельность».

тов совершается в самой жизни; но для ускорения и большей полноты сознательной работы общества может быть полезна и беллетристика, и полезна тем более, чем больше художественной полноты и силы будут иметь ее образы»[1].

Эта основная, глубоко общественная установка критика, вскрывающая генезис и социальную функцию литературы, с величайшей настойчивостью, последовательностью и ясностью выступает во всех его статьях, больших и малых, и даже в незначительных рецензиях.

Вот это и послужило причиной того, что еще при жизни Добролюбова сложилось и широко распространилось мнение, что критика его носит преимущественно публицистический характер; это критика «по поводу», а не та блестящая художественная критика, образцы которой оставил нам Белинский. Указывают обычно: Добролюбов не занимается анализом художественных качеств литературного произведения, как особого, специфического явления, развивающегося по своим имманентным законам, — он рассуждает, проповедует, делает социологические обобщения на основе и по поводу того материала, тех фактов жизни, которые заложены в художественном произведении.

«Добролюбов, в сущности, был публицист, а вовсе не критик», писал Н. Шелгунов. «Гениальный публицист, поневоле сделавшийся критиком», повторял В. Богучарский. Этот ложный взгляд распространен не только среди врагов критика, но и среди его почитателей, не только среди буржуазных литературоведов, но и среди некоторых марксистов.

Эти люди не имели верного взгляда на сущность критики и ее задачи. Они не понимали, что критика не имеет вечных абсолютных законов, что законы ее, как и законы художественного творчества, зависят от самой действительности, что публицистический элемент всегда присущ критике, даже и тогда, когда она отстаивает так называемое чистое искусство. В известные исторические моменты он усиливается или ослабляется, но налицо он всегда. Это неизбежно и вполне закономерно.

Добролюбов был таким же литературно-художественным критиком, как и Белинский. Последний вступил в литературу, продолжая эстетическую критику, но классовая борьба направила его деятельность так, что он не только отказался от эстетической критики, но и сумел придать своей критике общественный характер. Добролюбов сразу начал с общественной критики, начал с того, на чем остановился «неистовый Виссарион», начал уверенно, без колебаний, с ядовитой усмешкой, вызовом на смертельную борьбу, не считаясь со старыми литературными авторитетами.

[1] Том V, стр. 6. «Благонамеренность и деятельность».



В. Боткинъ

Тургенев и другие представители дворянской литературы, как мы подробно рассказали выше, фактически ликвидировали заветы Белинского, хотя и прикрывались его великим именем в страхе перед революционной демократией, перед идеологами крестьянской революции. Тургенев не хотел уступать Белинского революционной демократии, его литературное наследство он хотел приспособить к классовым потребностям русского либерализма, представив его своим близким союзником. Но это ему не удалось. Чернышевский и Добролюбов во всем блеске, со всей силой своей мысли и таланта разоблачили либеральное дворянство.

Известно, что Белинский начал свою литературно-критическую деятельность, вдохновившись писанием Ротшера, который спрашивал: «Кто еще осмелится теперь прикладывать к художественному произведению мерку соответствия действительности без боязни быть немедленно исключенным из круга людей, понимающих искусство?» Добролюбов, как материалист-фейербахианец, наоборот, положил эту «мерку соответствия действительности» в основу своей деятельности. Он жалел, что «нет общественной живой поэзии, а попытки на нее сбиваются на памфлеты», и желал, чтобы «поэты наши посвятили себя серьезнее поэзии жизни». Иногда он очень резко и отчетливо формулировал свою мысль: «Теперь дело литературы преследовать остатки крепостного права в общественной жизни и добивать прирожденные им понятия, возводя их к коренному их началу» [1].

Общественный, публицистический характер критики Добролюбова и помешал врагам и некоторым друзьям его разглядеть в нем замечательного литературного критика. Справедливость, однако, требует указать, что были голоса и другого характера: Н. Страхов, например, настаивал, что «Добролюбов имел силу как публицист именно потому, что был критик», что критика для него была «прямым и ежедневным делом, а не просто маскою для прикрытия другой деятельности». За Добролюбова, как критика, очень решительно выступил Д. Овсянико-Куликовский. Он писал: «Добролюбова обвиняли в том, будто бы он не разбирал самые произведения, а только писал *по поводу их,* будто бы художественные образы служили ему только предлогом критиковать отрицательные стороны жизни и «проводить» излюбленные идеи. Этот упрек должен быть решительно отвергнут. Отрицательные стороны жизни Добролюбов действительно привлекал к строгому суду гуманного, просвещенного и передового человека и свои излюбленные идеи проводил последовательно и настойчиво, но все это он делал не иначе, как путем тщательного и всестороннего анализа разбираемого произведения. Критика действительности и освещение ее

[1] Том V, стр. 34. «Характеристика русского простонародья».

явлений с известной точки зрения находились в органической связи с критическим разбором произведения и, являясь сами по себе целью, в то же время раскрывали смысл произведения и давали исчерпывающее истолкование созданных поэтом образов, а попутно само собою выяснялось «художественное миросозерцание» поэта и определялись особенности его дарования» [1].

Для своего анализа Добролюбов брал такие произведения, которые, по его мнению, объективно отражали жизнь, в которых действительность и образ составляли единое целое, гармоническое, не раздираемое противоречиями. Самый выбор художественных произведений, как роман Гончарова «Обломов», комедии Островского, повесть Тургенева «Накануне» и др., свидетельствует о большом художественном чутье и вкусе критика. Вскрывая своей критикой общественные и нравственные стороны жизни, Добролюбов одновременно обнаруживал глубочайшее понимание эстетических проблем, но только классовые задачи не давали ему возможности и времени заниматься «воспитанием эстетического вкуса барышень». Перед критиком стояли более серьезные задачи: он звал к крестьянской революции. Добролюбов принципиально не отрицал оценки художественных достоинств произведения, он не раз собирался «поговорить о размерах силы, проявляющейся в современной русской беллетристике», но все откладывал «до другого раза»,—думал, «предмет этот никогда не уйдет». Однако смерть унесла критика в могилу ранее, чем он смог выполнить отодвинутое на задний план, отложенное на завтрашний день.

Касаясь этой стороны критики, Добролюбов заметил: «Хорошо, если вам попадется произведение, приближающееся хоть сколько-нибудь к идеальным требованиям, имеющее какие-нибудь шансы «быть долговечным и счастливым», т. е. составить собою что-нибудь самобытное, замечательное не по отношению к каким-нибудь другим интересам, а по своему внутреннему достоинству. Тогда можно и с эстетической точки зрения заняться им, можно и в художественные тонкости пуститься и все пятнышки в нем проследить. Да это сделается тогда само собою, по тому невольному чувству, по которому хлопочете, чтобы прекрасной картине дано было хорошее освещение» [2].

Словом, Добролюбов имел свои литературно-критические взгляды, и, следуя им, он был настоящим критиком, как и Белинский. Если требования эстетики ограничить требованиями сторонников так называемого чистого искусства, требованиями хорошей внешней отделки, согласованности формы и содержания, то и тогда придется признать, что критик этого не упускал из виду

[1] «История русской литературы» под ред. Д. Овсянико-Куликовского, т. III, стр. 207.

[2] Том V, стр. 134. «Забитые люди».

и во многом разбирался не хуже Тургенева, Боткина, Фета и других. Все те, которые проявляют к нему в этом отношении некоторую снисходительность, считая его преимущественно публицистом, обнаруживают свою теоретическую несостоятельность в вопросах методологии и истории критики.

II

Иронизируя над О. Миллером, над его диссертацией на степень магистра русской словесности «О нравственной стихии в поэзии», Добролюбов излагает его теорию таким образом: «Поэзия есть небесное наитие, что-то высшее, божественное; она есть чудная, непонятная *быль,* не существующая в действительном мире, но «ясно говорящая человеку о том, какого он высокого рода». «Как имеющая высшее происхождение, поэзия выше действительной жизни, представляя такие идеалы, которые в жизни не являются». Эта грубо идеалистическая точка зрения сильно возмущала критика, особенно, когда ее приверженцы, вслед за О. Миллером, отстаивали ее как противоядие разрушительному действию материализма, развитию «естественных и реальных наук», которые суживают взгляд человека и ограничивают его кругозор, его «собственное существо» одной материей. Добролюбов сразу понял, что реакционер О. Миллер стремится противопоставить *«реальному,* естественному направлению и развитию» понятия *«номинальные»,* взгляды «сверхъестественные». Критик понимал, что молодой диссертант в силу своей классовой природы силился хотя и неумело, глупо, все же силился не только разбить материализм как философское учение, но и опровергнуть мировоззрение революционной демократии, вытекающее из материализма. О. Миллер метил далеко, но критик сразу раскрыл его планы и показал всю ничтожность и бесплодность этой попытки.

Отвергая божественный, сверхъестественный характер поэзии, низводя ее на землю и ставя в зависимость от конкретной общественной действительности, сознавая, что «человек не в состоянии сам из себя ни одной песчинки выдумать, которой бы не существовало на свете», Добролюбов поставил основной вопрос — о роли и месте литературы среди других идеологических надстроек. Разработке этого вопроса он не посвятил специальной статьи, но возвращался к нему не раз, ставил его серьезно и ответы давал точные, не допускающие двух толкований.

Критик считал, что литература играет такую же идеологическую роль, как и наука, как философия. К вопросу он подходил с двух сторон. Во-первых, он выяснил, откуда наука и литература берут материал для своей обработки; во-вторых, он показал, как наука и литература влияют на общественную жизнь, на ее разви-

тие. Добролюбов не разобщает эти виды идеологии, не разрывает их, как нечто разнородное, а, наоборот, сближает, подчеркивая их неразрывное единство при специфической особенности обработки фактов действительности. Литература, как таковая, исходя от явлений действительности, или указывает, что нужно делать, чтобы двигать жизнь вперед, или изображает, что есть, что и как сделано. В последнем случае она, как и наука, берет факты жизни; в первом она часто пользуется результатами научных исследований. В свою очередь и наука ставит и разрабатывает проблемы на основании фактов, которые уже заметны и влияют на ход жизни; иногда же наука берется за проблему, поскольку она лишь подмечена художественным чутьем писателя, но не встала еще в поле зрения науки. Из этих рассуждений ясно, что, отстаивая материалистический характер науки и литературы, поскольку они в конечном счете определяются характером общественного бытия, устанавливая между ними определенное взаимодействие, как между двумя видами идеологии, критик утверждал положение, что «люди чистой науки, делавшие астрономические и физические открытия, или установлявшие новые философские начала, умели слушать голос естественных, здравых требований ума и помогали человечеству избавляться от тех или других искусственных комбинаций, вредивших устройству общего благоденствия. С каждым из этих людей человечество делало новый шаг в развитии правильных естественных понятий»... «То же самое прилагается и к людям прикладных знаний: техникам, механикам, агрономам, врачам и пр. То же видим и в области искусств и в литературе»[1]. Конечно, Добролюбов разрешает вопрос идеалистически, поскольку он упускает из виду классовый характер науки и литературы. Но совершенно правильна постановка вопроса, исключающая возможность абсолютного разъединения науки, литературы и искусства и утверждающая, что наука и литература проникают во все области живой действительности.

Ставя вопрос о взаимодействии науки и литературы, критик одновременно дает и самую картину этого взаимодействия. Он не сводит его к простому заимствованию писателем идей у мыслителя. Художник и мыслитель действуют самостоятельно, черпают материал из жизни независимо друг от друга, «но только различным образом принимаются за дело». «Мыслитель, замечая в людях, например, недовольство настоящим их положением, соображает все факты и старается отыскать новые начала, которые могли бы удовлетворить возникающие требования. Литератор, поэт, замечая то же недовольство, рисует его картину так живо, что общее внимание, остановленное на ней, само собой наводит

[1] Том IV, стр. 278, «Луч света в темном царстве».

людей на мысль о том, что же именно им нужно. Результат один, и значение двух деятелей было бы одно и то же, но история литературы показывает нам, что за немногими исключениями литераторы обыкновенно опаздывают»[1].

Определяя роль и значение науки и литературы в широких массах, критик сравнивает науку с метеорологo-астрономическими выкладками, а литературу с барометром, к которому всякий подходит и справляется.

Подчеркивая, что у каждого художника есть свое мировоззрение, которое отличает его от других писателей, Добролюбов одновременно указывает, что у художника не следует искать каких-либо логически стройных построений, системы. Его мировоззрение разбросано во всем его творчестве. Нередко бывает, что художник теоретически высказывает далеко не те понятия, которые отражены им в поэтической деятельности. О художнике надо судить не по его отвлеченным высказываниям, заимствованным часто у других, а по анализу его художественного творчества. Критик утверждает следующее, вполне верное, положение: «Собственный же взгляд его (художника. — *В. П.)* на мир, служащий ключом к характеристике его таланта, надо искать в живых образах, создаваемых им. Здесь-то и находится существенная разница между талантом художника и мыслителя. В сущности, мыслящая сила и творческая способность обе равно присущи и равно необходимы философу и поэту. Величие философствующего ума и величие поэтического гения равно состоят в том, чтобы, при взгляде на предмет, тотчас уметь отличить его существенные черты от случайных, затем — правильно организовать их в своем сознании и уметь овладеть ими так, чтобы иметь возможность свободно вызвать их для всевозможных комбинаций»[2].

Художник обладает большой силой впечатления. Его поражает какой-либо жизненный факт, к нему он присоединяет ряд других аналогичных фактов, и, наконец, создает образ, тип, в котором сосредоточены все черты явления или только отдельные, характерные свойства. Мыслитель не так быстро поражается фактами, не так скоро делает свои выводы и заключения. Он долго собирает факты, анализирует их, наконец, делает выводы, когда обилие фактов, по его мнению, делает их неопровержимыми или достаточно крепко доказанными. Эти выводы потом входят в общую систему взглядов мыслителя и ученого. Поскольку мыслитель и художник одинаково пользуются фактами жизни и даже одними и теми же явлениями действительности, «совершенно ясным становится *значение художнической деятельности в ряду других от-*

---

[1] Том IV, стр. 280. «Луч света в темном царстве».
[2] Том IV, стр. 77. «Темное царство».

правлений общественной жизни: образы, созданные художником, собирая в себе, как в фокусе, факты действительной жизни, весьма много способствуют составлению и распространению между людьми правильных понятий о вещах»[1].

Можно много спорить о том, всегда ли литература распространяет правильные понятия о вещах, но совершенно верно, что литература, как и наука, собирая факты жизни, по-своему их отображая, дает определенное классовое представление о вещах. Таковая постановка проблемы свидетельствует о величайшей силе ума критика, о его величайшем уменьи ставить идеологию на службу своим классовым задачам. В послеоктябрьский период немало было исписано бумаги на тему о том, что литература при всем своем своеобразии — особый вид идеологии. Конечно, марксизм-ленинизм в это положение внес много уточнений, но нельзя отказать в глубине и широте постановки вопроса Добролюбовым.

Как и Белинский, Добролюбов подчеркивает разницу в способе мышления художника и человека науки. «Один мыслит конкретным образом, никогда не теряя из виду частных явлений и образов, другой стремится все обобщить, слить частные признаки в общей формуле. Но существенной разницы между истинным знанием и истинной поэзией быть не может»[2]. Чтобы художник не впал в односторонность, чтобы он мог разобраться в поразивших его явлениях, чтобы он показал правду жизни, он обязан стоять на уровне современного знания. Если его общие понятия ложны, то и произведения его ложны и вредны, и, наоборот, когда общие взгляды писателя верны и руководят им в выборе и обработке материала, произведение приобретает большую общественную значимость. Следовательно, спасаться от односторонности художник может в усвоении общих понятий, достигнутых наукой. В этом также заключается связь науки и литературы. Однако «свободное претворение самых высших умозрений в живые образы и, вместе с тем, полное сознание высшего, общего смысла во всяком, самом частном и случайном факте жизни — это есть идеал, представляющий полное слияние науки и поэзии и доселе еще не достигнутый»[3]. В 60-е годы прошлого столетия это была максимальная высота мысли.

Проблема, которая весьма остро стоит в наши дни, оказывается, со всей решительностью и определенностью была поставлена еще Добролюбовым. Но что для него было «еще никем не достигнутым идеалом», то в наши дни начинает постепенно осуществляться в творчестве пролетарских писателей. И чем дальше будет развиваться пролетарская литература, тем больше указан-

[1] Том IV, стр. 79. «Темное царство».
[2] Том IV, стр. 283. «Луч света в темном царстве».
[3] Том IV, стр. 80. «Темное царство».

ное единство будет расти, — будет крепче, стройнее, станет органическим.

III

В своей замечательной статье «О народности в русской литературе» Добролюбов писал: «Книжные приверженцы литературы очень горячатся за нее, считая прекрасные литературные произведения началом всякого добра. Они готовы думать, что литература заправляет историей, что она изменяет государства, волнует или укрощает народ, переделывает даже нравы и характер народный; особенно поэзия, — о, поэзия, по их мнению, вносит в жизнь новые элементы, творит все из ничего. В подтверждение своих взглядов они указывают на великие поэмы первых веков человечества, на поэзию индийскую, еврейскую, греческую и на продолжение их в творениях величайших гениев новых времен». Решительно отвергая этот идеалистический взгляд, критик вскрыл, что все явления указанных поэм «сами по себе не имеют действительности и с каждым годом все более отодвигаются в туманный мир призраков», а строгий историк гонит мечты поэта и дает более или менее действительное положение вещей.

Основной вопрос в литературно-критических взглядах Добролюбова, как и в его философских воззрениях, — вопрос об отношении литературы к действительности, к общественному развитию, к классовой борьбе. Без всяких длинных подходов и теоретических рассуждений он устанавливает тезис, что «поэзия и вообще искусства, науки слагаются по жизни, а не жизнь зависит от поэзии, и что все, что в поэзии является лучшим против жизни, т. е. не вытекающим из нее прямо и естественно, все это уродливо и бессмысленно» [1].

Литература не создает новых настроений и стремлений, «независимо от самих жизненных фактов». Критик много раз и настойчиво повторяет: «Не жизнь идет по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни». Этот строго фейербахианский взгляд он подкрепляет многочисленными примерами из истории русской литературы, из истории поэзии. Он видит, что «так было до сих пор не только у нас, — повсюду». Когда человек целиком находился во власти природы, видел ее населенной злыми и добрыми божествами, которые распоряжались его судьбою и перед которыми он жил в страхе, как перед грозными чудовищными существами, тогда и в поэзию он вносил эту чудовищность и свою задавленность. Когда же человек стал несколько понимать природу и представлять ее антропоморфически, антропоморфизм перешел в поэзию, что особенно хорошо видно

[1] Том I, стр. 148. «О народности в русской литературе».

в греческой поэзии с ее божествами, населяющими Олимп и наделенными человеческими свойствами: боги женятся, любят, имеют детей, ревнуют, ссорятся, наказывают друг друга и т. п.

Как материалист-фейербахианец, Добролюбов, обозревая греческую лирику, средневековые воззвания рыцарей, французские трагедии, наши оды XVIII века и обнажая те события и явления жизни, которые обусловили их появление, заявляет: «Конечно, не поэзия произвела все эти явления в жизни, а жизнь заставила иначе смотреть на поэзию. Пора нам освободить жизнь от тяжелой опеки, налагаемой на нее идеологами. Начиная с Платона, восстают они против реализма (читай: материализма. — *В. П.*) и еще, не поняв хорошенько, перепутывают его учение. Непременно хотят дуализма, хотят делить мир на *мыслимое* и *являемое*, уверяя, что только чистые идеи имеют настоящую действительность, а все являемое, т. е. видимое, составляет только отражение этих высших идей»... «Пора бы отстать и от отвлеченных идей, по которым, будто бы, образуется жизнь, точно так, как отстали, наконец, от теологических мечтаний, бывших в такой моде во времена схоластики» [1].

Противники Добролюбова не хотели понять его материалистического взгляда, вернее — поняли, но не хотели признать его из-за своих классовых соображений. Целой оравой они напали на него, крича: «Современник» принижает литературу и сводит нанет ее общественную роль. Конечно, это была явная клевета и очевидный абсурд. Именно Добролюбов всегда боролся за общественную функцию литературы, хотя и с большой резкостью продолжал развивать свои взгляды, разъяснять, что литература «не может изменить хода исторических событий, хотя бы и самых мелких»; она представляет «силу служебную» и «предупредить жизни» не может. «Если иногда и кажется, будто жизнь пошла по литературным убеждениям, то это иллюзия, зависящая от того, что в литературе мы часто в первый раз замечаем то движение, которое неприметно для нас давно уже совершилось в обществе»... «На вопросы жизни отвечает литература тем же, что находит в жизни же» [2].

В полемике Добролюбов даже несколько искажает свою мысль. Подчеркивая относительное значение литературы, он пишет: «По существу своему литература не имеет деятельного значения: она или только предполагает то, что нужно сделать, или изображает, что уже делается и сделано». «Деятельное значение» литературы, ее социальную функцию критик прекрасно понимал и временами, когда впадал в идеализм и слишком полагался на силу разума и просвещения, даже преувеличивал эту функцию.

[1] Том I, стр. 149. «О народности в русской литературе».
[2] Там же, стр. 152.

Отвергая теорию, по которой художник, как Прометей, похищает огонь с неба, оставляя за поэзией более скромную, но не менее важную роль, как «выражения общества и народа», Добролюбов рассуждал: «Потребности общественные возникают вследствие жизненных фактов; толпа долго смотрит на эти факты, не осмысливая их значения. Тут-то и есть настоящая работа для литературы. Люди умные, люди пишущие стараются схватить на лету первый проблеск новых потребностей, стараются подметить, собрать, разъяснить факты, в которых заключается зародыш нового движения, дать ему должное направление, указать его прямые последствия. После такого рассмотрения идей в литературе, они становятся сознательным достоянием массы и уже легко и правильно могут выражаться в административной деятельности государства и в нравственном направлении частных лиц»[1].

Мы оставляем в стороне вопрос, как литература действует на административную деятельность государства; нас интересует то, что критик сумел материалистически понять зависимость литературы от жизни и увидеть ее служебную роль, хотя бы и сбиваясь на просветительство. Нужно, однако, сказать, что Добролюбов не был таким последовательным просветителем, как Писарев. Он понимал, что «предупредить жизни литература не может, но предупредить формальное, принципиальное проявление интересов, выработавшихся в жизни, она должна. Пока еще известная идея находится в умах, пока она еще должна осуществляться в будущем, тут-то литература и должна схватить ее, тут-то и должно начаться литературное обсуждение предмета с разных сторон и в видах различных интересов. Но уже, когда идея перешла в дело, сформировалась и решилась окончательно, тогда литературе нечего делать»[2]. Эти соображения сильно ограничивают упреки критику в просветительстве.

Развивая свой тезис, Добролюбов указывает, что литература все же не всегда выполняет свою роль. Обращаясь к современности, он находит, что литература не только не разрешила ни одного злободневного вопроса, но даже и не подняла. Она тащится в хвосте событий. Деятельность критика протекала в последние годы крепостного права. Жгучий вопрос об «освобождении» крестьян стоял не только перед прогрессивной частью общества, но и перед самой монархией, перед помещиками-крепостниками. И все же литература «взялась за него, и то осторожно, не прямо, только тогда, когда он уже созрел в обществе», но литература могла бы сыграть величайшую роль в обсуждении вопроса, направляя его разрешение в сторону «естественных стремлений наро-

---

[1] Том VII, стр. 272. «Литературные мелочи прошлого года».
[2] Том I, стр. 220. «О народности в русской литературе».

да». Иначе, литература не смогла развернуть широкой агитации в пользу революционного разрешения крестьянского вопроса, в целях устройства крестьянства на правах свободного фермерства. А такая агитация могла вызвать сильные крестьянские волнения и заставить крепостников под влиянием революционной силы крестьянства пойти ему на существенные уступки.

Хотя Добролюбов и не говорит о диалектике, но он все же достаточно сильно владел этим оружием. Ограничивая роль литературы, даже как силы служебной, он в то же самое время показал, что в литературе есть немало деятелей, которые, благодаря своей гениальности и проникновенности в сущность жизни, в практических результатах своей деятельности превзошли многих практических деятелей, политиков и людей науки. Жизнь, общественные отношения дают художнику материал, ставят перед ним вопросы, а литература может и должна «схватить идею, покуда она еще не перешла в дело, находится в умах и не стала предметом обсуждения». Гениальные писатели «схватили» идею времени, сумели выразить ее в художественном действии, тогда как философы эту идею только еще предугадывали. Таковым, по мнению критика, был Шекспир. Он значительно выше Данте, Байрона, Гете. В нем с наибольшей полнотой «обозначалась целая новая фаза общечеловеческого развития».

Как видите, Добролюбов, выставив теоретическое положение, что литература целиком зависит от жизни и играет в обществе служебную роль, эту роль понимал как весьма высокую роль. Он видел, что в конкретных исторических условиях литература иногда совсем не понимает и не выполняет своей роли, а иногда выполняет эту роль с такой талантливостью, что переходит в вечность, волнуя и беспокоя общество.

В «Литературных мелочах прошлого года» Добролюбов подчеркивал: «Мы убеждены, что при известной степени развития народа литература становится одною из сил, движущих общество, и мы не отказываемся от надежды, что и у нас в России литература когда-нибудь получит такое значение. До сих пор нет этого, как нет теперь почти нигде на материке Европы, и напрасно было бы обманывать себя мечтами самообольщения... Но мы хотим верить, что это когда-нибудь будет»[1]. «От нее (литературы. — *В. П.*) требуют, чтобы она была не только языком, но очами и ушами общественного организма. В ней должны отражаться, группироваться и представляться в стройной совокупности все явления жизни. И именно с жизнью, с делом, с фактом, должен

---

[1] Том VII, стр. 316. «Литературные мелочи прошлого года».

иметь прямые отношения каждый, кто хочет выступать ныне в качестве литератора»[1].

Отстаивая органическую связь литературы с жизнью, ее высокую социальную функцию, Добролюбов порицает общество, когда оно снижает содержание и значение литературы. Он обрушивается и на самую литературу, когда она, сосредоточив внимание на «интересах минуты», «не смотря вдаль, не задавая себе высших вопросов», воображает, что решает важные социальные проблемы. Он припоминает ряд мелких и ничтожных вопросов, которые уже обсуждаются в законодательном и административном порядке, а литература за них только еще берется. С такой ролью литература не должна мириться. Если же она самодовольно успокоится в своем положении, ей нет оправдания. Она должна помнить, что «стремление молодых и живых людей русского общества гораздо выше того, чем обольщалась в последнее время наша литература».

Добролюбов понимает, что бывают такие исторические моменты, когда литература может служить только господствующим классам, может только «воспевать нелепые и беззаконные затеи класса победителей» и «восхищаться тем, от чего с презрением отвернулась бы в другое время». Однако, обращаясь к «Губернским очеркам» Щедрина, он дает такую характеристику русской литературы: «Литература продолжает свое дело добросовестно: служение делу общественного самосовершенствования она считает своим священнейшим назначением. Она уже навсегда теперь вышла из пеленок, и, что бы ни случилось, не получат в ней права гражданства ни швейцарские поздравления с высокоторжественными праздниками, ни лакейские оды на пожалование такого-то господина таким-то чином, ни трактирные дифирамбы в честь какого-нибудь праздника с фейерверками и иллюминацией. Литература деятельно продолжает свои вызовы на все хорошее и благородное; она попрежнему твердит обществу о честной и полезной деятельности, она все поет ту же песню: Встань, проснись, подымись. На себя погляди!»[2].

Изложенная позиция Добролюбова приобрела бы предельную ясность, если бы он не впадал в просветительство, если бы он мог стройно провести классовую точку зрения на природу и сущность литературы. Хотя критик, как увидим дальше, и понимал классовую роль литературы, но понимал ее смутно, и эта идея не была главной, основной, как она не была основной идеей и в мировоззрении его учителя Фейербаха. Это ему и мешало понять, почему в различные исторические моменты литература не оди-

[1] Том VII, стр. 541. «Любопытный пассаж в истории русской словесности».

[2] Том III, стр. 343.

наково активно выполняет свою общественную роль. В своей активности и пассивности, в сосредоточенности на больших общественных явлениях и на мелочах литература только отражает позицию своего класса, его общественную и политическую боеспособность. А Добролюбов в большинстве случаев рассматривал литературу и этот вопрос не с классовой позиции, а с общегосударственной, надклассовой. Делая эту идеалистическую ошибку, он все же прекрасно понимал общественное значение литературы как выразительницы определенных взглядов тех или других общественных групп.

С этой точки зрения Добролюбов расценивал творчество Островского, Гончарова, Тургенева, Достоевского, Щедрина, стихи Плещеева, стихи Кольцова, песни Беранже и др.

IV

Установив, что между знанием и искусством принципиальной разницы нет, что знание и искусство целиком обусловливаются жизнью, от нее зависят и ею направляются, Добролюбов требует, чтобы писатель свое поэтическое воображение соединял с философским мышлением, с психологической наблюдательностью, чтобы он давал изображение живой действительности, и давал это изображение «совершенно верно, чтобы угадан был самый дух событий».

Такая постановка вопроса обязывала молодого критика искать живую действительность в романе Гончарова «Обломов». Эту действительность он нашел, объяснив обломовщину как продукт крепостной России, как продукт гнилой, совершенно ненужный, бесполезный в новых условиях русской жизни. Живую действительность критик нашел и в творчестве Островского, вскрыл и показал все язвы, все больные места, показал целую галлерею людей, олицетворяющих эту действительность, начиная с Большовых и Кабанихи и кончая Катериной. Эту действительность критик вскрыл в повести Тургенева «Накануне». Елена — это живой человек, рожденный и воспитанный определенной классовой средой, из нее вырывающийся, но страдающий еще многими болезнями своего класса. А сколько живой действительности нашел критик в песнях А. Кольцова, повестях и рассказах Кокорева и Славутинского.

Фальшь, уход от действительности возмущали критика, поэтому он с ядовитостью и иронией относился к дворянским повестям о народе, поскольку в них жизненная правда, действительность вытеснялась классовыми особенностями поэтического дарования автора-дворянина. Повести Кокорева и Славутинского нравятся ему как «неподдельно верные действительности». Это и

побудило его написать в конце статьи о Славутинском: «Уж если выбирать между искусством и действительностью, то пусть лучше будут не удовлетворяющие эстетическим теориям, но верные смыслу действительности рассказы, нежели безукоризненные для отвлеченного искусства, но искажающие жизнь и ее истинное значение».

Подход к литературе, как к действительности, обязывал критика хвалить Славутинского за то, что он не «подлаживается» к читателю, не «заискивает перед народом», а «обходится с крестьянским миром довольно строго: он не щадит красок для изображения дурных сторон его, не прячет подробностей, свидетельствующих о том, какие грубые и сильные препятствия часто встречают в нем доброе намерение или полезное предприятие». Добролюбову «приятно видеть мужественное, прямое и строгое воззрение на простой народ». То же самое писал Чернышевский по поводу рассказов Н. Успенского в своей статье «Не начало ли перемены?» Он тоже резко и неодобрительно отзывался о дворянской маниловщине по отношению к народу, к прикрашенному, прекрасному и благородному его изображению. Ему нравились «мальчишки вроде Успенского», которые говорили о народе всю правду и, становясь с ним в равные отношения, раскрывали действительность во всей ее наготе.

Примеров, когда критик зовет к изображению живой, конкретной действительности, можно привести неисчислимое количество. Всякий, кто читал сочинения Добролюбова, должен видеть, что критик подходил к художественному произведению прежде всего как к живой действительности. Это было основное положение его реальной критики.

Как и Чернышевский, Добролюбов вслед за Фейербахом, отстаивая примат действительности над искусством, исходил из основного общеэстетического тезиса: «прекрасное есть жизнь». Как человек действенный, он любил жизнь бурную, незастойную, он любил жизнь в ее текучести и изменчивости, во всей ее многогранности, а не жизнь, хотя бы и прекрасную, но не существующую или застывшую на полотне. Он любил живую розу, хотя и быстро умирающую, предоставляя любоваться розой, вечно живущей на полотне, всем бегущим от тревог и опасностей жизни, всем ищущим покоя и тихого уюта.

Вместе с Чернышевским Добролюбов указывал, что «истинная, высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством». Отсюда и «существенное значение искусства совершенно в другом виде». Искусство не может заменить жизни; почерпая материал из жизни, отражая жизнь, изучая ее и воздействуя на нее, искусство не имеет самодовлеющего значения;

не в нем находят разрешение высшие запросы человеческого существования, а в самой жизни. Отражая действительность, искусство в своем развитии подчиняется тем же законам, что и развитие действительности. Жизнь в своем содержании различна: она имеет светлые и темные стороны, она — процесс борьбы угнетенных против угнетателей. Различно в своем содержании и искусство. Значение его целиком зависит от того, какую действительность оно отражает и как отражает. Искусство может быть и не прекрасно, если оно, например, отражает крепостное право, восхваляя его; не прекрасно искусство и тогда, когда сглаживает действительное положение дел, борьбу за «естественные стремления» человечества. Искусство прекрасно, когда оно идет навстречу «естественным стремлениям», в противном случае оно ложно, пагубно, хотя бы автор и владел мастерством. Искусство — «полная картина жизни в ее деятельном развитии, строго подчиненная всем вещественным условиям истины и вместе свободная в выборе занимательнейших точек зрения». Эта фейербахианская точка зрения, высказанная Добролюбовым еще в его юношеской статье «О романе», прошла через всю его литературно-критическую деятельность, уточняясь, развиваясь, но оставаясь все той же в самом существе, вызывая и предопределяя решение всех частных проблем.

Следует подчеркнуть, что и фейербаховское понимание действительности таило в себе идеалистические пороки. Белинский, развивая гегелевское положение, что действительное разумно, понял под действительностью все существующее и оправдал его. Чернышевский и Добролюбов, исходя из тезиса Фейербаха, что разумно только действительное, усомнились в разумности несуществующего, ограничили понятие действительности, но нередко все же подменяли ее тем, что должно быть согласно свойствам природы и человеческого существа. Фейербах, сосредоточивая внимание на действительности, звал очистить эту действительность от всяких ложных, фантастических вымыслов и этим призывом увлекал на путь просветительства. Призывая к точному изображению действительности в литературе, Добролюбов ставил перед писателем-художником ряд условий, благодаря которым он смог бы вскрыть ненормальность существующего и научить осуществить «естественные стремления» человека, как они понимались критиком. Отсюда вытекал просветительский взгляд, что поэзия должна служить нравственному возрождению человечества. Но и в этом грехопадении Добролюбов высказал исключительные по своей глубине мысли, в свете которых его просветительство не только теряло свой грубо идеалистический характер, но становилось материалистическим, утверждающим, что искусство есть учебник жизни, оно раскрывает сущность жизни, ее светлые и

темные стороны. Что же касается нравственного возрождения, то оно зависит от того, кто и как будет пользоваться искусством, кто и как понимает светлое и темное, кто чего добивается в общественной жизни, кто к какому классу принадлежит.

Какими же качествами должен обладать сам художник, чтобы воспроизвести действительность?

Чтобы художник мог передать действительность, он должен уметь понимать ее. Задача художника не во внешней передаче фактов, а в передаче их сущности, их движения и значения в общественной жизни. Добролюбов прежде всего и требует от художника, чтобы он шел «в уровень с жизнью», умел понимать и наблюдать ее движение. Писатель должен обладать не только поэтическим даром, умением глубоко чувствовать, художественно передавать воспринятое и заражать им читателя, но и стоять на высоте современного знания, которое давало бы ему возможность разобраться во всем многообразии жизни, понимать смысл и связь всего происходящего, пути и тенденции развития. Без этого художник, если он не одарен какой-либо особой гениальностью, бессилен передать действительность, не исказив ее сущности. Писатель идет впереди массы, вооруженный поэтическим талантом и глубоким знанием, он разъясняет массам смысл и значение происходящего. Предмет творчества — вся жизнь. Беря какой-либо кусок жизни, художник не может вырвать его из живой действительности, рассматривать его изолированно, вне общего хода истории.

Когда критику пришлось разбирать издание А. Афанасьевым народных русских сказок, он так и писал: «Вырвать факт из живой действительности и поставить его на полочку, рядом с пыльными фолиантами или классифицировать несколько отрывочных, случайных фактов, на основани школьных логических делений,— это значит уничтожить жизненность, которая заключается в самом факте, поставленном в связи с окружающей его деятельностью» [1].

Издеваясь над тупыми, спесивыми и браминообразными теориями обезличения человека и предопределенности всего в мире, смеясь над образованным человеком, который ищет в литературе приятного времяпрепровождения, Добролюбов заявляет: «Новая наука, признающая своим началом и концом живую действительность, поступает гораздо туманнее прежней науки-гастрономки, которую так нередко еще превозносят у нас и доныне и которая витала обыкновенно в высших, отвлеченных сферах, созданных досужим воображением. Новая наука, равно как и искусство, не пренебрегает ничем, интересуется всяким живым фактом, обо

[1] Том III, стр. 595.

всем рассуждает охотно, исключая конечно предметов призрачных, не имеющих реального значения, выдуманных разными браминами, рыцарями, банкирами и другими фокусниками»[1]. «Наука и литература захватывает себе всю область живой действительности, может быть не более пространную, но зато более плотную, чем туманная область метафизических абстракций»[2].

Добролюбов часто падал с высот материалистической мысли, никогда не поднимался до совершенного понимания диалектики, все же он понимал действительность в целом и в отдельных явлениях материалистически; понимал глубоко также роль развития и связь явлений. В этом отношении у него не было тех мучительных исканий, которые пережил Белинский. Ложное понимание действительности заводило Белинского в монархизм и православие. Добролюбов так не сбивался, его понимание действительности всегда вело к крестьянской революции, к свержению самодержавия, помещиков, к упразднению религии и т. д.

Эта основная материалистическая установка об отношении литературы и действительности вызвала и обусловила в своем решении ряд других проблем, которые имеют существенное значение как в теоретико-литературных взглядах критика, так и в его практической деятельности.

V

Вполне естественно, что Добролюбов был решительным противником «искусства для искусства». Со сторонниками этого течения он широко и энергично развернул полемику и борьбу. Противники критика пытались представить его человеком, которому чуждо понятие прекрасного, эстетического. Это вздор конечно. Чувством прекрасного, как мы уже отметили, критик обладал с ранних лет, только он понимал это прекрасное иначе, чем его противники, видел и искал его в другом направлении, чем они. К раскрытию понятия прекрасного, поэтического критик возвращался не раз. С большей обстоятельностью он делал это в статьях о Кольцове и Никитине. Он требует от поэта живых, определенных прекрасных образов, требует, чтобы поэзия воспламеняла чувство, а это достигается «всегда живыми образами, а не общими понятиями», не «холодными рассуждениями». По мнению критика, «поэзия основывается на внутреннем чувстве нашем, на влечении нашей души ко всему прекрасному, доброму и разумному. Поэтому ее нет там, где участвует только какая-нибудь одна из этих сторон нашей духовной жизни, подавляя собою обе другие»[3]. По-

[1] Том III, стр. 592.
[2] Там же, стр. 593
[3] Том III, стр. 74. «А. В. Кольцов».

нять истину, стремиться к добру может всякий порядочный человек, но «сильно *почувствовать* и правду, и добро, найти в них жизнь и красоту, представить их в прекрасных определенных образах, — это может только поэт и вообще художник»[1].

Подчеркивая в поэзии примат чувства, критик отмечает, что рассуждения не могут заменить чувства, восприимчивости к явлениям жизни и природы. Поэзия — «в простоте и естественности явления». Вне всего этого получаются нравоучения, общие фразы, скука. Красоту надо искать в самом предмете, явлении, а не придумывать ее. Поэт должен свои впечатления «выразить так, чтобы дать их и другим почувствовать». Добролюбов нападал на Никитина, потому что «в самых, повидимому, задушевных его пьесах мы слышим не вопль души, а рассказ человека, рефлектирующего о своих страданиях и старающегося рассказать о них приличным тоном и хорошим слогом»... «Мы видим, что ум и чувство его — в разладе с той обстановкой, в которую поставлен он судьбой; но этот разлад есть общее место, и, говоря о нем отвлеченно, можно высказать много умных вещей, но нельзя написать поэтического, живого произведения»[2].

Требуя от поэзии сильного чувства, конкретности, естественности, простоты, мысли, он хвалит Пушкина, Гоголя и настаивает на том, чтобы предметом поэзии было «всякое жизненное явление». «Простые мотивы народной жизни» не профанируют искусства, их надо вводить в поэзию. «Теперь жизнь со всех сторон предъявляет свои права, реализм вторгается всюду, на зло мистификаторам всякого рода. Жизненный реализм должен водвориться и в поэзии, и ежели у нас скоро будет замечательный поэт, то, конечно, уж на этом поприще, а не на эстетических тонкостях. Восход солнца, пение птичек, блаженство сладострастия, неопределенное томленье о чем-то, воспоминания из мифологии и т. п. теперь могут быть изображены и очень хорошо и доставить минутный успех поэту; но никогда не привлекут к нему того живого, деятельного и энергического сочувствия, которое всегда появляется в обществе к людям, *нужным* в известную эпоху, не даром живущим на свете. В свое время нужными людьми для нашего общества были — не только Пушкин и Лермонтов, но даже и Карамзин и Державин. Теперь, если бы явился опять поэт с тем же содержанием, как Пушкин, мы бы на него и внимания не обратили; Лермонтов и теперь еще мог бы занять многих, но и он все-таки не то, что нам теперь нужно. Нам нужен был бы теперь поэт, который бы с красотою Пушкина и силою Лермонтова умел

---

[1] Том III, стр. 76. «А. В. Кольцов».
[2] Том V, стр. 530. «Стихотворения Ив. Никитина».

продолжить и расширить реальную, здоровую сторону стихотворений Кольцова»[1].

Таково понимание критиком прекрасного со стороны содержания и формы. Это понимание ясно, определенно, конкретно. Прекрасное в поэзии зависит от глубины мысли, силы чувства, реальности и актуальности предмета: «Пластика в поэзии — роскошь, прихоть, аксессуар; поэтам, ничего не имеющим, кроме пластического таланта, мы можем удивляться, но удивляться точно так же, как блестящему виртуозу, которого все достоинство состоит в искусном преодолении технических трудностей игры... Дело поэзии — жизнь, живая деятельность, вечная борьба ее и вечное стремление человека к достижению гармонии между собою и с природой. Давно замечен разлад человека со всем окружающим, и давно поэзия изображала его. Но причины разлада искали прежде то в таинственных силах природы, то в дуалистическом устройстве человеческого существа, и сообразно с этим поэзия разрабатывала внешнюю природу и психологический антагонизм человека. Теперь более простой взгляд входит в общее сознание: обращено внимание на распределение благ природы между людьми, на организацию общественных отношений. Во всех науках поэтому разрабатывается понятие об обществе; поэзия (в обширном смысле) тоже давно взялась за этот предмет: роман, создание нового времени, наиболее распространенный теперь изо всех видов поэтических произведений, прямо вытек из нового взгляда на устройство общественных отношений, как причину всеобщего разлада, который тревожит теперь всякого человека, задумавшегося хоть раз о смысле своего существования. В лирике нашей мы видели до сих пор только начатки в этом роде, но отсюда вовсе не следует, чтобы новое содержание поэзии было недоступно для лирики или несовместимо с нею. Нет, оно рано или поздно овладеет всей областью поэзии; оно одушевит собой и лирику, но только несколько позднее. Вслед за открытием, что человек мучится и томится, увлекается и падает, подымается и веселится — не от власти темных сил и неизбежной судьбы и не от того, что в нем сидят два противоположных начала, а просто от большей или меньшей неправильности общественных условий, под которыми он живет, — всегда за этим сознанием необходимо должно было последовать *изучение* всех общественных неправильностей. Для такого изучения прежде всего оказался удобным роман и вообще эпический род; вместе с тем драма, прежде имевшая своей задачей раскрытие психологического антагонизма, также подверглась существенному изменению, и под влиянием новых общественных воззрений, превратилась тоже в изображение об-

[1] Том V, стр. 537. «Стихотворения Ив. Никитина».

щественных отношений. Теперь очередь за лирикой: она давно уже порывается в ту же область, то прямо избирая эпический сюжет для маленького стихотвореньица, то пытаясь воспевать чувства, возбужденные в душе известными явлениями общественной жизни. Но все это пока еще довольно слабо, потому что поэты наши считают почему-то нужным сторониться от общественной деятельности, повторяя вслед за Пушкиным:

Служенье муз не терпит суеты.

Критики, зараженные слухами об эстетических теориях, поддерживают их в этом отношении, уверяя, что, когда идет ломка и перестройка общественного здания, тогда поэт должен быть не при чем, ибо он рожден не для житейского волненья и пр. ...Но само собою разумеется, что слабость лирики нового содержания происходит вовсе не от увещаний эстетиков, а просто от того, что в обществе никакой существенной ломки и перестройки еще нет, а идет только изучение и изучение. Когда же изучение приведет, наконец, к чему-нибудь, когда действительно придет возможность какой-нибудь переделки в общественных правах и отношениях, тогда, конечно, посреди рабочих практиков не преминует явиться и энергический лирик с поэтическим словом одушевления и одобрения.

А теперь пока мы должны хоть мало-по-малу привыкать к сознанию бесплодности фантазерства и малярства в современной поэзии, должны не пропускать без внимания хоть тех несовершенных попыток, в которых сказывается возможность для нее нового содержания»[1].

Из этой длинной, но весьма интересной цитаты видно, что Добролюбов не только понимал сущность прекрасного, но и ясно видел, как в жизни меняется содержание прекрасного, какие формы оно принимает. Что заслуживает исключительного внимания, так это то, что эту смену он тесно увязывал с развитием общественной жизни, с политической борьбой, с той классовой борьбой, которая развертывалась вокруг реформы крепостного хозяйства. Суждения Добролюбова ясны и конкретны Тут он поднимался на изумительную для его времени высоту мысли. Конечно, суждения критика нуждаются сейчас в уточнении, но в свое время они были гениальны даже в своих неточностях. Он первый из русских критиков сумел связать с развитием общественных отношений, со сменой общественных формаций, с классовой борьбой, развитие не только содержания, но и формы литературно-художественного явления.

---

[1] Том V, стр. 549. «Стихотворения Ив. Никитина».

Как смешны и беспомощны были его враги! И жалки и лживы их слова об отсутствии у критика чувства прекрасного. Прекрасное Добролюбов чувствовал не меньше их, но по-иному, по-своему, со своей классовой позиции.

Теперь совершенно ясно, почему Добролюбов жестоко напал на проповедников и теоретиков так называемого чистого искусства. Он вскрыл не только нелепость их теории, но и показал ее классовый смысл, ее реакционную направленность против поднимающегося общественного протеста демократии того времени. Силу своей аргументации Добролюбов показал в связи с выходом в свет московского литературного сборника «Утро». В сборнике между произведениями Погодина, Хомякова и Колошина были помещены критические статьи Б. Алмазова, Е. Эдельсона, членов молодой редакции журнала «Москвитянин». Добролюбов тщательно выбирает все антиобщественные моменты сборника. Особенно внимательно он останавливается на писаниях Алмазова. Критик клеймит его за то, что он доказывает, что если в поэзии «развивается какая-нибудь философская идея, если поэт хочет что-нибудь доказать,— оно уже лишено свежести и представляет натяжки в построении», так как «давно всеми признано за истину, что решение политических и общественных вопросов не дело поэзии, *что они вредят поэтическим произведениям*». Под видом искренности критики Алмазов объявлял, что «практическая, да и всякая жизнь — противоположна поэзии, так как жизнь есть ряд беспрерывных изменений, а истинный поэт должен говорить о том, что неизменно». «Он говорит только о том, о чем призван говорить, — о боге, красоте, сердце человеческом, о том, что неизменно, вечно, что нужно для всех веков и народов» [1].

Смеясь над нападками Алмазова на утилитарную литературу, Добролюбов высмеивает его суждения о Пушкине, как поэте выше Байрона, Шиллера, Гете. Каждый из этих поэтов, по мнению Добролюбова, служил какой-нибудь идее, резрешал какую-нибудь нравственную задачу; Пушкин же служил чистому искусству. Наклонность к государственной деятельности, к научным исследованиям и философии, по мнению Алмазова, «вредит поэтическому созерцанию»... Поэт с такими наклонностями ничто. «Красы природы его не занимают; мечтаниям и грезам труден доступ к душе его». Добролюбов называет эту позицию шутовской.

Вскрыв всю идеологическую гнилость авторов сборника, Добролюбов выясняет общественное значение теории так называемого чистого искусства, вскрывает ее классовую сущность. Прежде всего критик отмечает, что вопрос о «чистой художественности» не нов, что сторонники этого взгляда четкой теории не дали. Это

---

[1] Том V, стр. 227. «Стихотворения Ив. Никитина».

происходит по вине самих сторонников искусства для искусства, поскольку они стараются свою теорию незаконно подменить требованиями соответствия формы и содержания, умением воспринимать жизнь, природу, «поэтически изображать их, переливать свое чувство в читателя». Эти требования к художнику вполне естественны и законны, и не в них критик видит суть дела. Сущность этой теории критик видел в ее антиобщественном направлении, в том, что сторонники «чистой художественности» хотят «ни больше, ни меньше, как того, чтобы писатель-художник удалялся от всяких жизненных вопросов, не имел никакого рассудочного убеждения, бежал от философии, как от чумы, и во что бы то ни стало, *распевал бы, как птичка на ветке,* по выражению Гете».

Сторонники чистого искусства неглупые люди, они не высказывают своих взглядов во всей их оголенной реакционности,— они прячутся, прикрываясь разного рода оговорками и ограничениями, представляя своих противников людьми, которые якобы не умеют «понимать ничего прекрасного и не имеют высокой страсти ни к чему, кроме приобретения материальной пользы». Это была грубая, циничная вульгаризация взглядов общественников в литературе, но благодаря этой вульгаризации теория чистого искусства «получила вид довольно приличный и обманывала даже многих людей, не совсем глупых».

Авторы сборника в своем предисловии оговорились, что они не принадлежат ни к какой «торгово-литературной фирме», т. е. к какой-либо журнальной партии, выражающей идеологию и политические интересы стоящего за ней класса. Вскрыв, что под «чистым искусством» скрывается самое очевиднейшее классовое искусство, а под беспартийностью — самая определенная партийность, Добролюбов определяет их классовую линию. Это сделать было нетрудно. Это была молодая редакция «Москвитянина», органа, идущего по стопам славянофильского направления. Ей, «*пристальному* читателю летописей», «*предопределенному* наблюдателю народной жизни», достался изумительный удел: «*дышать тем, что вырастает внутри тебя*». «В Москве, как в сердце, *сосредоточиваются* все существенные биения народной жизни, все *самые горячие приметы* народного характера, самые резкие признаки русского типа». Подчеркнув органическую связь молодой редакции со старой редакцией, вспомнив о пресловутых «*заложениях*», которые в них образовались уже несколько лет назад, Добролюбов саркастически замечает: «Кто, кроме тебя, может дышать такими прелестями? Все люди дышат воздухом, *внешним* воздухом; ты только можешь дышать «убеждениями, выросшими в тебе самом». Бедный! Я не завидую твоим легким, твоему обонянию и всему твоему *уделу*» [1].

[1] Том V, стр. 209. «Стихотворения Ив. Никитина».

Переведем эту цитату на политический язык. Добролюбов выразил мысль, что нам надо дышать внешним воздухом, воздухом Западной Европы, стремясь к установлению в России на первое время хотя бы буржуазно-демократического порядка. Те же, которые хотят дышать «заложениями» русской жизни, хотят старого «удела», хотят самодержавия, народности и православия. Они — враги народа, враги крестьянства.

Показав всю реакционность классовых позиций сторонников чистого искусства, Добролюбов зовет поэзию служить жизни, служить освобождению народа от самодержавно-крепостного режима. Это и заставляло критика уклоняться в литературной деятельности от эстетической критики, сосредоточиваясь исключительно на общественном значении литературного явления. Это заставляло его повторять: «К сожалению, мы не чувствуем в себе призвания воспитывать эстетический вкус публики». Заниматься этим делом он предоставлял «чувствительным барышням». Перед критиком стояла величайшая задача крестьянской революции, на ней было сосредоточено все его внимание. К ней Добролюбов приковывал внимание общества, вскрывая явных и скрытых противников демократии новой России.

Позицию противника Добролюбов сформулировал так: «Напрасно только литература унижает себя, опускаясь из светлых высот фантазии в омут грязной действительности. Она должна приносить чистые жертвы на алтарь муз, а вместо того жрецы берутся за метлу. Вы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв; зачем же вы пускаетесь в житейские волнения, зачем преследуете какие-то цели, достижение которых вас, кажется, интересует? Искусство целей вне себя допускать не должно. Иначе оно искажается, профанируется, низводится на степень ремесла, и все это без малейшей пользы для общества, единственно затем, чтобы дать исход желчи какого-нибудь господина. Оставьте лучше этот род: он не приводит ни к чему хорошему. Вековой опыт должен убедить вас в этой непреложной истине. Изображайте нам лучше чувства возвышенные, натуры благородные, лица идеальные. Дайте нам образцы доброго, изящного, которыми мы могли бы восхищаться, на которых душа наша могла бы отдохнуть и успокоиться от треволнений и сердечных зрелищ жизненного поприща. Пишите об искусстве, о предметах, повергающих сердце в сладостное умиление или благоговейный восторг; описывайте, наконец, красы природы, неба... Тогда ваша литература будет исполнять свое прямое назначение — служение искусству — и, следовательно, будет полезна, приятна и, главное, художественна»... «Когда же художник более подчиняется заранее предположенной цели, — тогда ли, когда в своих произведениях выражает истину окружающих его явлений, без утайки

и прикрас, или тогда, когда нарочно старается выбрать одно возвышенное, идеальное, согласное с опрятными инстинктами эстетической теории? И чем же искусство более возвышается, — описанием ли журчанья ручейков и изложением отношений дола к пригорку — или представлением течения жизни человеческой и истолкования различных начал, различных интересов общественных? Вам угодно называть служителей общественного интереса подметателями сора. Пусть так; мы против этого спорить не станем; мы даже выскажем вам искреннюю благодарность и удивление к вашей эстетической мудрости»[1].

Как революционер-демократ, Добролюбов отказался от «возвышенных чувств» и взялся за «метлу», чтобы расчистить дорогу крестьянской революции, чтобы смести в мусор истории самодержавно-крепостной режим, а вместе с ним, как реакционеров, и сторонников «чистой художественности».

VI

Показав, что «дело поэзии — жизнь», а «чистая художественность» — прикрытие реакции, Добролюбов, как и Белинский, должен был не раз возвращаться к вопросу об отношении искусства к действительности, о значении литературы для той или иной общественной группы.

Разрешая этот вопрос, Добролюбов дал четкие, ясные ответы, не допускающие никаких сомнений, кривотолков, оговорок. Свои ответы он даже нарочито заостряет, своими ответами он раздражает противника, злит его, бьет, принимая удары и сам.

Действительность, которую должна отражать литература, по мнению критика, — это не «шопот, ропот, тихое дыханье», не трели соловья и не луна, это не индивидуалистические переживания, а общественная жизнь во всей ее сложности, во всем ее многообразии, с экономической, политической и идеологической борьбой классов, со всей борьбой за продвижение вперед, к более совершенному, к более справедливому общественному порядку, вплоть до такого порядка, при котором не было бы эксплоататоров и эксплоатируемых, при котором «естественные потребности» человека нашли бы себе полное удовлетворение. На этом пути обществу предстоит разрешить целый ряд предварительных задач, больших и малых, придется преодолеть величайшие трудности классовой борьбы, разрушить начисто, навсегда самодержавие и крепостное хозяйство. Все это литература должна отразить, и отразить не пассивно, не фотографически, а принимая непосредственное, активное участие во всем этом сложном историческом процессе.

[1] Том III, стр. 369, 370. «Губернские очерки» Щедрина».

Добролюбов устанавливает, что русская литература развивается по мере расширения и укрепления образованности. Класс образованных не велик, мал, он составляет ничтожное меньшинство. Литература — в руках этого ничтожного меньшинства, интересы этого образованного меньшинства она и отражает. Поскольку меньшинство занимает в жизни привилегированное, командующее положение, оно не может отражать интересы угнетенного народа. Итти навстречу интересам народа, итти против самого себя, наносить удары собственному благополучию, — на это меньшинство, за исключением отдельных, редких личностей, пойти не может. Народ своей литературы не имеет, его кровные интересы отражения в литературе не находят. Образованное меньшинство даже при расположении к народу не в силах, не может в художественных образах изобразить жизнь народа. Оно подходит к народу со своей классовой точки зрения даже и тогда, когда готово за него пострадать.

Тургенев проявил много внимания к крестьянству в своих «Записках охотника», однако, несмотря на все свои симпатии к крепостному крестьянину, на всю идеализацию его, дальше умеренного либерализма он не пошел, не мог пойти, это было не под силу его гуманной дворянской природе. Сознавая это, Добролюбов писал: «Чтобы быть поэтом истинно народным... надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, став вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., прочувствовать все тем простым чувством, каким обладает народ»[1]. С этой точки зрения он защищал повести Вовчок, Кокорева и Слепутинского, считая их действительно народными, отражающими различные стороны народной жизни, поскольку в них преобладало не книжное отношение к действительности народной жизни, а была сама жизнь, голодная, больная, искалеченная, полная ужаса и страданья.

Добролюбов твердо устанавливает, что русская литература — литература привилегированного образованного меньшинства, отражает его интересы. Литературы народа еще нет, но критик надеется, что, когда все будут образованы, когда народ будет выделять своих художников, тогда литература, нет сомнений, будет отзываться на потребности всех, расширив круг своего действия и избавившись от духа кружков и партий». Однако, народная струя проникла в литературу, не дожидаясь всеобщей образованности и даже простой всеобщей грамотности. Как это произошло?

На этот вопрос критик дает ряд в высокой степени важных соображений, совершенно новых в то время. В очень богатой содержанием статье «О народности в русской литературе» Добро-

---

[1] Том I, стр. 205. «О народности в русской литературе».

любов дает социологическую картину того, при каких общественных условиях, в каой мере в литературу проникал элемент народности. Он дает замечательные характеристики народному творчеству, творчеству Державина, Батюшкова, Карамзина, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других. Он показывает, в силу каких классовых условий не было народности у одних писателей, в какой степени и почему она проявлялась у других. В данном случае нас интересует не конкретная характеристика творчества того или другого писателя, а то, что в своих теоретических рассуждениях критик от общих формулировок о литературе образованного меньшинства начинает постепенно подходить к вопросу о классовом характере литературы.

Он поднимается на высоту, совершенно недоступную его противникам; он дает формулировки, превосходящие все бывшие тогда в ходу установки. Критик выявил не только понимание классовой борьбы в общественной жизни, в политике, но и то, как эта классовая борьба преломляется и отражается на идеологическом фронте, на участке художественной литературы. Он заявлял: «Массе народа чужды наши интересы, непонятны наши страдания, забавны наши восторги. Мы действуем и пишем, за немногими исключениями, в интересах кружка, более или менее незначительного; оттого обыкновенно взгляд наш узок, стремления мелки, все понятия и сочувствия носят характер парциальности. Если и трактуются предметы, прямо касающиеся народа и для него интересные, то трактуются опять не с общесправедливой, с человеческой, не с народной точки зрения, а непременно в видах частных интересов той или другой партии, того или другого класса. В нашей литературе это последнее обстоятельство еще не так заметно, потому что вообще у нас в прежнее время мало толковали о народных интересах; но в литературах западных дух парциальности выставляется значительно ярче. Всякое явление историческое, всякое государственное постановление, всякий общественный вопрос обсуждается там в литературе с различных точек зрения, сообразно интересам различных партий. В этом, конечно, ничего еще нет дурного, — пусть каждая партия свободно выскажет свои мнения: из столкновения разных мнений выходит правда. Но дурно вот что: между десятками различных партий никогда нет партии народа в литературе. Так, например, множество есть историй, написанных с большим талантом и знанием дела, и с католической точки зрения, и с рационалистической, и с монархической, и с либеральной, — всех не перечтешь. Но много ли явилось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы, для людей вообще, а не для нескольких титулованных личностей, за-

воевателей, полководцев и т. п.? Политическая экономия, гордо провозглашающая себя наукою о *народном* богатстве, в сущности заботится только о возможно выгоднейшем употреблении и возможно скорейшем увеличении капитала, следовательно, служит только классу капиталистов, весьма мало обращая внимания на людей бескапитальных, не имеющих ничего, кроме собственного труда. Несколько голосов поднималось, правда, во Франции в защиту этих беспомощных людей от одностороннего могущества капитала; но капиталисты назвали эти голоса безумием и сочинили против них великое множество систем, в которых строго логически доказывали, что никто не имеет права запретить им приумножать свои капиталы посредством труда людей бескапитальных. Да уж что говорить о науках! Даже поэзия, всегда столь сочувствовавшая всему доброму и прекрасному и презиравшая мелкие, своекорыстные расчеты, даже поэзия постоянно увлекалась духом партий и классов и только в немногих частных явлениях возвышалась до точки зрения чисто человеческой, превышающей частные интересы кружков или каких-либо особенных личностей. Она избирала всегда возвышенные идеи, возвышенные личности, далеко выдающиеся от толпы, и редко опускалась до простого народа» [1]. «Если же когда вздумается литератору взглянуть и на свои отношения к массе, то он взглянет на это непременно по-своему, с точки зрения собственных интересов». Обозревая литературу, касающуюся крестьянской реформы 1861 г., критик писал: «Действительно, мысль о помещичьих правах и выгодах так сильна во всем пишущем классе, что как бы ни хотел человек даже с особенными натяжками *перетянуть* на сторону крестьян, а все *не дотянет*» [2].

Посошков, например, решился рассуждать «о вопросах политической экономии, — о средствах умножить избыток в народе и отвратить скудность». Хотя он был и крестьянин по происхождению, но «не был вполне представителем своего класса, а скорее выходцем из него: он занимал какую-то начальственную должность, и в его рассуждениях, вместо естественного побуждения прямых нужд народных, видны нередко разные административные виды». Приводит Добролюбов и другой пример — Ломоносова. «То, что в маленьких размерах приметно у Посошкова, в колоссальном виде выказалось у другого крестьянина... Ломоносов сделался ученым, поэтом, профессором, чиновником, дворянином, чем вам угодно, но уж никак не человеком, сочувствующим тому классу народа, из которого вышел он». Если Ломоносов иногда и выступал в защиту народа, то это делалось «в видах отвлеченной доб-

[1] Том I, стр. 158. «О народности в русской литературе».
[2] Том VII, стр. 296. «Литературные мелочи прошлого года».

родетели и справедливости и отчасти даже для красного словца, а ничуть не по глубокому сердечному сочувствию к нуждам народа»[1]. Не имея строго разработанной научной теории о классах, Добролюбов все же сравнительно четко политически обнажил классовое происхождение и классовое содержание художественного творчества. Он даже подметил, что на Западе литература выражает классовые интересы капиталистов, а у нас, в России, классовые интересы помещиков. Это — колоссальное движение мысли вперед не только в литературоведении, но и вообще в науке того времени. У Добролюбова это не обмолвка, не случайная оговорка, не мимоходом брошенное замечание, которое скоро забылось и не имело никакого значения в критической деятельности писателя. Наоборот, положение о классовости литературы в более или менее ясных или туманных формулировках всегда проникает в статьи критика. Правда, его позиция сбивчива, невыдержанна, но при внимательном чтении его работ всегда можно видеть, как он классу капиталистов и помещиков противопоставляет «класс народа».

«Класс народа» — социальная категория сколь широкая, столь и неопределенная. Из кого состоит народ, в каких взаимоотношениях живут отдельные слои народа, насколько народ солидарен в своих интересах и своей борьбе, — все эти вопросы не получили освещения. Поскольку, однако, критик подошел к вопросу о партийности в литературе, за что его громил Ф. Достоевский, критик вынужден был сказать более конкретно и обстоятельно и о народе и о его борьбе. Под народом, как мы уже указывали, Добролюбов разумел тот общественный класс, интересы которого являются «общесправедливыми», «общечеловеческими», тот класс, который, взяв в свои руки политическую власть, может установить государственный строй, в котором каждый мог бы жить согласно своим «естественным стремлениям». Таким классом, как хорошо известно, является пролетариат, а не народ вообще, не крестьянство, не городская беднота, не умственные труженики, не все они вместе. Этого Добролюбов не сознавал. Всюду он оперирует народом, как классом.

Констатировав, что в литературе нет партии народа, критик отметил, что временами у отдельных писателей интересы народа все же находят свое отражение. К числу таких писателей он относит, например, Гейне. Ф. Энгельс, говоря о Гейне, как политике, отозвался о нем совсем не лестно, сравнив его с прохвостом Горацием, но это нисколько не помешало ему написать про поэта: «немцы — профессора, государством назначенные наставники юношества; их сочинения — одобренные начальством руководства,

---

[1] Том I, стр. 192. «О народности в русской литературе».

а система Гегеля, — венец его философского развития, — как бы возводится даже в чин королевско-прусской государственной философии. И за этими профессорами, в их педантически-темных словах, в их неуклюжих, скучных периодах скрывалась революция?! Да разве люди, считавшиеся тогда представителями революции, — либералы, — не были самыми рьяными противниками этой философии, наполнявшей туманом человеческие головы? Однако, то, чего не замечали ни правительство, ни либералы, видел уже в 1833 г. по крайней мере, один человек: правда, он назывался Генрих Гейне»[1]. Добролюбов принимал Гейне, поскольку последний полагал весь смысл искусства и философии в том, чтобы «пробуждать от сна задремавшие силы народа» и тем способствовал разрешению основной политической задачи в России. Писарев снижал Гейне; Добролюбов революционные мысли поэта нес в широкие массы.

Восхищался критик и Беранже, когда тот писал:

Le pauvre a-t-il une patrie?
Que me font vos vins et vos blés,
Votre gloire et votre industrie,
Et vos orateurs assemblés!

Рассматривая русское народное творчество, русскую литературу, русскую сатиру, критик не нашел во всем этом той народности, которая выступала бы под лозунгом: «Пройдет на земле царство меча, и невозможны будут поработители».

С большим сочувствием критик отнесся к Лермонтову за то, что он постиг язвы современного общества и понял, что «спасение от этого ложного пути только в народе».

Особое внимание критик уделил Кольцову. В нем он видел поэта, который сам почувствовал и других заставил почувствовать горе и радость народной жизни. Но он недоволен тем, что у поэта «недостает всесторонности взгляда; простой класс народа является у него в уединении от общих интересов, только с своими частными житейскими нуждами».

Критик ждет от народного поэта, что он, показав ужасы эксплоатации и рабства, призовет народ к активности и одновременно убедит его, что выход из положения не в решении частных вопросов народной жизни, а в решении основного вопроса — о самодержавии и крепостном праве.

К идеологам «класса народа» Добролюбов относил и тех художников слова, которые изображали жизнь в ее действительном содержании. Он хвалил Гоголя, поскольку последний изобразил ужасы, кошмары и пошлость русской крепостной действительно-

[1] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс.* Сочинения, т. XIV, стр. 635. «Людвиг Фейербах».

сти, и сожалел, поскольку Гоголь испугался этой пошлости, отвернулся от нее и ушел в мистику.

Кольцова же критик хвалит, поскольку поэт имеет «светлый взгляд на предметы» и «разумную мысль». В нем он видит первого поэта, который «стал представлять в своих песнях настоящего русского человека, настоящую жизнь наших простолюдинов, как она есть, ничего не выдумывая». Особенно критику нравилось то, что Кольцов, как «великий народный поэт», выразил убеждение, что «нужно бороться с обстоятельствами и что беспечность непременно ведет к лени и усыплению», что поэт сознает бесполезность «строить воздушные миры и мечтать про высоты», что он возлагает разрешение социальных вопросов на народ, поднимая его активность.

Критику казалось, что, поскольку писатель изображает действительную жизнь, он вынужден изображать ее черными красками, со всеми язвами и убожеством; эта жизнь несомненно вызовет отвращение и воспитает вражду к существующему порядку и одновременно сочувствие ко всем угнетаемым, порабощенным. Особенно критик ценил, когда описывалась мученическая жизнь самого народа. Добролюбов в изображении народной жизни отыскивал, однако, не только мрачные стороны, которые звали бы к мщению; он отыскивал народные силы, нужные в грядущей борьбе.

Наконец, необходимо остановиться на отношении критика к Пушкину. Понимание классовости литературы сказалось тут с наибольшей остротой, хотя критик и не употреблял соответствующей терминологии. Добролюбов прежде всего подчеркивал, что Пушкин старинного дворянского рода. Но это обстоятельство само по себе, по мнению критика, совершенно ничтожно в жизни поэта. Этот потомок старинного дворянства обратил «мысль народа на те предметы, которые именно должны занимать его, и отвлекся от всего туманного, призрачного, болезненно-мечтательного, в чем прежде поэты находили идеал красоты и всякого совершенства». «Пушкин в своей поэтической деятельности первый выразил возможность представить, не компрометируя искусства, ту самую жизнь, которая у нас существует, и представить именно так, как она является на деле» [1]. Овладев «*формой* русской народности», Пушкин, однако, не мог порвать навсегда связей со своим классом, «стать вровень» с народом. Он был бессилен в своем отчаянии. «Внутри его не было ничего, во имя чего можно было бы предпринять обличение жизни». В последнее время поэт «отвращался даже от тех проявлений народности, какие заходили из народа в общество, окружавшее Пушкина... Жизнь все шла вперед; мир действительности, открытый Пушкиным и воспетый им так очарова-

[1] Том I, стр. 203. «О народности в русской литературе».

тельно, начал уже терять свою поэтическую прелесть; в нем осмелились замечать недостатки уже не во имя отвлеченных идей и заоблачных мечтаний, а во имя правды самой жизни. Ждали только человека, который бы умел изобразить недостатки жизни с таким же поэтическим тактом, с каким Пушкин умел выставлять ее прелести» [1]. Явился Гоголь. Загорелся страстный спор о пушкинском и гоголевском направлениях. Добролюбов ошибочно думал, что Пушкин не мог понять дух народа и встать с ним вровень в значительной степени по недостатку серьезного и глубокого образования, и все же он высказал мысль, что Пушкин не стал народным поэтом из-за своей классовой идеологии.

Так же Добролюбов объясняет и творчество Тургенева. Тургенев отстал от жизни. Он видит ее, пытается понять и объяснить, но безуспешно. Его понимание чуждо революционной демократии, поскольку Тургенев отстаивал позиции умеренно-либерального дворянства, готового отказаться от крепостного права, но мирящегося на умеренной конституции.

Добролюбов требовал от писателя, чтобы он стал на классовые позиции народа. Представители дворянской литературы кричали: это утилитаризм, дидактизм, это проповедь и рассуждение, а не поэзия, не художественная литература; высокую поэзию нельзя сводить на роль служанки. Крича так, они, однако, прекрасно понимали классовые задачи, которыми руководился в своей деятельности Добролюбов.

С особой ясностью сказалось это в письме Боткина к Фету: «Я теперь испытываю на себе, как в известные периоды жизни поэтическое чувство оставляет человека или по крайней мере отдаляется от него. Тем более в известные эпохи, переживаемые обществом. Для поэтического чувства необходимы тишина и сосредоточение. Но как найти душевную тишину и сосредоточение в такое время, какое переживаем мы? Увы, бессмертная эпоха русской поэзии прошла, и бог знает, вернется ли когда-нибудь. Даже и те, которые могут повторять:

Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов,

стали едва заметной кучкой, а скоро и эта кучка исчезнет. Поэтическая струя исчезла и из европейских литератур, — замучила ее проклятая политика» [2].

Добролюбов не отступал перед своими противниками. Он все резче, все определеннее развивал свои материалистические и социальные взгляды на литературу, расширяя как самую проблему, так и аргументацию.

---

[1] Том I, стр. 205. «О народности в русской литературе».
[2] *А. Фет*, «Воспоминания», ч. II, стр. 83.

VII

Добролюбов высоко ценил искусство, прекрасно понимал его потому, давая отповедь своим противникам, он защищал его общественное значение.

Дидактизм Добролюбова, однако, совсем не тот дидактизм, который ему приписывали. Еще в «Дневнике» за 1857 г. от 19 января он отмечал: «Лежа в спальне, рассуждали мы с ним о чистом и дидактическом направлении искусства. Александрович стоит за дидактизм, но не умея до сих пор освободиться от мысли, что собственно дидактизм придает мертвенность, вялость и холодность поэтическому произведению. Сознаваясь в этом, но презирая чистое, бесцельное искусство, он не знал, куда ему деваться и на чем остановиться. Я растолковал ему, что дидактизм отвлеченный, головной нужно отличать от дидактизма, перешедшего в жизнь, в натуру поэта, в инстинктивное чувство добра и правды, чувство, придающее жизнь, энергию и поэзию произведению гораздо более, нежели просто какое-нибудь чувство природы или безотчетного наслаждения красотой и т. п.» Этих мыслей критик держался до самой своей смерти. Всякие другие толкования дидактизма могут быть объяснены только недостаточным знанием литературной деятельности критика или явным искажением его взглядов.

Добролюбов настойчиво требовал от художника, чтобы он овладевал вниманием читателя, приковывал его к изображаемым в произведении событиям и лицам, заражал своими настроениями и чувствами так, чтобы он жил и волновался, радовался и негодовал, словом «чувствовал всем сердцем» вместе с героями произведения. «Чем полнее это очарование, чем совершеннее наше увлечение, тем лучше автор достиг своей цели, тем более внимания и похвалы заслуживает его произведение». Было бы серьезной ошибкой думать, что данным заявлением критик идет на компромисс с противником, оправдывается перед ним. Ничуть! Добролюбов последователен. Он пояснял, что «с поэтическим воображением автор должен соединять философское мышление и психологическую наблюдательность»; он указывал, что произведение должно иметь «в основании своем какую-нибудь идею, из которой бы развивалось все его действие и к осуществлению которой оно все должно быть направлено». В другом месте он заявляет: «Соберите в вашем типе, в вашем описании, в вашем рассказе, как в фокусе, все частные явления, мелкие черты, неуловимые в обыкновенных взглядах особенности быта или лица, осветите все это общей идеей вашей, так, чтобы она сквозила в каждом слове, в каждом движении избранного вами характера, в каждой строчке вашего описания; — но бойтесь являться учителем, бойтесь высказывать нам,

что вы хотите таких-то и таких-то совершенств, намерены казнить такие-то пороки»[1]. Критик разъясняет, что когда авторы «берут на себя труд» разъяснять открыто или прикрыто свои «нехитрые намерения», то получается повесть поучительная, но смертельно скучная.

Чтобы ярче оттенить взгляды Добролюбова, мы приведем выдержку из письма Ф. Энгельса к М. Каутской (1885 г.) по поводу ее романов: «Я ни в коем случае не противник тенденциозной поэзии как таковой... Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все сплошь тенденциозны. Но я думаю, что тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия, без того, чтобы на это особо указывалось, и что писатель не обязан подносить читателю в готовом виде будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов».

В письме к М. Гаркнес (1888 г.) Ф. Энгельс эту свою мысль выразил еще сильнее: «Чем больше скрыты взгляды автора, тем это лучше для произведения искусства».

В этом совпадении формулировок не следует искать полного тождества содержания, но и без этого, данное поразительное сходство мыслей свидетельствует о гениальности молодого критика, особенно если принять во внимание, что он высказал свои мысли ранее Ф. Энгельса за три десятка лет, в условиях русской общественной жизни, при всеобщей яростной травле классовых противников.

Мы привели здесь эти цитаты и ниже другие, чтобы читатель на протяжении всей главы мог сравнивать взгляды великого русского демократа-революционера Добролюбова со взглядами великого пролетарского революционера Ф. Энгельса, мог видеть, на какие теоретически-социологические высоты поднимался молодой критик.

Борясь со взглядом, что произведение должно быть занимательно внешне, фабульно, не имея общественного значения, что литература — забава, развлечение, отдых, Добролюбов требовал, чтобы произведение было дидактично, как дидактична сама жизнь, чтобы эта дидактичность не строилась на теориях, а была органической, неотделимой частью автора. В статье «Забитые люди» критик писал: «Известно, что ведь художник всегда беспристрастен, к спорам и теориям он не прикасается, а наблюдает только факты жизни, да и рисует их, как умеет, — вовсе не думая, кому это послужит, для какой идеи пригодится. И поэтому-то именно замечательный художник важен в общественном смысле: в жизни-то еще когда наберешься фактов, да и те будут бледны, отрывоч-

[1] Том III, стр. 15. «О дидактизме в романах».

ны, побуждения неясны, причины смешаны; а тут, пожалуй, и одно или два явления представлены, да зато так, что после них уже никакого сомнения не может быть относительно целого разряда подобных явлений» [1].

В другом месте Добролюбов еще сильнее выражает эту мысль. Раньше, говорит он, «после разбора, например, всех произведений поэта, определивши их господствующий характер, говорили, что поэт задал себе и всю свою жизнь развивал такие-то и такие-то темы. Ныне в эстетических разборах оставили такую манеру, убедившись, что произвольной преднамеренности в характере и целой жизни человека быть не может. В произведениях поэта, художника отражаются впечатления его жизни, и характер их определяется теми фактами, из которых составилось его существование. Он не действует по заданной программе, составленной для него с детства на целую жизнь, а следует за живым течением событий, отражая в себе недостатки и достоинства, скорби и радости своего общества и времени» [2]. «Следовать натуре — первое условие художественного достоинства в поэзии» [3].

Высказанные мысли требуют серьезных пояснений и знания всех высказываний критика по затронутым вопросам, иначе легко впасть в совершенно ложное понимание его методологических установок. Приведенные формулировки, взятые изолированно от всей критической деятельности, дают повод к ложным выводам. Что значит: «художник всегда беспристрастен»? Понимал ли это Добролюбов в том смысле, что писатель независимо от своего классового сознания в каком-то абсолютном беспристрастии, следуя за своей «чистой» натурой, может дать объективную картину изображаемого? Так Добролюбов не учил, вся его практика говорит об обратном. Он знал сам и других учил, что литература отражает жизнь с классовой точки зрения; он требовал, чтобы художник стоял на уровне современных знаний. Значит, речь идет не об абсолютном беспристрастии, не о том беспристрастии, которое проповедывали сторонники «чистой художественности». Они убегали от жизни, — Добролюбов звал писателя окунуться в гущу общественности, зная, что в «хижинах думают иначе, чем во дворцах». Под беспристрастием критик понимал совершенно иное. Он полагал, что художник творит, следуя своей натуре, не насилуя ее, не подгоняя сознательно свое творчество к определенным философско-социологическим теориям, к политическим требованиям момента, к какой-либо предвзятой идее, ради которой искажается живая действительность. Следуя натуре, художник выявляет свою

[1] Том V, стр. 174.
[2] Том VI, стр. 101. «Первые годы царствования Петра Великого».
[3] Том III, стр. 381. «Стихотворения Л. Мея».

классовую природу, не сознавая этого, не замечая, органически, целостно. Художник не насилует своей натуры, но натура эта классова. Ни о каком ином, метафизическом, абсолютном беспристрастии не может быть и речи. Всякий, кто попытался бы доказать, что критик стоял на пресловутой объективистской позиции, тот исказил бы весь политический смысл литературной деятельности Добролюбова. Ошибки критика не в объективизме, а в том, что он не сумел до конца провести материалистическую и строго классовую линию. Он не разобрал вопроса, что такое классовая теория и классовая практика. Перед ним не стояла проблема единства теории и практики. Добролюбов не сумел объяснить натуру художника с классовой позиции, отведя слишком большую роль интуиции, подсознательному, полагая, что интуиция и подсознательное как бы свободны от классового влияния. Но критик постоянно оговаривался, что творчество должно быть под контролем сознания, а интуиция должна проверяться уровнем современного художнику знания.

Критик полагал, что художник «может быть каких угодно мнений, лишь бы талант его был чуток к жизненной правде». «Талант есть принадлежность натуры человека, и потому он несомненно гарантирует нам известную силу и широту естественных стремлений в том, что мы признаем талантливым. Следовательно, и произведения его должны создаваться под влиянием этих естественных, правильных потребностей натуры; сознание нормального порядка вещей должно быть в нем ясно и живо, идеал его прост и разумен, и он не отдаст себя на служение неправде и бессмыслице, не потому, чтобы не хотел, а просто потому, что не может,— не выйдет у него ничего хорошего, если он вздумает насиловать свой талант» [1]. Итак, талант обеспечивает художника в том отношении, что он будет служить интересам народа. Если же талант собьется с этого пути, просвещение направит его на путь народной правды. Истинный художник только тот, кто выражает интересы народа.

Тут много недоразумений. Талант, просвещение не переводят художника с одних классовых рельс на другие. Натура человека, его сущность, к которой вслед за Фейербахом апеллирует Добролюбов, «не есть абстракт, присущий отдельному индивидууму», как писал Маркс в одном из тезисов о философии Фейербаха; «в своей действительности она есть совокупность общественных отношений», и даже «абстрактный индивидуум принадлежит к определенной общественной форме». Добролюбов не поднялся до сознания что талант сам по себе, независимо от класса, не живет и не творит. Эта основная ошибка обусловила и все дальнейшие

[1] Том IV, стр. 284. «Луч света в темном царстве».

его высказывания. Сам Добролюбов мог бы привести немало примеров, когда талант не служил интересам народа и не гарантировал беспристрастия. Сам он нападал на Тургенева, на Фета и других. Добролюбов различает талант истинный и не истинный. Это различие словесное, абстрактное. Талант, как продукт классовых человеческих отношений, понимает действительность согласно своему классовому мировоззрению. Истинные таланты могут быть во всех классах, знали их господствующие классы и феодального, и капиталистического общества.

Добролюбов не навязывал художнику идей и теорий, полагая, что истинный талант сам гарантирует его верную направленность, его служение народу. Свою позицию критик подкреплял ссылкою на Белинского, который как будто бы не интересовался гоголевскими теориями, пока писатель выступал как художник и ополчился на Гоголя лишь тогда, когда он выступил «с книжкою назидательных советов». Тут опять много неверного. Белинский всегда интересовался взглядами художника и всегда их сопоставлял со своими собственными. Указать можно, например, хотя бы на его различное отношение к «Горю от ума». Если до поры до времени Белинский не бичевал Гоголя, то только потому, что реакционные тенденции Гоголя не были выявлены в его художественных произведениях. Не потому Белинский напал на Гоголя, что писатель выпустил «книжку назидательных советов», а за то, что эти «назидательные советы» в корне расходились с взглядами критика, служили на пользу самодержавию и крепостникам, а не народу, и, наконец, подрывали общественное значение предыдущей литературно-художественной деятельности обличителя русской жизни.

Вся неясность, все противоречия, все колебания Добролюбова происходили от того, что в своих теоретических высказываниях он забывал о классовой сущности человека, знания и художественного творчества. Основная его мысль сводилась к тому, что художник не должен подгонять свое творчество и насиловать его в угоду той или иной теории, искажая действительность. Художник дает действительность так, как она воспринимается чувством художника, а его мысль присутствует тут как бы незримо, вступая в органическое единство с чувством. В этом смысле критик и говорил, что он не навязывает художнику своих мнений. Художник давал произведение, критик же вскрывал все заложенные в него теории и мысли и выяснял, кому художник служит: народу или эксплоататорам. Эта правильная постановка вопроса была запутана рассуждением об истинности и ложности таланта.

В наше время мы склонны подчеркнуть, что Добролюбов больше недооценивал роли мысли, идеи в творчестве, чем переоценивал, как утверждали его противники. Противники его, как пред-

ставители дворянских интересов, опасались, и по-своему вполне законно, как бы революционная демократия не получила первенства в литературе и не сделала ее орудием против них и даже совсем не вытеснила бы их с литературного фронта. В период роста пролетарской литературы мы настойчиво внедряем мысль, что талант талантом, а мировоззрение, классовость, партийность определяют все творчество художника. Но в то же время мы не только не ценим, но даже порицаем тех авторов, которые свое творчество механически подгоняют к тем или иным решениям коммунистической партии, не понимая их классового смысла, временами даже не сочувствуя им. Этих авторов мы зовем приспособленцами. Они насилуют себя, скрывают настоящее свое классовое лицо, действительность дают обычно искаженной, иначе и не может быть, и наконец, их произведения, как правило, не обладают художественными достоинствами, оставаясь вне литературы или ютясь где-нибудь на задворках большой, настоящей литературы. Мы хотим, чтобы художник отражал живую действительность строительства социализма, не насилуя себя, не подгоняя свое творчество под параграфы партийного решения или советского постановления, а органически сливаясь с этим строительством, живя им, им вдохновляясь. Истинный художник в наше время тот, кто не может жить и творить вне социалистического строительства, вне рядов пролетариата, как человек не может жить без воздуха и пищи. «Свобода творчества, — говорил Белинский, — легко согласуется со служением современности. Для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазию; для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпатия, любовь, здоровье, практическое чувство истины, которое не отделяет убеждения от дела, сочинения — от жизни». Только в этом смысле Добролюбов и утверждал, что критика не навязывает художнику своих теорий, а художник не насилует себя. Мы утверждаем, в противовес интуиции и подсознательному творчеству, творчество сознательное, такое творчество, когда восприятие чувств подвергается контролю и оценке сознания. Конечно, чувства так же классовы, как и сознание, но поскольку сознание стоит на высшей ступени организованности по отношению к чувству, поскольку сознание владеет теорией, оно может проверить художника и подсказать ему, на что он не с той стороны взглянул и как это надо исправить. Оно может вскрыть ему истинную сущность явления, которую он в силу различных условий не доглядел. Все это, конечно, ни в какой мере не подменяет литературы политикой, научным исследованием, поучением и т. п.

Идейность художника критик всегда предпочитал безыдей-

ности, за эту идейность он боролся; в полном согласии со своим революционно-демократическим сознанием он направлял идейность художника в сторону интересов «класса народа». Одно это уже не позволяет толковать рассуждения о том, что художник беспристрастен и творит, не насилуя себя, в том смысле, что художник творит, носясь в житейском море без руля и без ветрил. Нет, у художника есть и руль и ветрило. Это его классовое чувство и классовое сознание.

Критик думал, что «действительность, из которой почерпает поэт свои материалы и свои вдохновения, имеет свой натуральный смысл, при нарушении которого уничтожается самая жизнь предмета и остается только мертвый остов. С этим-то остовом и принуждены были оставаться писатели, хотевшие вместо естественного смысла придать явлениям другой, противный их сущности» [1]. Что же это за «натуральный смысл» действительности, якобы всегда идущий на пользу народа? Обычная фейербахианская идеалистическая ошибка в оценке общественного характера действительности. Сообразно с этим взглядом Добролюбов выбирает для своей критической деятельности такие произведения, «в которых жизнь сказалась сама собой, а не по заранее придуманной автором программе». Он верит, что «писатель-художник, не заботясь ни о каких общих заключениях относительно состояния общественной мысли и нравственности, всегда умеет, однако же, уловить их существеннейшие черты, ярко осветить и прямо поставить их перед глазами людей размышляющих» [2]. Когда Добролюбов характеризует Гончарова, он утверждает, что писатель «представляет вам живое изображение и ручается только за его сходство с действительностью; а там уже ваше дело определить степень достоинства изображаемых предметов; он к этому совершенно равнодушен», и добавляет, усиливая свою мысль: «и напрасно было бы прибавлять, если сам образ не говорит вашей душе, то что могут вам сказать слова?» [3].

Тут мы подходим к полному выяснению позиций критика в вопросе о роли теории, идеи в творчестве. Добролюбов не освобождает художника от идеи, но требует, чтобы идея воплотилась в образ, в нем жила, им убеждала, им вызывала эмоции, а не жила отдельно в виде нравоучения, голого дидактизма. Образ всегда идеен. «Таким образом,— говорит критик,— совершенно ясным становится значение художнической деятельности в ряду других отправлений общественной жизни: образы, созданные художником, собирая в себе, как в фокусе, факты действительной жизни, весьма много способствуют составлению и распростране-

[1] Том IV, стр. 284. «Луч света в темном царстве».
[2] Там же, стр. 361. «Когда же придет настоящий день?»
[3] Там же, стр. 5. «Что такое обломовщина?»

нию между людьми правильных понятий о вещах»[1]. Значит, в художественном произведении идея скрепляет, цементирует все произведение, живет в образе и через образ выполняет свою социальную функцию. Это вариация старого тезиса: искусство убеждает образами, наука — силлогизмами.

Выходит, что, несмотря на все заявления, как бы снижающие роль идеи в творчестве, идея играет в творчестве всегда огромную роль. Только художественное произведение является «выражением известной идеи не потому, что автор задался этой идеей при его создании, а потому, что автора его поразили такие факты действительности, из которых эта идея вытекает сама собой»[2].

Опасаясь, что творчество по заказу не может отразить действительной жизни, Добролюбов указывает, что, приступая к критическому разбору произведения, он не интересуется автором, «с какой целью, вследствие каких предварительных соображений, изобразил он историю, составляющую содержание повести». Для него «не столько важно то, что хотел сказать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и ненамеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни»[3]. Оставляя вопрос относительно «правдивого воспроизведения фактов жизни», необходимо указать, что этот тезис в основном верен. Критик знает, что общественное значение имеют не субъективные намерения автора, а само произведение, поэтому он и считается только с литературным фактом. Призывая к крестьянской революции, критик хочет, чтобы художественная литература показала русскую жизнь во всей ее безобразной красе, чтобы от этого показа можно было перейти к призыву биться за другую жизнь. Критик опасался, как бы художник в погоне за отвлеченной логичностью не просмотрел логики жизни, а эта логика может быть иной, более совершенной и верной, чем та, которую мы часто жизни навязываем.

Конечно, очень плохо, когда «писатель вам не дает и, повидимому, не хочет дать никаких выводов»... От этих выводов художник не должен уклоняться. Но «иногда художник может и не дойти до смысла того, что он сам изображает». Бывает и так, что художник намерен показать одно, а получается другое, и автор даже не сознает этого. Тут на помощь должна притти критика. Она обязана вскрыть смысл произведения и показать, что к чему.

Когда Добролюбов, характеризуя талант Гончарова, приписывает ему объективизм, как высшее достоинство, то он делает это скорее по причинам политического характера, чем в силу литературоведческих взглядов, как будет видно ниже. Критик

[1] Том IV, стр. 79. «Темное царство».
[2] Там же, стр. 283. «Луч света в темном царстве».
[3] Там же, стр. 360. «Когда же придет настоящий день?»

сам тут же задается вопросом: «Составляет ли это высший идеал художественной деятельности или, может быть, это даже недостаток, обнаруживший в художнике слабость восприимчивости?» И тут же дает ответ: «Категорический ответ затруднителен и во всяком случае был бы несправедлив без ограничений и пояснений» [1]. Пояснения же заключаются в следующем: ложная идея мешает художнику верно понять и верно отобразить действительность; такое произведение ниже произведения, объективно изображающего жизнь; если же произведение построено на верной идее, то оно выше произведения объективного. Добролюбов так и писал: «Смотря на художника не как не теоретика, а как на воспроизводителя явлений действительности, мы не придаем исключительной важности тому, какой теории он следует. Главное дело в том, чтобы он был добросовестен и не искажал фактов жизни в пользу своих воззрений: тогда и истинный смысл фактов сам собою выскажется в произведении, хотя, разумеется, и не с такою яркостью, как в том случае, когда художнической работе помогает и сила отвлеченной мысли» [2].

«Для поэзии, — рассуждал критик, — необходимы живые, определенные образы, чтобы она могла удовлетворять нашему чувству. А могут явиться эти образы только тогда, когда мысль, которую мы хотим развить в поэтической форме, не только хорошо понята, но и вполне живо и определенно представляется нашему сознанию, так что легко возбуждается чувство в душе человека. В этой-то стороне и заключается главное отличие так называемых поэтических натур. *Понять* истину может всякий умный человек; *стремиться* к добру должен и хочет всякий человек, не лишенный благородства души. Но сильно *почувствовать* и правду, и добро, найти в них жизнь и красоту, представить их в прекрасных и определенных образах,— это может только поэт, и вообще художник» [3].

Повторяет Добролюбов эту мысль и в другом месте. «Если вы хотите живым образом действовать на меня, хотите заставить меня полюбить красоту, — то умейте уловить в ней этот общий смысл, это веяние жизни, умейте указать и растолковать его мне, — тогда только вы достигнете вашей цели. То же самое и с истиною: она не в диалектических тонкостях, не в верности отдельных умозаключений, а в живой правде того, о чем рассуждаете. Дайте мне понять характер явления, его место в ряде других, его смысл и значение в общем ходе жизни, и поверьте, что этим путем вы приведете меня к правильному суждению о

---

[1] Том IV, стр. 9. «Что такое обломовщина?»
[2] Там же, стр. 163. «Темное царство».
[3] Том III, стр. 76. «А. В. Кольцов».

деле гораздо вернее, чем посредством всевозможных силлогизмов, подобранных для доказательства вашей мысли»[1].

Отстаивая дидактическое направление в литературе, политическую идейность в творчестве, Добролюбов в вопросе об объективности и искренности художника, в вопросе об истинности таланта, путаясь в идеалистических соображениях, не сумел найти четких и исчерпывающих формулировок. Он упустил из виду, что добросовестность тоже классова, что каждый класс имеет свою добросовестность. Добролюбов не сумел сформулировать свою мысль с той ясностью и категоричностью, к которой он приближался. Ему недоставало знания тех поправок, которые Маркс внес в философию Фейербаха, отделив в ней материализм от идеализма.

VIII

В жизни люди имеют разное значение: одни бо́льшее, другие меньшее; одни известны не только в пределах своей страны, но и далеко за ее границами; другие проходят жизнь в неизвестности. Одни идут «в уровень с жизнью», наблюдают и понимают ее лучше; скорее, чем другие, разрешают они и общественные проблемы. Другие судят о жизни «уже по чужим объяснениям». Такое положение вещей обеспечивает «жизненность и долговечность всего талантливого». Достижениями талантов живет большинство людей, оно идет за ними, повторяя их мысли, их решения. В таком положении находятся литература и литераторы.

Теперь нет ни одного учреждения, ни одного промышленного предприятия, где не был бы «литератор так же необходим, как бывал в прежние времена необходим генерал со звездой на купеческой свадьбе». В связи с этим перед литературой встают новые задачи, новые общественные обязанности. Смешно было бы преподносить публике одно изящество слога, — от литературы ждут решения основных общественных вопросов, она «становится элементом общественного развития». Литература не может почить на цветистых фразах,— она должна иметь дело с жизнью, с фактом. Иначе выступать литераторам невозможно. Перед литературой встали большие вопросы. Но она при современном положении вещей не разрешает их. Однако тут же Добролюбов высказывает уверенность, что на известной ступени развития России литература у нас станет силой, которая будет двигать общество вперед. Этого положения критик не видит еще и в Европе, но он предвидит его в будущем. «Мы хотим верить,— пишет он,— что это когда-нибудь будет».

Все эти соображения Добролюбов, однако, сопровождает за-

[1] Том IV, стр. 269. «Луч света в темном царстве».

мечанием, что «по самому существу своему литература не составляет понудительной силы, отнимающей физическую или нравственную возможность поступать противозаконно. Она не любит насилия и принуждения, а любит спокойное, беспристрастное, беспрепятственное рассуждение. Она поставляет вопросы, со всех сторон их рассматривает, сообщает факты, возбуждает мысль и чувство в человеке, но не присваивает себе какой-то исполнительной власти» [1]. В силу этого Добролюбов при разборе литературных явлений останавливается не на «вечном и абсолютном», а на том материале, который имеет непосредственное значение для нашего времени и общества. Выдвигая те или иные принципы, внедряя в сознание общества определенные истины, литература обязана проникнуть в самую сущность жизни, должна «изведать жизнь» и проверить на практике прочность своих положений, иначе она не только перестанет служить обществу, но и нанесет ему серьезнейший вред. Роль и значение литературы будет расти, расширяться, ее «немалая заслуга может сделаться громадной», если она будет продолжать распространять идеи «добра и правды», если поднятые ею вопросы проникнут в глубины народа. «Сознательности и ясности стремлений в обществе» литература уже много поспособствовала, например, в вопросе «об изменении отношений между помещиками и крестьянами». Критик сокрушается об одном, что круг людей, куда может проникнуть литература, крайне невелик и через это ограничивается благотворное влияние литературы. Рассуждая так, критик ни на минуту не забывал о политических условиях, которые сводили на-нет фактическое значение литературы.

Определяя социальную функцию литературы, Добролюбов видел, что «литературе до сих пор предоставлена была небольшая роль в движении человечества к естественным началам, от которых оно отклонилось. По существу своему литература не имеет деятельного значения, она только предполагает то, что нужно сделать, или изображает, что уже сделано... Вообще говоря, литература представляет силу служебную, которой значение состоит в пропаганде, а достоинство определяется тем, что и как она пропагандирует» [2].

Видя действительные границы влияния литературы, Добролюбов одновременно отмечал, что роль отдельных больших литераторов столь велика, что их «не превзойдут ни практические деятели для блага человечества, ни люди чистой науки». Критик, конечно, ошибочно полагал, что природа наделила этих писателей инстинктивным стремлением к добру и справедливости тогда как философы и ученые только еще с помощью науки искали их.

[1] Том III, стр. 371. «Губернские очерки» Щедрина».
[2] Том IV, стр. 278. «Луч света в темном царстве».

Что философы только смутно предугадывали, эти писатели нашли и разглядели в жизни.

К числу этих величайших талантов Добролюбов относит в первую очередь Шекспира, а затем причисляет Данте, Гете, Байрона. Шекспир «обозначил целую новую фазу общечеловеческого развития». Другие не смогли сделать это так полно и четко, как вышло у Шекспира. Обыкновенным талантам остается только служебная роль. «Не представляя миру ничего нового и неведомого, не намечая новых путей в развитии всего человечества, не двигая его даже и на принятом пути, они должны ограничиваться более частным, специальным служением: они проводят в сознание масс то, что открыто передовыми деятелями человечества, раскрывают и проясняют людям то, что в них живет еще смутно и неопределенно» [1]. Очень характерно, что так высоко оценил Добролюбов английского драматурга. Не менее интересно и то, что его оценка в этом отношении совпадает с оценкой Шекспира К. Марксом, который писал, что Шекспир первый и лучше других показал, как сходит с исторической сцены феодальный порядок, феодальная культура и на смену идет со своей культурой капитал, промышленная буржуазия. Маркс ругал всех, кто пытался развенчать английского драматурга. Руге он обозвал скотиной за то, что он пытался доказать, что «Шекспир не был драматическим поэтом». Он радовался, что Шекспира читают его дети. Энгельс также считал Шекспира великим гением, с которым вряд ли кто в то время мог равняться. Отметив, что Лассаль в своей драме «Франц фон Зиккинген» своего героя «шиллеризировал», Маркс давал ему совет «шекспиризировать» героя, подчеркивая, что Шекспир всегда имеет в виду конкретно-историческую обстановку, борьбу конкретных классовых страстей. Мы не имеем точных данных о том, за что так высоко ставил Добролюбов Шекспира, но несомненно его восхищала та конкретно-историческая обстановка, в которой протекала предопределенная историческим развитием борьба наступающего капитализма с феодализмом.

Выставив тезис о служебной роли литературы, Добролюбов энергично проводил этот тезис в своей практической деятельности. Он хвалил, например, М. Вовчок, которая преследует в общественной жизни остатки крепостничества и «добивает порожденные им понятия». «Крепостное право,— по мнению критика, — приходит к своему концу и делается достоянием истории; о нем нечего толковать, оно отжило свой век. Но факты, тяготевшие над государством в течение столетий, не проходят даром, не остаются без всякого следа». За борьбу с этими следами критик и видит в Вовчок передового, талантливого писателя

[1] Том IV, стр. 279. «Луч света в темном царстве».

того времени. Многие тогда, некоторые сейчас полагают, что Добролюбов ошибся в оценке писательницы; нет, не ошибся; они сами не поняли исходной критической позиции Добролюбова, не поняли его системы взглядов. Критик хвалил того, кто убивал последние остатки крепостничества, расчищая путь другой жизни. Хвалит критик Островского за его Катерину. В этом типе он видит «шаг вперед не только в драматической деятельности, но и во всей нашей литературе». Он видит в этом женском типе «новую фазу народной жизни». Многие лучшие писатели пытались дать этот тип, но он не удался им, и только Островский сумел «понять его надобность», «уразуметь и почувствовать его сущность» и через это выполнил великую общественную роль, чего не понял Писарев.

Служебный характер литературы критик с предельной ясностью наметил в конце своей статьи «Литературные мелочи прошлого года». Он писал: «Мы хотели напомнить литературе, что при настоящем положении общества она ничего не может сделать, и с этой целью мы перебрали факты, из которых оказалось, что в литературе нет инициативы. Далее мы должны сказать, что литература унижает себя, если с самодовольством останавливается на интересах настоящей минуты, не смотря в даль, не задавая себе высших вопросов. Для этого мы припоминали, какой ничтожностью и мелкотою отличались многие из патетических рассуждений нашей литературы о вопросах, уже затронутых в административной деятельности и в законодательстве. Литература всегда может оправдать себя от упреков в мелочности, сказав, что она делает, что может, и что не от нее, а от общества зависит делать больше или меньше. Но нет для нее никакого оправдания, если она самодовольно забудется в своем положении, примирится с своей мелочностью и будет толковать о своем серьезном значении, о великости своего влияния, о прогрессе общества, которому она служит»[1]. Отсюда критик и делает вывод, что достоинство поэта определяется двумя моментами: «как сильно в нем поэтическое чувство» и «на какие предметы и на какие стороны оно обращается».

Удивляясь громадному поэтическому таланту Пушкина, критик глубоко сожалел, что поэт не имел твердых нужных убеждений, а это не давало ему возможности пристальнее всмотреться в жизнь и отразить в своем творчестве стороны жизни более важные, чем те, которые так прекрасно он нам показал. Критик рассуждал: «Наблюдая одно и то же явление, два поэта могут изобразить его лучше или хуже, смотря по степени их таланта; но и при совершенно равном таланте будет, вероятно, некоторая

[1] Том VII, стр. 320.

разница в живости, силе и поэтичности изображения, если одному из двух поэтов дать описывать стеариновую свечку, а другому звездное небо или солнечный день, одному — клопа, а другому — арабского жеребца или орла и т. п. Поэтому, какова бы ни была степень таланта, всегда очень важно то, на какие предметы он будет направлен, чем в особенности приучит себя поражаться впечатлительная натура поэта»[1].

Исходя из этих соображений, критик предпочитал рассказы Плещеева повестям 30-х — 50-х годов. Он радовался, что в нашей литературе начинает проявляться «сознание великой роли народных масс в экономии человечества» и «рядом с этим смутным сознанием проявляются серьезные, искренно и с любовью сделанные наблюдения народного быта и характера». Одновременно критик издевался над теми, которые кроме «живости и чувства ничего не имеют». Эти поэты ограничены умственно, пишут вечно об одном и том же, да и того не понимают толком.

Все это поучительно и для наших дней, особенно для тех, кто принципиально отрицал возможность пролетарской литературы и, подтягивая к современности так называемых попутчиков, строил всю литературную политику исключительно на произведениях, отвечающих формальным требованиям, но чуждых нам по своей внутренней направленности. Как часто эти политики с иронией или с барской снисходительностью твердили, что пролетарская литература — не литература, пролетарские писатели — не писатели, а только еще малограмотные рабкоры! Как поучителен для них Добролюбов, этот стойкий и решительный демократ-революционер!

«Признавая за литературой главное значение пропаганды», Добролюбов требует от писателя правды, требует, чтобы действительность была отражена, «передана верно». Эту правду не всякий писатель может дать. Настоящую правду познает и дает только тот писатель, который идет в ногу с классом, выдвинутым историей на передовые позиции в борьбе за продвижение вперед. Представители других классов, защищая прошлое или даже свое настоящее и будущее, не могут дать действительной правды. Но правда еще не является достоинством произведения, она только условие. Само же достоинство произведения зависит от того, насколько широко и глубоко писатель захватывает и анализирует действительность в направлении выражения «естественных стремлений» народа.

Критик не удовлетворяется постановкой вопроса, что человек зависит от общества, что устройство общества неудовлетворительно, что человек не в состоянии жить свободной, здоровой

---

[1] Том V, стр. 230. Сборник «Утро».

деятельностью, что у него в результате всего этого постоянный разлад с действительностью. Все это давным давно известно, критик ждет от литературы постановки других, более серьезных вопросов. Логически Добролюбов приходит к высмеиванию так называемой обличительной литературы. Писатели-обличители прежде всего не видели основного зла общественной жизни; они карали отдельное зло, отдельный порок. Разоблачив взяточничество, они думали, что решили большую и важную задачу; вскрыв нечеловеческое отношение какого-либо начальника к своим подчиненным, они успокаивались, не замечая, что все идет по-старому, потому что все зло не в этих отдельных явлениях, а в общественном самодержавно-крепостническом строе, питающем определенные жизненные отношения людей и их социальное поведение. Критик возмущался тем, что, взяв какую-нибудь мелочь, эти писатели начинают кричать о пробуждении общественного сознания, о внедрении в общественную жизнь общечеловеческих принципов и т. п. Его возмущало, что эти писатели, «переступившие куриным шагом через какую-нибудь мизерную щепочку, немедленно провозглашают, что сделали шаг вперед». Им верят, а они стоят на месте, обольщаясь, что пройден длинный путь вперед. Общественная энергия замирает, а когда обстоятельства приводят к настоящему делу, людей нет. Критик не удовлетворяется такой литературой, она возмущает его узостью своих взглядов и стремлений. Эта литература не удовлетворяет революционную демократию, которая требует «громкого призыва к деятельности более широкой». Ее не удовлетворяет гнилой покой, самодовольная дремота, приятные мечты, — она ищет отваги гражданина. Да и самые эти обличения порой довольно сомнительного качества.

В статье «Литературные мелочи прошлого года» Добролюбов писал: «Лесть и самообольщение — таковы были главные качества *современности* в литературных явлениях последнего времени. Странно сказать это о литературе в то время, когда она из кожи лезла, по собственному признанию, *преследуя и обличая, вырывая с корнем* всякое зло и непотребство на земле русской. Но всмотритесь пристальнее в характер этих обличений, — вы без особенного труда заметите в них нежность неслыханную, доходящую до приторности, равняющуюся разве нежности, обнаруженной во взаимных отношениях тех достойных людей, один из которых у Гоголя мечтает о том, как «высшее начальство», узнав об их дружбе, пожаловало их генералами»[1].

Свое политическое отношение к обличительной литературе Добролюбов ярко выразил в замечании: «Самое пустозвонство приняло тогда характер серьезно-обличительный. Пустейший из

[1] Том VII, стр. 232.

пустозвонов, г. Надимов, смело кричал со сцены Александринского театра: «Крикнем на всю Русь, что пришла пора вырвать зло с корнями» — и публика приходила в неистовый восторг и рукоплескала г. Надимову, как будто он в самом деле принялся вырывать зло с корнями» [1].

Критик указывает, что у так называемой обличительной литературы обличения идут только внутри существующего строя, поднять же руку на самый строй она не в силах, она не может подрывать основы своего собственного существования. Все эти обличительные прогрессисты, по выражению Щедрина, играли «не внутренностями, а кожей». Понятно, что Добролюбов нападает на обличительную литературу не за то, что она преследует мелочи,— их тоже надо вскрывать, когда они несут в общество разложение, — а за то, что она не хочет признаться в своей слабости; возмутительно то, что «она хвалится многими из своих мелочей, вместо того, чтобы стыдиться их». Критик требует от литературы, чтобы у нее был «высший, общечеловеческий интерес, независимый от частных, гражданских и политических соображений», чтобы она поднимала общественное сознание с одного этапа на другой, более высший.

На Добролюбова много раз жестоко нападали за отрицательное отношение к обличительной литературе. В этом видели отступление с революционных позиций, свертывание знамени. Даже такой большой человек, как Герцен, не сумел понять молодого критика. Дело же объяснялось просто. Добролюбов видел, что обличительная литература не раскрывает сущности жизненной правды, производное выдает за основное, путает читателя, отвлекая его от главной задачи, разменивая его мысль, волю и внимание по мелочам, превращая революционные настроения в либеральную болтовню, хотя бы и прикрытую искренним пафосом возмущения.

Добролюбов изображает обличительную литературу довольно юмористически. Разбирая сборник «Весна», он пишет: «Нас многие обвиняют, что мы смеемся над обличительной литературой и над самой гласностью; но мы никому не уступим в горячей любви к обличению и гласности, кто желал бы придать им более широкие размеры, чем мы желаем. Оттого-то ведь и смех наш происходит: мы хотим более цельного и основательного образа действий, а нас подчуют какими-то ребяческими выходками, да еще хотят, чтобы мы были довольны и восхищались. Мы каждый день, чуть не каждый час, должны претерпевать существующую историю. Нужно нам ехать из Петербурга в Москву. Дорога известная, хлопот немного, и мы очень спокойно собираемся в путь.

[1] Том VII, стр. 341. «Губернские очерки» Щедрина.

У самого дебаркадера встречает нас услужливый приятель, который тоже едет по железной дороге, и предлагает за нас похлопотать — и билеты взять, и вещи отправить. И действительно, приятель все устраивает, мы садимся в вагон, спрашиваем у приятеля билеты, — оказывается, что билеты взяты им только до Колпина, и вещи тоже до Колпина отправлены. «Зачем ты это сделал?» — спрашиваем его. Он вдруг делается недоволен, обижается и начинает толковать, что мы любим скачки, хотим все делать вдруг, что, ехавши в Москву, Колпина не миновать, что нужно прежде всего думать о ближайшей цели, а потом уж, приехавши в Колпино, заботиться о том, как ехать дальше. Разумеется все это смешно слушать, когда знаешь, как эти вещи обыкновенно делаются на железных дорогах. Но по слабости характера мы позволяем приятелю еще раз распорядиться нашими деньгами и взять для нас билеты до Москвы; а он пойдет да опять возьмет — до Любани. И опять начнет ту же философию о постепенном продвижении вперед. Да этак-то всю дорогу!.. Да если еще вся жизнь в беспрестанной езде проходит! Да если видишь, что услужливый приятель, потеряв кредит у нас, к другим обращается и с другими каждый раз такие же проделки повторяет, с теми же рассуждениями!.. Поневоле иной раз рассердишься и поглумишься, хоть и невесело... А добрые люди из этого бог знает, что выводят. Говорят, что мы пользы железных дорог не признаем, в дружбу не веруем, промежуточные станции хотим уничтожить»[1].

Политический смысл этой аллегории слишком прозрачен, чтобы следовало на нем останавливаться и разъяснять, в чем тут дело, почему критик издевается над обличителями. Как последовательный демократ и решительный революционер, Добролюбов «брал билет» до последнего пункта своего назначения, не мирился с либеральным вредным постепенством. Критик приветствует тех, кто хочет ехать из Петербурга в Москву без пересадки, прямо; он им дает один совет: «не брать с собой дрянного и ненужного багажа».

IX

В своих юношеских статьях «Нечто о дидактизме в повестях и романах», «О романе», написанных в 1855 г., Добролюбов уже применяет фейербаховскую историю философии к истории литературы. По его мнению, роман «составляет переход от мира идеального к миру действительности, от поэзии к истории. Это — полная картина жизни в ее деятельном развитии, строго подчиненная всем вещественным условиям истины и вместе — свободная в выборе занимательнейших точек зрения. В романе мы ви-

[1] Том V, стр. 325.

дим человека таким, каков он есть, со всеми условиями необходимости действительного мира и со всеми прелестями мира фантазии» [1]. Роман — «это жизнь, это действительность, подмеченная наблюдательным глазом, брошенная на полотно искусною рукою и вставленная в более или менее широкую раму» [2]. В статье о Кольцове критик требует от поэта, чтобы он умел «уловить и выразить красоту, находящуюся в самой природе предмета, а не самому выдумывать прекрасное». Обращаясь к своим противникам, критик рассуждает: «Они воображали, что природа недостаточно хороша, что нужно украшать ее», поэтому они «постарались откинуть все, что напоминает о действительной жизни».

Писатель, который бежит от действительности в область мистики, фантазии, а мужичков одевает в «поэтические кудри» и баб изображает «сентиментальными пастушками», ничего не стоит; он искажает жизнь, лжет. Настоящие, нужные писатели дают нам картины живой действительности, которую они наблюдали, сами в ней вращались и вместе с изображаемыми героями переживали описываемую жизнь.

«Художник — не пластинка для фотографии, отражающая только настоящий момент». Это привело бы к мертвечине, к статическому изображению изолированного, вырванного из потока жизни явления, а в этом никакого общественного смысла нет. Художник «дополняет отрывочность схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в душе своей частные явления, создает одно стройное целое из разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в бессвязных повидимому явлениях и перерабатывает в общности своего миросозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой действительности. Оттого истинный художник, совершая свое создание, имеет его в душе своей целым и полным, с началом и концом его, с его сокровенными пружинами и тайными последствиями, непонятными часто для логического мышления, но открывавшимися вдохновенному взору художника» [3]. Критик требует от художника не логической, отвлеченной правды, а правды живой действительности. Он понимает, что «вырвать факт из живой действительности и поставить его на полочку, рядом с пыльными фолиантами, и классифицировать несколько отрывочных, случайных фактов на основании школьных логических делений, — это значит уничтожать ту жизненность, которая заключается в самом факте, поставленном в связи с окружающей его действительностью» [4].

Действительность имеет свой «натуральный смысл». Нарушая

---

[1] Том III, стр. 15.
[2] Там же, стр. 14.
[3] Том V, стр. 144. «Забитые люди».
[4] Том III, стр. 595. «Народные русские сказки».

его, художник уничтожает «самую жизнь предмета», «истинный смысл подменивает ложным».

Но что такое «истинный смысл», правда? Это изображение действительности в приближении к «естественным стремлениям» народа. «Как скоро этого нет, литературное произведение теряет всякое значение, оно становится даже вредным, потому что служит не просветлению человеческого сознания, а, напротив, еще большему помрачению. И тут уже напрасно стали бы мы отыскивать в авторе какой-нибудь талант, кроме разве таланта враля. В произведениях исторического характера правда должна быть фактическая; в беллетристике, где происшествия вымышлены, она заменяется логическою правдою, то есть разумною вероятностью и сообразностью с существующим ходом дела» [1]. Есть ли в художественных произведениях безусловная неправда? Нет, безусловной неправды не бывает; даже в самых нелепых произведениях, в самых нелепых положениях нет безусловной неправды, а есть только случайная уродливость. Художник не выдумывает неправды, а беря какой-либо факт, он представляет случайное основным, органическим, типичным, и тогда утрачивается сущность данного явления. Если на основании таких художественных произведений делать обобщения, теоретические выводы, строить политику, то можно притти к совершенно ложным идеям и ложным мероприятиям в политике. Художник не должен быть односторонен, «всякая односторонность и исключительность уже мешает полному соблюдению правды». Анализируя русские народные сказки и южнорусские песни, Добролюбов указывает, что в интересах правды все те, кто собирает сказки и песни, не должны ограничиваться простой записью народного творчества, а должны описать и условия, внешние и внутренние, при которых удалось услышать записываемый материал. Когда же критик говорит о романе, то он хочет, чтобы художник с наибольшей полнотой, жизненностью и верностью дал эпоху, из которой взят роман, чтобы был «угадан самый дух событий». Вне этого действительность не будет живой действительностью.

С настойчивостью критик подчеркивает и полноту изображения. Разбирая произведения Достоевского, Добролюбов подчеркнул, что в них нет полноты правды жизни. В связи с этим он и выразил свое понятие об «истинном» художнике.

«Жизненная правда» — первое и главное условие достоинства произведения, но не она решает судьбу произведения и художника. Каждая общественная группа ищет и любит в произведении свою классовую правду. Учитывая это, Добролюбов ставит дополнительный вопрос: среди кого произведение пользуется успе-

[1] Том IV, стр. 281. «Луч света в темном царстве».

хом? Правда художественного произведения, однако, измеряется не всегда успехом. Нет такого произведения, которое никому бы не нравилось. «Есть сочинители лакейских поздравлений с новым годом, пользующиеся успехом в передних; есть творцы пышных од на иллюминации и другие случаи; творцы, любезно принимаемые иногда и важными барами; есть авторы, произносящие разные «pièces des circonstances» для домашних спектаклей и обожаемые даже в светских салонах; есть писатели, возбуждающие интересы в мире чиновничьем; есть другие, служащие любимцами офицеров; есть третьи, о которых мечтают провинциальные барышни».

Лучшим и наиболее правдивым Добролюбов считает то произведение, в котором отражена народная правда, которое полно любви к «классу народа». В литературе всех народов критик видит преимущественно писателей, преданных «искусственным» интересам, то есть интересам эксплоатирующих и угнетающих классов, совершенно не думающих о «нормальных требованиях природы», то есть в конечном счете о народных интересах. Критик даже не находит писателей, которые стояли бы за народ. Писатели «искусственных» интересов «могут быть и не лжецы, но произведения их ложны»; в них нельзя «признавать достоинства, разве только относительно формы».

Это, конечно, неверно и вытекает из просветительских тенденций критика. Добролюбов глубоко прав, отстаивая в литературе интересы народа, но он совершенно неправ, когда считает ложной целиком всю дворянскую литературу, когда она не помнит о народе или ложно понимает его интересы. Критик не раз подчеркивал, что о произведении нужно судить с точки зрения того времени, когда оно написано, чтобы автор «судил своих героев не по понятиям своего века, а по их времени, чтобы он смотрел их глазами, жил их жизнью, рассуждал сообразно с их умственным развитием и чтобы на ту же точку зрения сумел поставить и своих читателей»[1]. На уроках с Наташей Татариновой Добролюбов разъяснял, что стихотворение «Вечерняя заря» Полежаева можно понять, лишь зная, «при каких обстоятельствах оно было написано». Иногда он, поправляя свою ученицу, говорил: «Вы к такому-то писателю отнеслись слишком строго: то, что теперь кажется смешным, в свое время имело известное значение». Только так можно установить общественную значимость, прогрессивность писателя. С классовой точки дворянства дворянская литература истинна. Для масс она тоже истинна, поскольку вскрывает психологию, сознание и интересы дворянства. Дворянские мысли о народе народ должен воспринимать не как средство

[1] Том III, стр. 17. «О русском романе».

для исправления социальной несправедливости, а как материал, чтобы глубже и всестороннее понимать своего классового врага. В этом смысле литература «искусственных интересов» обладает своей истинностью, имеет свое объективное значение.

Видя главное достоинство литературного произведения в жизненной правде, Добролюбов тем самым указывает мерку, «которою определяется для нас степень достоинства и значение каждого литературного явления». Чтобы произведение было жизненно, правдиво, требуется ряд условий. Прежде всего, взятое явление должно быть фактически верно понято художником, оно должно «осветиться сознанием автора, должно пройти сквозь его душу не как через дагерротип, а слиться с его внутренней жизнью и явиться в стихе, в звуке, образе как результат духовного настроения и сознательного чувства художника». Жизненная правда не в фотографической передаче действительности, а в понимании развития действительности, в понимании действующих сил, их мощности и направления. Художник не фотограф, а философ, социолог, политик. Он должен видеть и понимать не только прошлое, настоящее, но и будущее. Он должен уметь со своей классовой точки зрения разобраться в явлениях сложной текущей жизни, понять, что к чему, отделить основное, органическое от случайного, временного, однодневного. За яркостью и ослепительностью явления он должен искать его социальные корни, его общественную сущность. Он должен понять, насколько это ослепительное жизненно, долговечно. Среди всего яркого, настоящего он должен найти и еле видимые ростки грядущего и понять, как и куда пойдет их рост. Все это художник должен охватить и понять, всему этому он должен найти надлежащее место в бурном и многоводном потоке жизни.

Критик высоко ценил тех писателей, у которых «художественное чутье, хотя бы даже и слабое, направлено здраво, у которых не только верно отражаются явления жизни, но которым доступен, более или менее, и общий таинственный смысл ее. Такие писатели становятся замечательными художниками, если их предприимчивость многообъемлюща, если жизнь открывается им не в отдельных только явлениях, а во всем своем стройном течении, если чутки они не к одной только внешней стороне явлений, но и к их внутренней связи и последовательности. Тогда они создают что-нибудь прочно остающееся в литературе и служат двигателями общественного сознания. Но и люди с более ограниченною восприимчивостью, с более слабым, только бы верным чутьем, не проходят без следа и заслуживают внимания, если хоть одну черту разъяснили или даже указали нам в этой жизни, которая у всех нас перед глазами, всех задевает собою и, однако же, так немногих наводит на серьезную думу, так немногими по-

нимается» [1]. Такой художник не просто описывает глупого, слепого, безобразного человека. Нет, «он открывает, что слепой-то не совсем слеп; он находит в глупом человеке проблески самого здравого смысла; в забитом, потерянном, обезличенном человеке он отыскивает и показывает нам живые, никогда не заглушимые стремления и потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души затерянный протест личности против внешнего, насильственного давления, и представляет на наш суд и сочувствие» [2]. За это Добролюбов хвалит и ценит Гоголя, Достоевского, Островского. Добролюбов сожалеет, что даже лучшие авторы утеряли истинный смысл жизни, «потеряли след естественных стремлений народных и даже стали сомневаться в их существовании». Островский же, несмотря на то, что не избежал влияния общего состояния литературы, все же не утерял чутья «истинных потребностей и стремлений русской жизни» и показал их в своих комедиях «не с поверхности, а с самого корня».

Таким образом, жизненная правда заключается не только во внутренней верности изображаемого явления, но и в широте и глубине захвата. Чем шире и глубже художник проникает в жизнь, тем отчетливее он вскрывает ее состояние и движущие ее силы, их борьбу и их значение, тем отчетливее становятся видны темные и светлые стороны жизни. Для иллюстрации Добролюбов берет Фета и Тютчева. Оба большие поэты. Каково же их значение? Критик старается вскрыть, «как глубоко проникает взгляд писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни», и приходит к выводу, что Фет улавливает только мимолетные впечатления от природы, а Тютчев способен задуматься и над нравственными вопросами, над вопросами общественной жизни.

Поскольку «крестьянский вопрос заставил всех обратить внимание на отношения помещиков и крестьян», поскольку «литература хотела принять посильное участие в разрешении вопроса и между прочим принялась было за путь беллетристической обработки существующих фактов», она должна была стать на точку зрения народа и с этой точки зрения искать жизненную правду. Добролюбов подчеркивает, что и раньше много раз писали о народе, о мужике, писали жалостливо, слезливо, но это были «пряничные и кукольные фигуры». Народ был не настоящий, а идеализированный, как он рисовался помещику, проникнувшемуся гуманным отношением к обездоленному крестьянину, почувствовавшему нравственное уродство, нравственную неправду своего существования, когда рядом голоден и забит такой же человек.

---

[1] Том V, стр. 156. «Забитые люди».
[2] Там же, стр. 165.

Раньше о мужике писали в связи с его отношениями к разным общественным группам — чиновникам, офицерам, откупщикам и т. п. Раньше рассказы о мужике были скорее литературною прихотью, игрушкой художника-помещика. Теперь же это жизненная необходимость, настойчивая, которой нельзя избежать, и делается это «без шума и грохота». Народ стали изучать глубже, всестороннее в его отношениях к самым основам социальной пирамиды. Пришла пора, как выражается Добролюбов, «настоящих рассказов из народной жизни». Прежние писатели не смогли нащупать жизненной правды во всей ее полноте и серьезности. Они имели нужные знания, верный взгляд, нужный талант, и все же правда не открывалась им, поскольку они люди другого общественного класса, поскольку они не сумели стать на позиции народа.

Чтобы уловить жизненную правду, «нужно не только знать, но глубоко и сильно самому перечувствовать, пережить эту жизнь; нужно быть кровно связанным с этими людьми, надо самому неволей; надо войти в их кожу и в их душу. Для всего этого человеку, который не вышел действительно из среды их, нужно иметь в весьма значительной степени дар — примеривать на себе всякое положение, всякое чувство, и в то же время представлять, как оно проявляется в личности другого темперамента и характера,— дар, составляющий достояние натур истинно художественных и уже незаменимый никаким знанием» [1].

Исходя из этих предпосылок, Добролюбов расценивает повести Кокорева и Славутинского. В них он видит «полный пересказ наблюдений над целым строем жизни» (широту и глубину наблюдения), «понимание ее сокровенных тенденций и принципов, нигде и никем не высказанных, но постоянно проявляющихся в жизни». «Исключительного дара» художника Славутинский не имел. Этот дар заменил ему «верный тон действительности». Последний предостерегает его от фальши, и повести его выше прежних, «салонно-простонародных» повестей. Кокорев же обладал и «исключительным даром», поскольку он изображал своих героев «не издали, не в качестве дилетанта народности, не в часы досуга, не для художественного наслаждения, а «сам жил среди них, страдал с ними, был с ними связан кровно и неразрывно. Он недурно изображал мастеровых, кухарок и извозчиков; недурно: его трудами поддерживалось существование старого, больного отца, ремесленника из вольноотпущенных, давалась помощь его матери — кухарке, его брату — извозчику» [2].

---

[1] Том V, стр. 477. «Повести и рассказы Славутинского».
[2] Там же, стр. 288. «Очерки и рассказы И. Т. Кокорева».

Итак, чтобы овладеть жизненной правдой, целиком совпадающей с интересами народа, надо самому выйти из народа, прожить его жизнью, или, если художник из другого класса, суметь войти в жизнь народа и вместе с ним пройти весь тяжелый путь. Вне этого жизненная правда художнику не открывается. Художник «искусственных стремлений» не владеет жизненной правдой в добролюбовском понимании. Поскольку жизненная правда составляет главное, основное условие художественности произведения, постольку художник, владеющий этой правдой, хотя бы он и не имел высокого художественного чутья, расценивается критиком высоко в отношении социального значения. В зависимости от своего таланта он дает или нечто большое, «вечное», или же показывает только кусок, частицу правды жизни, которую сумел охватить его художественный взор.

«Жизненная правда», однако, для критика не есть какой-то абсолют. Жизнь течет, изменяются жизненные отношения людей, меняется и содержание жизненной правды. Что было правдой вчера, сегодня становится полуправдой, и даже ложью, обманом, тормозом жизни. История меняет содержание правды. Правда классова и имеет ограниченный характер; только народная правда имеет значение общечеловеческое, но и народная правда не всегда одна и та же: она зарождается, развивается, расширяется, диференцируется, уточняется в ходе развития общественной жизни. Критик прекрасно это видел и наглядно отобразил в своей критической практике.

Начав с простой фактической достоверности, Добролюбов пришел к необходимости социальной достоверности, притом с точки зрения угнетенных народных масс. Он поставил перед художником задачу уметь встать на классовые позиции народа и понять правду жизни в ее многогранности, в ее органическом развитии, в единстве ее противоречий. Он требовал, чтобы художник, как и ученый, умел находить «общий смысл во всяком частном и случайном факте жизни».

Добролюбов и здесь очень близко подходил к взглядам Ф. Энгельса, который писал: «На мой взгляд реализм подразумевает, кроме правдивости деталей, верность передачи типических характеров в типичных обстоятельствах». В наше время—это азбучная истина, а в 60-е годы отстаивать эту истину приходилось с боями, и еще какими ожесточенными.

Требозание жизненной правды привело критика к тому, что он совершенно отрицательно отнесся к идеализации народа, видя в этой идеализации барское, неравное, покровительственное отношение к народу. Добролюбов ищет в народе все свежее, здоровое, но он одновременно восхищается Щедриным за то, что у него «нет сентиментальничанья и ложной идеализации»; народ у

него является таким, как есть, со всеми недостатками, грубостью, неразвитостью.

Жизненная правда вела критика к реальному изображению жизни, к всестороннему, широкому и глубокому пониманию внутренней логики явлений, к протесту против основ этих явлений, к организации сил на борьбу со всем, что мешает «естественным стремлениям» народа. Все это заставляло знать без всяких прикрас действительное лицо народа, его силы и его слабости, ибо этот народ, и только он, сможет перевернуть существующий строй социального неравенства и эксплоатации. Ф. Энгельс, характеризуя социалистический роман, подчеркивал: «Революционный отпор рабочего класса угнетающему его окружению, его судорожные попытки — полусознательные или сознательные — добиваться своих человеческих прав являются частью истории и могут претендовать на место в области реализма». Критика Добролюбова также является «частью истории», лучшей частью, политически-революционной, занимающей высокое место в «области реализма». Лозунг «жизненной правды» помогал критику вскрывать существующий строй и организовывать силы крестьянской революции.

И все те, кто слишком поверхностно отнеслись к этому требованию критика, совершенно не понимали ни хода его политической мысли, ни литературно-критической его деятельности, копаясь во всяких мелочах, в отдельных ошибках критика.

X

Добролюбов рассуждал так. Два художника могут иметь талант одинаковой силы, но, поскольку сфера их деятельности различна, они имеют не равное значение. Поэт, который тратит свой талант на описание журчанья ручейка и пенья соловья, не может равняться с тем поэтом, который сосредоточил свое художественное дарование на вопросах общественной жизни. Поэтому-то и «важнее вопрос о том, на что употребляется, в чем выражается талант художника, нежели то, какие размеры и свойства имеет он в самом себе, в отвлечении, в возможности». Но и при равном таланте, при условии, что художник углубился в изображение социальной жизни, первенство остается за тем художником, который остановил свой взор на жизни простого народа. Но и это еще не все; чтобы вынести окончательное суждение о писателе, надо посмотреть, какая идея вложена в его произведение. Идея художника может быть ложной, тогда все произведение ложно. Идея сама по себе может быть и не ложна, но если она уже утратила свое социальное значение, то произведение теряет свою общественную силу. Надо, чтобы художник, улавли-

вая внутреннюю логику социальной жизни, «естественных стремлений» народа, стоял на уровне этих стремлений. Этого требует жизненная правда.

«Естественное стремление», как и жизненная правда, не есть нечто абсолютное, раз и навсегда установленное, неизменное. «Естественные стремления» развиваются параллельно ходу общественной жизни. Те стремления, которые пробудились в народе, обязательны для истинного писателя. Как идеолог революционной демократии, критик ставить вопрос иначе и не мог. Он стремился перевести внимание художника-писателя с описания дворянских гнезд на описание народной жизни. Добролюбов не раз хвалил Соллогуба за то, что он умело, правдиво изображал великосветское общество. Он видел там жизненную правду, но эта правда была правдой аристократии, эта правда критику была не нужна. Такой дворянской литературе критик стремился противопоставить литературу, которая бы так же умело и правдиво изображала жизнь «класса простого народа», с той правдой, с теми устремлениями, которые были в народе в данный исторический момент, без осуществления которых народ жить не может полною жизнью, а должен тянуть ярмо раба. Критик ставит перед обществом новые вопросы и указывает путь, по которому должно итти разрешение этих вопросов. Если художник стоит на уровне с «естественными стремлениями» народа, руководится «правильными началами в своих общих понятиях», он имеет несомненное преимущество перед «неразвитым или ложно развитым писателем», он «может свободнее предаваться внушениям своей художественной натуры». «Тогда действительность отражается в его произведении ярче и живее, и оно легче может повести рассуждающего человека к правильным выводам и, следовательно, иметь более значения для жизни». В противном случае произведение становится слабым, противоречивым, бесцветным, не имеющим надлежащего общественного значения.

Добролюбов прекрасно сознавал, что «литература не может забегать слишком далеко вперед жизни», он не ставил перед ней непосильных задач. Если он на место дворянских интересов ставил в центре внимания интересы «класса народа», то он понимал, что к этому пришла сама жизнь, что пора так или иначе об этом заговорить, что вне уровня «естественных стремлений» народа жить нельзя. Эту мысль критик ярко формулировал в характеристике Тургенева. Не с меньшей остротой и убедительностью он развернул эту мысль и в разборе «Губернских очерков» Щедрина. Давая характеристику двум направлениям в русской жизни, двум поколениям — старшему и молодому, критик указывал, что «многие из людей, горячо приветствовавших зарю новой жизни, вдруг захотели ждать полудня и решились спать

до тех пор, что еще бо́льшая часть людей, благословлявших подвиги, вдруг присмирела и спряталась, когда увидела, что подвиги нужно совершать не на одних словах, что тут нужны действительные труды и пожертвования. Все нетерпеливо ждали, желали, просили улучшений, озлобленно кричали против злоупотреблений, проклинали чужую лень и апатию, но редко-редко кто принимался за настоящее дело». Такое положение дел, естественно, заставило критика требовать от писателя, чтобы он стоял на уровне «естественных стремлений» народа, потому что старшее поколение, либеральное дворянство, покричав о благе народа, по существу ничего не сделало для народа и не могло сделать по самой своей природе. Молодое поколение, революционная демократия, к тому же убедилось, что «мудрая партия пожилых деятелей» «не умеет заглянуть в глубь современной общественной среды, не понимает сущности новых потребностей и стоит все на том, что толковалось двадцать лет тому назад. Теперь уже всякий гимназист, всякий кадет, семинарист понимает многие вещи, бывшие тогда доступными только лучшим из профессоров, а они и теперь говорят об этих вещах с важностью и азартом, как о предметах высшего философского разумения. Тогда, например, кто говорил об освобождении крестьян, тот считался образцом всех добродетелей и чуть не гением; они и теперь было задумали применить в своих суждениях тот же тон и ту же мерку... Все смеялись над ними, потому что в современном обществе считается уже позором до последней степени, если кто-нибудь осмелится заговорить против освобождения. Да никто уж и не осмеливается» [1].

Путем анализа действительности и классовых соотношений, Добролюбов доказывал, что быть ниже «естественных стремлений» народа истинному писателю нельзя: он окажется в стане врагов народа. Критик, однако, не останавливается на этом положении. Путь его рассуждений в данном вопросе тот же, что и при решении проблемы о жизненной правде. Если жизненная правда познается только в глубоком проникновении во внутреннюю логику явлений, в соотношение классовых сил, то и писателю, чтобы быть истинным выразителем интересов народа, недостаточно быть на уровне того, что ясно и видно каждому сразу. От писателя требуется больше: он должен суметь почувствовать, разглядеть, понять и обобщить те стремления народа, которые еще не выявились, но которые в силу экономических законов должны обнаружиться. Художник должен в своем творчестве отражать не только настоящее и прошедшее, но и заглядывать в грядущее. Писатель должен идеологически развиваться и расти вместе с народом. Вне этого он теряет свое значение. Как известно, Добро-

[1] Том VII, стр. 254. «Литературные мелочи прошлого года».

любова много раз упрекали в тенденциозности, в том, что он подходит к писателю с известными партийными требованиями. Добролюбов в конце концов пришел к признанию партийности в литературе, хотя он много раз и писал о том, что критик не должен навязывать читателю своих идей, не должен требовать от писателя никаких теорий. Раз жизненная правда познается в диалектической глубине явлений и с точки зрения «класса простого народа» в его историческом движении вперед, то приходится констатировать, что Добролюбов в своих теоретических литературно-критических взглядах поднялся на самую высшую точку зрения, которая только была возможна в его время. Это была тенденциозность, искажение действительности в угоду предвзятой идее, в глазах его классовых противников; для самого же критика это была основа его мировоззрения, органическое свойство его классовой позиции, его сущность, без которой он не был бы революционным демократом. В силу классовой природы критика требование его, чтобы писатель стоял на уровне «естественных потребностей» народа, вытекало органически из требования жизненной правды. Одно без другого немыслимо. Одно другое сопровождает, одно из другого вытекает. В этом сказалась не только сила и глубина логики, но и острота его классового чутья, которое в нем было так сильно развито.

XI

В основу поэтического творчества Добролюбов кладет не рассуждение, а чувство. Голая мысль, добрые стремления вне чувства ведут не к поэзии, а к холодным рассуждениям, к дидактике. Это, конечно, не значит, что поэтическое произведение не должно иметь мысли. Наоборот, в нем всегда должна быть мысль. Критик требует, чтобы автор с поэтическим воображением соединял философское мышление и психологическую наблюдательность. «Поэзия основывается на внутреннем чувстве нашем, на влечении нашей души ко всему прекрасному, доброму и разумному»[1]. Найти, понять и почувствовать это прекрасное, доброе и разумное можно только при определенном мировоззрении, при усвоении «естественных стремлений» народа. Прекрасное, доброе и разумное — это напоминает формулу классической философии: истина, добро и красота, но содержание этой формулы у Добролюбова совершенно не то, что вкладывали в нее многие до него и после него. Одни красоту, прекрасное, видели в искусстве, искусство заменяло им жизнь; критик же видел красоту в самой жизни. Добро — это такая категория, в которой с большей очевид-

[1] Том III, стр. 74, «А. В. Кольцов».

ностью проявлялось классовое содержание. Дворянин Тургенев видел добро в освобождении крестьян сверху; революционер и демократ Добролюбов видел добро в освобождении крестьян путем крестьянской революции, в свержении самодержавия, в социалистическом строе. Другие же видели добро только в православии, самодержавии и самобытности, все остальное было для них гнилью и разложением. Одни истину, разумное искали в постепенном изменении общественного порядка, в сохранении привилегий за своим классом, в медленном, постепенном приобщении широких народных масс к благам мира, — по мере роста их культурности, чтобы эти массы не разрушали созданного господствующими классами. Это вело к философии разумности всего существующего, к оправданию действительности. У других понимание разумности вело к прямому угнетению и эксплоатации народа. У Добролюбова разумное определялось «естественными стремлениями» народа, с ними сливалось и вело к насильственному разрушению существующего строя, вело к американскому пути развития России. «Влечение нашей души ко всему прекрасному, доброму и разумному» в понимании критика и составляет сущность поэзии. Эти три начала всегда должны быть вместе, потому что не все доброе красиво, но и не все красивое — добро и разумно. Чем произведение полнее выражает эти три начала, тем оно выше, значительнее, поэтичнее.

Уразуметь эти три начала, стремиться к ним может всякий человек, но почувствовать их «может только поэт и вообще художник». У каждого человека есть чувство, нет людей, которые совсем не обладали бы чувством, но у поэта чувство развито особенно сильно и устремлено к этим трем началам. От силы чувства зависит достоинство художественного произведения. При этом критик ни на минуту не упускает из виду, в каком направлении работает чувство.

Для поэзии нужен образ, вне образа поэзии нет. Сам по себе образ может быть различен. Одни поэты прекрасно изображают предметы, события. Это — эпики. Другие выражают исключительно чувства от виденного и слышанного — это лирики. Есть драматурги. Они сами не раскрывают своих чувств, не описывают событий: они выводят на сцену действующих лиц; по их поступкам, рассуждениям зритель и делает свое заключение.

«Есть такие поэты, которые кроме живости чувства ничего не имеют. Они до того ограничены умственно, что целый век могут петь все на одну какую-нибудь, часто ничтожную тему, и то ясно не понимая ее»... «Такие поэты, имея очень мало *мыслей* в своей поэзии, не могут иметь важного значения. Есть также и другого рода поэты, тоже мало развитые умственно, хотя и знающие довольно много. Они обращаются к изображению разных предметов

и чувств, но не умеют при этом просто и верно взглянуть на предмет, чтобы схватить его существенные, главные стороны. Какие-нибудь неважные черты, совершенно случайные, без которых легко обойтись, кажутся им необходимыми, а главное и необходимое остается в стороне. Произведения таких поэтов опять не могут иметь особенных поэтических достоинств, оставаясь совершенно ничтожными и даже смешными перед судом людей, понимающих вещи как следует» [1].

Сравнивая народные песни и песни Нелединского-Мелецкого, Мерзлякова, барона Дельвига, Цыганова и Кольцова, критик отдает предпочтение последнему, поскольку «в его песнях более мыслей и эти мысли выражаются с большим искусством, силою и разнообразием, потому что чувства его более глубоки и сознательны и самые стремления более возвышенны и определенны» [2].

Произведение должно быть не только правдиво, но и глубоко искренно. Остановимся несколько на искренности творчества. Это имеет большое значение, особенно в наше время, когда есть приспособленчество и не хватает уменья разглядеть жизненную правду, почувствовать ее и искренно передать. Некоторые думают даже и сейчас, что искренность творчества заключается в интуиции, в преобладании подсознательного, когда поэт творит, как поет птица, — свободно, ни о чем не думая. Интуитивное творчество непосредственно, в этом смысле оно искренно, но ведь искренность определяется не непосредственностью выражения своих настроений и чувств. Если поэт проверит свое чувство сознанием и поправит его, от этого творчество не перестанет быть искренним. Искренность теряется там, где поэт изменяет своим взглядам, насилует себя, говорит не то, что думает, проповедует не то, в чем убежден. Когда у поэта искренность чувства противоречит искренности суждения, следует говорить о разладе чувства и разума, о раздвоении поэта. Можно искренно писать, оформляя свои чувства в полном согласии с теоретическими взглядами, произведение будет глубоко искренно, но оно может оказаться лишенным всяких поэтических достоинств, поскольку чувство будет вытеснено холодным рассуждением, нравоучением. Высшее выражение искренности там, где нет никакого разлада между чувством и разумом.

Добролюбов не всякую искренность ценит. Можно искренно защищать самодержавие и крепостничество, но в такой искренности нельзя найти ни красоты, ни добра, ни разумности. Все же искренность требует от поэта, чтобы он, каких бы взглядов ни держался, какова бы ни была его классовая правда, высказы-

---

[1] Том III, стр. 79. «А. В. Кольцов».
[2] Там же, стр. 86.

вал свои взгляды до конца, без утайки, без прикрас, чтобы он был в своем творчестве тем, чем он является в действительности. Ложь лишает произведение всякой ценности, как бы высоко ни стояло оно в смысле формы, мастерства. Ложь ставит поэта вне общественности. Такой поэт заслуживает общественного презрения: разоблаченный в своей лжи, он умирает для общества.

Критик требует от поэта конкретности. Разбирая стихотворения И. Никитина, Добролюбов упрекает его в том, что в его творчестве «не слышно внутренней жизни самого поэта». Его ум и чувство находятся в разладе с окружающей средой, среда душит поэта, он хочет из нее вырваться, но этот разлад в творчестве поэта — «общее место, и, говоря о нем отвлеченно, можно высказать много умных вещей, но нельзя написать поэтического, живого произведения». Этот недостаток конкретности критик находит также у Огарева и Аксакова. Конкретность творчества, однако, не есть фотографический снимок, это критик постоянно повторяет. Взятые явления и характеры должны быть не только верны действительности, они должны быть переработаны, обобщены в своей сущности в конкретные образы.

Критик требует от поэта простоты. Критик восстает против «фантазии, аллегории, эфира»; он требует реалистической простоты. Он упрекает Пушкина и Лермонтова в том, что они не почувствовали простоты народной поэзии. «Много ли найдете вы у них задушевных звуков, вызванных простыми насущными потребностями жизни?» спрашивает критик и отвечает: высокой художественности, верности и живости достигают только описания природы, да и тут поэты часто не в силах избежать аллегории. Надо, чтобы поэт сильно почувствовал жизнь в самом предмете,—тогда он сумеет «воссоздать естественную красоту предметов» не только верно, но и просто. Критик ставит в вину поэтам, что «простые явления простой жизни, насущные требования человеческой природы, не украшенное, нормальное существование людей неразвитых» они «не умеют воспринять поэтически». «Нам нужно, — замечает иронически критик, — чтобы все это непременно облимонено было разными сентиментами и подсахарено утонченным изяществом, — тогда мы примемся, пожалуй, за этот лимонад» [1].

Как мы уже говорили, в 60-е годы развернулась жестокая борьба между пушкинским и гоголевским направлением, между эстетической и реалистической критикой. «Теперь жизнь, — говорит Добролюбов, — со всех сторон предъявляет свои права, реализм вторгается всюду, на зло мистификаторам всякого рода. Жизненный реализм должен водвориться и в поэзии, и ежели у

[1] Том V, стр. 534. «Стихотворения Ив. Никитина».

нас скоро будет замечательный поэт, то, конечно, уж на этом поприще, а не на эстетических тонкостях»[1]. Это требование реализма в поэзии у идеолога революционной демократии соответствовало его философскому материализму и социальному стремлению показать обществу во всей неприглядной наготе жизнь замученного народа, показать его «естественные стремления». Добролюбов упрекает Никитина, например, за то, что он, изображая голод, подражает «господам», «не замечая того, что господа эти большею частью сами на себя напущают муки», «удаляется от простоты первоначального впечатления, старается сгладить его шероховатости и диссонансы и расплывается в бесцветных отвлеченностях». Если искренность переплетается органически с жизненной правдой, то простота — неизбежное следствие конкретности. Отсутствие простоты ведет к тому, что притупляется самая восприимчивость поэта, его уже вдохновляет не столько сама жизнь, сколько «умное изображение жизни у поэтов и мыслителей». Даже и тогда, когда поэт изображает мировую скорбь, она должна иметь «точку отправления», должна иметь в виду конкретный факт, иначе будут либеральные фразы о горе и не получится сильной, глубокой, потрясающей картины горя. Напротив, критик с большим сочувствием относится к стихотворениям Жадовской, потому что в ее творчестве он чувствует не мечтательность, не сентиментальность, не рефлексию, а «действительную грусть», «действительное страдание». Ее стихи «не каприз сердца», а «душевные раны». Все у ней просто, естественно, искренно, без всяких претензий на всемирность. У ней нет фразы, а есть живое горе. Критик понимает, что талант Жадовской не блещет «ни разнообразием, ни могуществом, ни роскошью», но в нем много задушевности и нет совсем аффектации. Стихи поэтессы среди вычурной поэзии он считает находкой. «Странно было бы не заметить, — пишет он, — звуков простой, безыскусственной поэзии, раскрывающей перед нами внутренний мир человека, посвящающей нас в тайны действительного сердечного горя, в тайны страдания, доступного всякой душе, для которой мысль и чувство дороги, как святейшее достояние человека».

При определении достоинства поэта важны не только сила и степень его поэтического чутья, но и то, на что эта сила направлена. Добролюбов, например, негодует, что Карамзин, будучи во Франции в начале революции, «в такое время все осматривал памятники да восхищался природой, не сумев заметить ничего из того, что вокруг него происходило, и оставил только несколько сентиментальных слов о королевском семействе». Добролюбов с сожалением констатирует, что в нашей лирике господствует «си-

[1] Том V, стр. 537. «Стихотворения Ив. Никитина».

баритский взгляд». Поэзия доступна только натурам избранным, «совершенно обеспеченным материально или — еще лучше — людям, наслаждающимся комфортом жизни». Бедные же люди грубы, возвышенное им недоступно, они погружены в прозаические, скучные заботы о хлебе насущном, им не до тех «тончайших, неуловимых призрачных стремлений, печали и радости», которыми наполнена поэзия. В таком положении дел виноваты не отдельные поэты, а вся общественная жизнь. Ее надо изменить, в центре ее надо поставить «класс простого народа», надо научиться чувствовать и изображать его жизнь. Поскольку Добролюбов понимал служебную роль литературы, ее социальную силу, он утверждал, что хотя литература многого сделать не может и не жизнь идет по литературе, а литература отражает жизнь, все же, простые, верные, искренние реалистические, живые картины народной жизни вызовут к себе глубокий интерес, привлекут внимание всего передового общества. В центре художественного творчества критик ставил основной вопрос — крестьянский вопрос. Без разрешения этого вопроса дальше жить нельзя. Раз так, то естественно, что «восход солнца, пение птичек, блаженство сладострастья, неопределенное томление о чем-то, воспоминания из мифологии и т. п. теперь могут быть изображены очень хорошо и доставить минутный успех поэту, но никогда не привлекут к нему того живого, деятельного и энергического сочувствия, которое всегда появляется в обществе к людям, *нужным* в известную эпоху, недаром живущим на свете» [1]. Критик ждет поэта, «который бы с красотой Пушкина и силой Лермонтова умел продолжить и расширить реальную, здоровую сторону стихотворений Кольцова».

Наконец, критик ставит вопрос об объективности творчества. Мы уже касались этог вопроса в другой связи, здесь только подчеркнем, что критик не раз повторял: «Совершенно объективных поэтов быть не может; совершенно объективны только математические выкладки да разные сведения из натуральной истории, статистики и т. п. В поэзии вопрос может быть только о большей или меньшей объективности, и нам кажется, что различие этих степеней само по себе не может служить доказательством ни недостатка, ни силы поэтического таланта» [2].

Критика часто упрекали, что он не видит и не умеет чувствовать эстетических достоинств творчества, что он увлекается одчим содержанием, требуя, чтобы писали только о страданиях народа. Добролюбов тонко чувствовал прекрасное в жизни и в совершенстве разбирался в достоинствах и недостатках произведе-

---

[1] Том V, стр. 537. «Стихотворения Ив. Никитина».
[2] Том III, стр. 490. «Стихотворения Ю. Жадовской».

ния. Предъявляя к писателю ряд требований в отношении глубины чувства и мысли, критик не забывал добавлять: «Не говорим уже о достоинствах изложения, которое должно быть не только правильно, легко, но и изящно». Он, например, останавливается на недостатках Жадовской. Недостатки он видел в слабости отделки, в «небрежности и шероховатости языка». Критику не нравятся примитивные рифмы, чрезмерное употребление союзов, произвольность ударений. Критик подчеркивает, что техника стиха уже достигла такой высоты, что малейшая шероховатость производит на нас неприятное впечатление. При разборе творчества Цыганова и Мерзлякова критик остро чувствует подделку под народное творчество, легко находит ложное чувство и возмущается этим.

Добролюбов очень хорошо понимал значение мастерства. Литература должна служить обществу, раскрывать перед ним жизнь, заражать его определенными чувствами, настроениями, останавливать его внимание на известных жгучих проблемах. Чтобы достигнуть этого, поэту необходимо виденное и перечувственное суметь мастерски и с силой передать читателю, суметь целиком «овладеть нашим воображением, привязать к изображаемым событиям и личностям, внушить нам полное участие к представляемым им характерам, заставить нас поставить себя мысленно на их место, увлекаться их стремлениями, думать их умом, чувствовать их сердцем. Чем полнее это очарование, чем совершеннее наше увлечение, тем лучше автор достиг своей цели, тем более внимания и похвалы заслуживает его произведение». Но для этого нужно владеть художественным мастерством, литературной культурой. В ряде своих статей и отзывов Добролюбов много раз отмечает недостатки формальной стороны творчества и дает указания даже и тогда, когда дело идет о переводах. Он протестует, когда стих «вял, растянут, неопределенен, словом, если плохо выражает то, что хотел поэт выразить». Поэт должен работать над стихом, когда впечатление свежо, живо, ярко. Если впечатление угасло, поэт сможет поднять свой стих только искусственно; он должен ждать момента, когда впечатление повторится, воскреснет с новой силой, но это бывает редко и в исключительных случаях. Это замечание заслуживает особенного внимания, потому что оно подводит к вопросу о связи формы и содержания. Добролюбов специально по этому вопросу нигде не говорит, но отдельные его замечания свидетельствуют, что единство формы и содержания он понимал, хотя, конечно, и не в той мере, как этот вопрос разрешается марксистским литературоведением.

XII

Литературную работу Добролюбов рассматривал как работу глубоко общественную. Критику, как вид творческой литературной работы, он ставил выше художественного творчества и предъявлял к ней неизмеримо большие требования. Обладая качествами, которые необходимы художнику, критик должен еще уметь растолковать произведение читателю. Писатель создает, а критик должен суметь вскрыть, проанализировать литературное явление, показав, что в нем есть ложного и истинного.

Добролюбов сознавал, что вечных, абсолютных законов критики нет; эти законы меняются в различные исторические эпохи. Перед критикой, как и перед самим художественным творчеством, жизнь ставит в различные эпохи разные задачи, а в зависимости от этого видоизменяются и сменяются принципы критики. Высмеивая критиков, которые начали разбирать и разносить Островского по пунктам старых эстетических канонов, Добролюбов указывал, что «старые законы искусства, продолжая существовать в учебниках и преподаваться с гимназических и университетских кафедр, давно уже, однако, потеряли святыню неприкосновенности в литературе и публике». Такую критику Добролюбов считает ревизией согласно установленным параграфам учебника. Она бесплодна, враждебна всякому прогрессу, поскольку слепо и рабски следует за параграфами, мешает проявляться и развиваться в литературе новому, оригинальному. Если новое литературное движение сильно, тем больше проявляется вред, бесплодность и бессилие такой критики. Добролюбов выражается очень резко. Он пишет: «Ведь ограничивая ее (критику. — *В. П.*) приложением «вечных и общих» законов искусства к частным и временным явлениям, через это самое осуждают искусство на неподвижность, а критике дают совершенно приказное и полицейское значение»[1]. Клеймя курсы Кошанского, Ивана Давыдова, Чистякова, Зеленского, Добролюбов пишет: «По мнению сих почтенных теоретиков, критика есть приложение к известному произведению общих законов, излагаемых в курсах тех же теоретиков: подходит под законы — отлично; не подходит — плохо. Как видите, придумано недурно для отживающих стариков: покамест такое начало живет в критике, они могут быть уверены, что не будут считаться совсем отсталыми, что бы ни происходило в литературном мире. Ведь законы прекрасно установлены ими в учебниках, на основании тех произведений, в красоту которых они веруют; пока все новое будут судить на основании утвержденных ими законов, до тех пор изящным и будет признаваться

[1] Том IV, стр. 254. «Луч света в темном царстве».

только то, что с ними сообразно, ничто новое не посмеет предъявить своих прав; старички будут правы, веруя в Карамзина и не признавая Гоголя, как думали быть правыми почтенные люди, восхищавшиеся подражателями Расина и ругавшие Шекспира пьяным дикарем» [1].

Идеолог революционной демократии, который хотел заменить старую литературу новой, реформы дворянского либерализма крестьянской революцией, а описание прелести дворянских гнезд — описанием ужаса и страдания народа, не мог не высмеять всего этого. Чтобы узаконить в литературе новое содержание, новое понимание отношения искусства к действительности, он должен был отвергнуть вечные, непреложные законы эстетики и критики и выдвинуть свои. Прежде всего он, конечно, начинает разрушать старые каноны. Он указывает, что «рутинерам, даже самым бездарным, нечего бояться критики, служащей пассивною поверкою неподвижных правил тупых школяров, — и в то же время—нечего надеяться от нее самым даровитым писателям, если они вносят в искусство нечто новое и оригинальное. Они должны итти наперекор всем нареканиям «правильной» критики, на зло ей составлять себе имя, на зло ей основать школу и добиться того, чтобы с ними стал соображаться какой-нибудь новый теоретик, при составлении нового кодекса искусства» [2].

Такую критику Добролюбов зло сравнивает с рекрутским присутствием, где после осмотра новобранца, в зависимости от того, подходит он или нет к установленным меркам, кричат то «лоб», то «затылок». Добролюбов издевается над такой критикой, сравнивая ее с судом, в который тянут людей по подозрению в совершенных преступлениях. Писатель же, говорит Добролюбов, не обвиняется; критик должен высказать свое мнение о произведении, приведя доводы за и против и предоставив читателю самому разобраться, почему дурно одно и хорошо другое. Критика не только судья, но и адвокат. Она может собрать такое общественное мнение, которое отвергнет приговор критика-судьи, да еще сумеет вскрыть и показать, каков сам судья, в чем он сам повинен. Могут сказать, что судья несправедлив и лжив, пристрастен. Словом, критика не трибунал, куда таскают несчастных авторов, критика не ареопаг, перед которым все должны трепетать, ожидая приговора.

Разделываясь со старой критикой, со старыми эстетическими канонами, Добролюбов намечает принципы новой критики. Свою критику Добролюбов называет реальной критикой. Для разбора он выбирал такие произведения, в которых видел в той

---

[1] Том IV, стр. 253. «Луч света в темном царстве».
[2] Там же, стр. 253.

или иной степени правдивое отображение действительности, которые носят реалистический характер, в которых видна глубокая мысль. В силу всего этого критика Добролюбова носила научный характер.

«Реальная критика относится к произведению художника точно так же, как к явлениям действительной жизни; она изучает их, стараясь определить их собственную норму, собрать их существенные, характерные черты, но вовсе не суетясь из-за того, зачем овес — не рожь и уголь — не алмаз»[1]. Критик прежде всего сам должен иметь точные, твердые взгляды на происходящее вокруг него в жизни. Он должен, как и писатель, стоять на уровне современного знания и современных «естественных стремлений» народа. Вооружившись этим, критик «свободно и безобидно» подмечает, собирает и указывает факты, которые даны в художественном произведении, сопоставляет их с фактами реальной жизни, высказывает свое о них суждение, становясь в совершенно равное отношение с писателем. Писатель-художник на основании своих наблюдений и понимания жизни собрал определенные факты, объединил их, переработал, создал образы и дал то или иное объяснение явлению жизни. Писатель-критик на основании своих наблюдений, своего понимания хода жизни, связи жизненных явлений решает вопрос, почему и правильно ли художник взял именно эти факты, а не другие, не смешал ли он главное, органическое с второстепенным, случайным, правильно ли он установил связь и зависимость фактов, правильно ли он объяснил их. Критик, высказывая мнение о художнике, одновременно подвергает проверке и свои суждения. Нередко бывает, что художник лучше понимает действительность, чем критик. Разве прав был Белинский, когда он разносил «Горе от ума»? Конечно, критик может быть не прав, как и сам писатель-художник. Важно, чтобы критик, устанавливая, разбирая факты, не искажал автора, не лгал на него. Если критик неверно истолкует писателя, но верно даст «экстракт» его, он уже «облегчает возможность понимать характер и значение его произведений». Критик может обвинять автора лишь тогда, когда его произведение — путаное, двусмысленное.

Критик должен относиться к писателю так же, как писатель к читателю. Писатель не должен навязывать читателю своих взглядов, тем более «реальная критика не допускает навязывания автору чужих мыслей. Перед ее судом стоят лица, созданные автором, и их действия, она должна сказать, какое впечатление производят на нее эти лица»; «она никогда не позволит себе, например, такого вывода: это лицо отличается привязан-

[1] Том IV, стр. 74. «Темное царство».

ностью к старинным предрассудкам, но автор выставил его добрым и неглупым, следовательно, автор желал выставить в хорошем свете старинные предрассудки. Нет, для реальной критики здесь представляется прежде всего факт: автор выводит доброго и неглупого человека, зараженного старинными предрассудками. Затем критика разбирает, возможно ли и действительно ли такое лицо; нашедши, что оно верно действительности, она переходит к своим собственным соображениям о причинах, породивших его, и т. д. Если в произведении разбираемого автора эти причины указаны, критика пользуется ими и благодарит автора; если нет, не пристает к нему с ножом к горлу, как, дескать, он смел вывести такое лицо, не объяснивши причин его существования»[1]. Критика должна следовать совершенно другому методу. Она должна раскрыть содержание художественного произведения, показать лиц, их действия, происходящие события и выявить тот общественный смысл, который, по мнению критика, имеет художественное произведение как в целом, так и в отдельных своих частях; после этого критику будет уже нетрудно определить, верно ли даны образы, не возведено ли какое-либо единичное, случайное явление в основное и отдельное лицо—в тип. Это, в свою очередь, заставит критика посмотреть на те явления жизни, которые легли в основу художественных образов. Но критик не в праве требовать, чтобы писатель-художник брал те явления, которые почему-либо интересуют критика. Писатель берет то, что привлекает его внимание, что его захватывает, что он знает; изображает предмет он с той стороны, которую он больше видит. Критики, например, ругали гр. Соллогуба за то, что он в своем романе «Большой свет» односторонне изобразил великосветскую женщину; изобразил пустоту ее существования, но не показал живости ее ума и тонкости чувства. Добролюбов вступился за графа и писал: глупо обвинять писателя в том, что его купцы, художники и крестьяне безжизненны. Он сын «большого света», в нем воспитался, его духом проникся, с его позиций «смотрел он и на другие классы общества». Что касается великосветских женщин, то он изобразил их с одной стороны, но изобразил «превосходно», потому что в «Большом свете» он раскрывает «часть души своей, выражает самого себя». Автор не виноват, если ему не встречались думающие и чувствующие женщины. Внутренняя жизнь скрывается где-то в глубине, недоступна автору, «тогда как внешняя жизнь тянется однообразно и прилично, без изменений и страстей». Ее граф и изобразил превосходно.

«Самым лучшим способом критики, — пишет Добролюбов, — мы считаем изложение самого дела так, чтобы читатель на ос-

---

[1] Том IV, стр. 74. «Темное царство».

новании выставленных фактов сам мог сделать свое заключение. Мы группируем данные, делаем соображения об общем смысле произведения, указываем на отношение его к действительности, в которой мы живем, выводим свое заключение и пытаемся обставить его возможно лучшим образом, но при этом всегда стараемся держаться так, чтобы читатель мог совершенно удобно произвести свой суд между нами и автором» [1]. Тут те же самые мысли и те же требования, которые критик предъявлял к писателю в отношении читателя. Те же методологические ошибки и недоговоренности. Добролюбов считал, что критик может ограничиться заявлением, что «такое-то произведение безграмотно или исполнено лжи». Но ведь каждый класс, каждая общественная группа имеет свою правду; что для одних лживо и безграмотно, для других истинно и разумно. В наши дни мы это видим каждую минуту. Критик, предоставляя читателю выбирать между суждениями писателя и критика, все же старается убедить читателя в правоте своих взглядов, своих выводов. По этому пути идет вся литературно-критическая деятельность самого Добролюбова. Критик и не может лишить читателя права иметь свое суждение, выбирать мнение. Принудительной власти у него нет, он располагает только силою логики, силою своего убеждения, а всем этим критик пользуется в самой широкой мере и не может от этого отказываться, иначе какой он писатель, какой общественный деятель? Добролюбов сам указывает, как надо действовать на читателя, чтобы подчинить его своим убеждениям. Он писал «Если вы хотите живым образом действовать на меня, хотите заставить меня полюбить красоту, — то умейте уловить в ней этот общий смысл, это веяние жизни, умейте указать и растолковать его мне: тогда только вы достигнете вашей цели. То же самое и с истиною: она не в диалектических тонкостях, не в верности отдельных умозаключений, а в живой правде того, о чем рассуждаете. Дайте мне понять характер явления, его место в ряду других, его смысл и значение в общем ходе жизни, и поверьте, что этим путем вы приведете меня к правильному суждению о деле гораздо вернее, чем посредством всевозможных силлогизмов, подобранных для доказательства вашей мысли». Критик, несмотря на свою объективность, предлагая читателю свое мнение наряду с мнением художника, все же очень остро и настойчиво ставит вопрос о завоевании читателя. Критик хочет, чтоб все жили своим умом, он не хочет опеки над читателем, но он все время ведет усиленную агитацию за свои взгляды и старается привить их читателю. Требуя от критика, чтобы он не столько копался в частностях, сколько выявлял «общее миросо-

[1] Том IV, стр. 270. «Луч света в темном царстве».

зерцание писателя», выявлял те «предметы и явления», которые остановили его внимание, и указывал, насколько они важны в общественном отношении, Добролюбов требовал, чтобы критик давал «верную, полную, всестороннюю оценку» художника, чтобы он выявил «новое слово», которое произнес художник, и обратил на него общественное внимание, чтобы он подчеркнул «светлый взгляд, истинные, благородные убеждения» писателя и, наконец, сумел заставить читателя «горячо сочувствовать всему прекрасному», что есть в творчестве того или другого художника-писателя.

Отмечая недоговоренности Добролюбова, мы все же должны заметить, что у него была своя логика и по-своему довольно строгая, выдержанная, полностью отвечающая конкретным запросам революционной демократии. Писатель может писать о чем угодно, лишь бы он писал правдиво; критик же оценивает его с точки зрения того, что и как он описывает и какой общественной группе служит. В этом своем приговоре он может признать искренность писателя, но одновременно показать и его ничтожность со своей классовой точки зрения. И тут, конечно, вопрос об объективности писателя приобретает другой характер. Эта внеклассовая объективность фактически превращается у Добролюбова просто в красивую фразу, обусловленную требованиями времени, упреками, что критик ко всему подходит со своей точки зрения. Добролюбов, это надо признать, ко всему подходил с точки зрения революционной демократии, подходил строго, последовательно, но в отдельных своих высказываниях теоретического порядка он делал своим противникам словесные уступки; говоря об объективности, на практике он всегда являлся партийным революционером-демократом, партийным не в смысле фактической принадлежности к партии, а по характеру своих взглядов. Объективность, по мнению Добролюбова, сводится к тому, чтобы критик «рассматривал произведение автора, и затем, как результат этого рассмотрения, говорил, что в нем содержится», чтобы критики не говорили себе прежде, «что должно содержаться» в произведении (по их понятиям, разумеется) и в какой мере все должное действительно в нем находится (опять сообразно их понятиям)».

Своих мыслей критик не должен навязывать автору. Рассматривая критическую продукцию Добролюбова, необходимо указать, что он, например, оберегая Островского от критиков, приписывавших ему свои взгляды, истолковал драматурга по-своему, приписав то, что критик нашел в нем как идеолог революционной демократии. Так и должно было быть, и в этом великая заслуга Добролюбова. Добролюбов все время требует от критики, чтобы она не выходила за пределы содержания произведения,

держалась его строго, но он, требуя, чтобы художник вскрыл сущность явления, показал основное, а не случайное, сам заставляет критика брать жизнь шире, чем она дана художником, иначе критик не сумеет выяснить поставленной проблемы. Так поступает сам Добролюбов, например, в статье «Забитые люди», да и во всех своих больших статьях, за что его и упрекали в критике «по поводу». Конечно, это была не критика «по поводу», а самая настоящая литературная критика, но это не снимает того положения, что критик почти всегда выходил за рамки содержания творчества. Делал он это даже и тогда, когда делал многочисленные оговорки, как, например, в своих обстоятельных статьях об Островском.

Боязнь строгой партийности в критике, особенно в художественной литературе, сохранилась еще до сих пор. Правда, многие этой боязни не показывают, но зато строго партийную критику они считают односторонней, предвзятой, не объективной. Этот предрассудок в какой-то степени жил и во взглядах Добролюбова, являясь уступкой противнику. Тут дело и слово у критика разошлись и разошлись в интересах революционной демократии.

Требуя, чтобы критика не выходила за границы содержания, Добролюбов одновременно обязывает критику, «чтобы она осмыслила перед нами то, чем мы увлекаемся часто безотчетно, чтобы она привела в некоторую систему и объяснила нам наши собственные впечатления. А если, уже после этого объяснения, окажется, что наши впечатления ошибочны, что результаты их вредны, или что мы приписываем автору то, чего в нем нет, —тогда пусть критика займется разрушением наших заблуждений, но опять-таки на основании того, что дает нам сам автор»[1]. Оберегая автора от того, чтобы критика не приписала ему своих взглядов, Добролюбов хочет, чтобы критика вскрыла, почему общество (так выражается критик, а мы скажем — почему известный класс) относится сочувственно или отрицательно к писателю. Следовательно, критик, несмотря на свой объективизм, показывает читателю, чем, когда, как и кому служит автор — служит он классам командующим или угнетенным, служит он прогрессу или тормозит его. Обо всем этом критик судит со своей революционно-демократической позиции, и тут он уже несомненно выходит за рамки произведения, ибо втягивает, как материал для суждения, впечатления читателя. Читатель может ошибаться в своих симпатиях и антипатиях. Блестящим примером может быть творчество Островского, которого считали своим два враждующих лагеря.

Добролюбов предвидит и тот случай, когда «художник может

---

[1] Том IV, стр. 73. «Темное царство».

и вовсе не дойти до смысла того, что он сам изображает; но критика и существует затем, чтобы разъяснить смысл, скрытый в созданиях художника, и, разбирая представленные поэтом изображения, она вовсе не уполномочена привязываться к теоретическим его воззрениям». В доказательство критик ссылается на творчество Островского. Этот художник независимо от того, каких теорий он держался, несмотря на то, что он мог брать не те факты и не в той связи, в которой идея отражалась бы полнее, несмотря даже на не совсем верное толкование их, дал произведения, пригодные для объяснения действительности и его таланта, потому что его ни разу не покидало художественное чутье и им сохранена правда. Критика должна вскрыть истинный смысл произведения, потому что «общие идеи принимаются, развиваются и выражаются художником в его произведении совершенно иначе, нежели обыкновенными теоретиками. Не отвлеченные идеи и общие принципы занимают художника, а живые образы, в которых проявляется идея. В этих образах поэт может, даже неприметно для себя, уловить и выразить их внутренний смысл гораздо прежде, нежели определить его рассудком»[1].

Эти рассуждения с большей четкостью повторил и развил впоследствии Г. В. Плеханов, когда указывал, что критика должна судить только о том, что художником представлено, а не рассуждать о том, что критика хотела бы видеть в произведении, чего в нем нет. Поскольку он протестовал против тенденциозности в литературе, разумея под тенденциозностью извращение фактов действительности, нарушение «жизненной правды», насильственное, искусственное сочетание фактов в угоду заранее поставленной идее, которую автор хочет во что бы то ни стало доказать, — он прав. Но он совершенно не прав, когда через много лет после Добролюбова, стоя на марксистских позициях, держался в литературоведении старых предрассудков, сужал задачи критики, ее права и обязанности. Конечно, критика в основном должна исходить из данного произведения, но она в праве указать автору, чего он не заметил, чего у него нет в произведении, потому что это незамеченное, отсутствующее могло изменить всю сущность произведения. Критика должна помочь разобраться в произведении не только читателю, но и самому писателю, чтобы он правильно понимал внутренний смысл явлений. Это трудно делать, когда писатель и критик стоят на разных классовых позициях, по-разному понимают и чувствуют. Легче это делать, когда критик и писатель стоят на одной классовой точке зрения. В этом случае критик обязан указать своему соратнику по общественной борьбе, чего у него нет, что должно быть и как

[1] Том IV, стр. 147. «Темное царство».

оно должно быть освещено. Добролюбов допускает это, но с оговоркой и только для начинающих писателей. Нет, это должно касаться всех писателей, потому что эти указания помогают писателю оформлять свое мировоззрение и лучше понимать действительность, лучше выбирать материал для творчества и т. д. У Плеханова это был шаг назад, вытекавший из сущности его меньшевистских позиций. Добролюбов, поскольку у него центр тяжести был не в этой объективности, а в тезисе, что критика должна пользоваться художественным произведением для объяснения общественной жизни, поскольку он пользовался объективностью как средством защиты, так и средством нападения на противника, — делал гигантский шаг вперед. Это не подмена критики публицистикой, здесь лежат корни марксистского понимания социальной функции литературы. Развивая этот тезис на основе марксова учения, Плеханов не сумел освободиться от ошибки Добролюбова.

XIII

Таким образом, литературно-критические взгляды Добролюбова, являясь развитием его философских и политических установок, сводятся в основном к следующим положениям:

«Существенной разницы между истинным знанием и истинной поэзией быть не может».

«Не жизнь идет по литературным теориям, а литература применяется сообразно с направлением жизни».

«Дело поэзии — жизнь, живая действительность». «Это полная картина жизни в ее деятельном развитии, строго подчиненная всем вещественным условиям истины и вместе свободная в выборе занимательнейших точек зрения».

Поборники «искусства для искусства» «хотят ни больше, ни меньше того, чтобы писатель-художник удалялся от всяких жизненных вопросов, не имел никакого рассудочного убеждения».

Литература отражает классовую борьбу. «Даже поэзия увлекалась духом партий и классов». Литературы «класса народа» еще нет.

«Художественное произведение может быть выражением известной идеи не потому, что автор задался этой идеей при создании, а потому, что автора поразили такие факты действительности, из которых эта идея вытекает сама собой».

«Литература представляет собою силу служебную, которой значение состоит в пропаганде».

Писатель должен стоять «в уровень с теми естественными стремлениями, которые уже пробудились в народе или должны скоро пробудиться по требованию современного порядка дня».

«Главное достоинство писателя-художника — в правде его изображений; иначе из них будут ложные выводы».

«Достоинство писателя зависит, с одной стороны, от того, как сильно в нем поэтическое чувство, а с другой — от того, на какие предметы и на какие стороны предмета оно обращено». Достоинство художника «определяется тем, что и как он пропагандирует».

«Реальная критика относится к произведению, как к явлениям действительной жизни».

Все это Добролюбов блестящим образом и развил в своих критических работах.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Литературно-критическая деятельность Добролюбова не только отразила страстную борьбу, которая в 60-е годы развернулась между мелкобуржуазной революционной демократией и дворянским либерализмом, но и сама была в этой смертельной схватке острым оружием в руках демократии. В то время как либералы продолжали свои бесконечные разговоры о высоких материях, о социальном идеале, о правах личности, об искусстве и сидели преспокойно в своих дворянских усадьбах или разъезжали по заграницам, пользуясь доходами от своих имений, от труда своих крепостных, революционная демократия требовала прежде всего реального дела, самоотвержения и бескорыстного служения интересам крестьянской революции.

Перед молодым критиком стояла задача вскрыть деспотизм монархического строя, показать бесправие граждан и доказать, что это «темное царство» должно быть разрушено. Ему надо было вскрыть ничтожность, гнилостность русского либерализма, претендующего на руководящую общественную роль, и в то же время выявить, оформить, обосновать, укрепить мировоззрение революционной демократии и так сплотить и организовать эту молодую, выступающую на историческую сцену общественную группу, чтоб она, развенчав и разбив либерализм, была в состоянии повести за собой силы страны, способные на борьбу с самодержавно-крепостническим порядком, способные поднять крестьянское восстание.

Эти классовые задачи обусловили как выбор критиком литературных произведений, подлежащих рассмотрению, так и содержание и тон его критических статей.

Перед нами задача: установить политический смысл литературно-критических статей Добролюбова, чтобы закончить затянувшиеся по этому вопросу литературные споры.

Для своей цели мы берем только основные, наиболее известные литературно-критические статьи Добролюбова: они дают исчерпывающий материал и вполне ясный ответ. Конечно, и другие

статьи представляют несомненный интерес, но существенно нового они не дают.

I

Статьи о пьесах Островского, под общим заглавием «*Темное царство*», Добролюбов начинает рядом предварительных замечаний теоретического характера о задачах писателя, критика и самого Островского. Цель этих литературоведческих рассуждений не столько в теоретических выводах, сколько в узко практических педагогических соображениях.

Добролюбов выясняет вопрос об объективности писателя. Он готов требовать от художника, чтобы последний в своем творчестве «в полной неприкосновенности сохранил свой простой, младенчески непосредственный взгляд на мир». Однако критик тут же оговаривается, что в жизни это невозможно, и предлагает писателю «спасаться от односторонности возможным расширением своего взгляда посредством усвоения тех общих понятий, которые выработаны людьми рассуждающими».

Развивая идею объективности, Добролюбов старался этой объективностью расположить читателя к художнику, внушить доверие к изображаемому им явлению и характеру. Говоря конкретно о таланте Островского, о его богатом «даре наблюдательности», критик характеризует этот талант как талант глубокий, широко захватывающий действительность, правдивый, умеющий из массы жизненных явлений извлекать факты наибольшей важности. Касаясь комедий «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется» и других, критик вынужден отметить ряд таких моментов, когда проявление характера героев зависит не от основного направления жизни, а от случайностей и развязка пьес явно несуразна. Чтобы все это не подрывало у читателя мысли об объективности Островского, Добролюбов тут же оговаривается, что все характеры комедий «отличаются неподдельной истиной», что негде «взять разумности, когда ее нет в самой жизни», и вообще, добавляет он, «жизнь, как и природа, имеет свою логику, и эта логика, может быть, окажется гораздо лучше той, какую мы ей сейчас навязываем». Словом, чтобы Островского не упрекали в предвзятости, служении какой-либо партии, а верили в его, так сказать, объективную правдивость, Добролюбов доказывает: «Редко-редко увлечение идеей заводило Островского до натяжки в представлении характеров или отдельных драматических положений». Критик настойчиво добивается признания объективности драматурга. Для него это имеет особенное значение, потому что об Островском, о направлении его творчества шли горячие споры. Молодая редакция

«Москвитянина», Ап. Григорьев считали драматурга выразителем народности; Добролюбов же, стремясь сделать творчество Островского орудием той классовой линии, которую вел «Современник», твердил, что талант творца великих комедий объективен и велик.

Исчерпав этот вопрос, Добролюбов начинает расширять сферу наблюдений драматурга, постепенно поднимаясь до самых широких обобщений. Он замечает, что хотя драматург берет быт исключительно купеческий и чиновный и «не проникает в высшие слои общества», тем не менее художник по аналогии дает полную возможность объяснить «горькие явления» высшего общества, того быта, которого комедии непосредственно не касаются. Углубляя эту мысль, критик внушает читателю, что типы Островского нередко заключают в себе общественные черты, что выводы Островского должны быть распространены на всю русскую действительность. Чтобы быть яснее, убедительнее, Добролюбов не раз подчеркивает мысль, что хотя «деятельность общественная мало затронута» Островским и главным образом в силу того, что государственный порядок не дает возможности развернуться «настоящей деятельности, в которой свободно и широко мог бы выразиться человек», но зато им «полно и рельефно» выражены «отношения *семейные* и отношения по *имуществу*». И тут же, конечно не случайно, а с целью подчеркнуть свою скрытую между строками мысль, Добролюбов ставит вопрос о столкновении двух партий — «старших и младших, богатых и бедных, своевольных и безвольных». Читатель, таким образом, убеждается, что хотя он и читает о купцах и чиновниках, но речь в сущности идет о всей гнусной российской действительности, как выражался Белинский. Больше, читатель начинает понимать борьбу двух общественных групп, которые Добролюбов охарактеризовал и с имущественной и с правовой точек зрения,— класс эксплоататоров, угнетателей, и класс эксплоатируемых, угнетенных. Постепенно Добролюбов поднимается до высшего обобщения, до символа «темное царство» — это самодержавно-крепостнический строй, от которого страдает народ. Он намечает развивающуюся внутри его классовую борьбу и к пониманию этого высшего обобщения постепенно приближает читателя.

В другой статье — «Луч света в темном царстве» — Добролюбов говорит об этом уже самым определенным образом. Ап. Григорьев, восхищаясь талантом Островского, нападал на Добролюбова за то, что последний ограничил смысл комедии отношениями, обычными в купеческом быту, а не вскрыл народности Островского. Добролюбов ответил ему:

«Мы искали, как и насколько произведения Островского служат выражением народной жизни, народных стремлений; что это,

как не народность? Только что мы не кричали про нее с восклицательными знаками через каждые две строки, а постарались определить ее содержание, что г. Григорьеву не заблагорассудилось ни разу сделать. А если б он попробовал, то, может быть, пришел бы к тем же результатам, которые осуждает у нас, и не стал бы попусту обвинять нас, будто мы заслугу Островского заключаем в верном изображении семейных отношений купцов, живущих по-старине».

Далее идут строки, политически настолько ясные, что в свое время царская цензура не допустила их к печати.

«Всякий, кто читал наши статьи, мог видеть, что *мы вовсе не купцов только имели в виду* (подчеркнуто мною. — *В. П.),* указывая на основные черты отношений, господствующих в нашем быте и так хорошо воспроизведенных в комедиях Островского. Современные стремления русской жизни *в самых обширных размерах* (подчеркнуто мною. — *В. П.)* находят свое выражение в Островском и, как в комике, с отрицательной стороны. Рисуя нам в яркой картине ложные отношения, со всеми их последствиями, он через то самое служит отголоском стремлений, требующих лучшего устройства».

Говоря дальше о произволе сильных и о недостатке сознания своих прав у слабых, критик спрашивает:

«Разве вы не сознаетесь, что подобный фон комедий соответствует строению русского общества более, нежели какого бы то ни было другого в Европе? Возьмите историю, вспомните свою жизнь, оглянитесь вокруг себя, вы всегда найдете оправдания наших слов» [1].

После этих высказываний не может быть никаких сомнений, что «темное царство» — самодержавно-крепостнический строй.

Однако, чтобы критика не упрекали в произвольном толковании комедий, в подмене критики политикой, Добролюбов дает ряд замечаний о характере и задачах литературной критики. Он самым решительным образом отказывается от эстетической критики, сосредоточив свое внимание исключительно на вопросах общественных, положенных в основу произведения, относясь к нему, как к явлению действительной жизни. Критик признает, что «художник не имел в виду доказывать тех мыслей, какие мы теперь выводим из его комедий, но они сами собой сказались в его произведениях, и сказались удивительно правильно».

★

Убедив читателя, что Островский правдив, объективен, велик, что, рисуя быт купцов и чиновников, он фактически дает кар-

[1] Том IV, стр. 289.

тину всей самодержавно-крепостнической действительности, Добролюбов приступает к конкретному анализу комедий Островского. Он прежде всего дает общую картину русской действительности. Эта картина не менее красочна, сильна и убедительна, не менее страстна и волнующа, чем знаменитое письмо Белинского к Гоголю. Читая соответствующие страницы статьи, вы начинаете приходить в ужас, в сердце закипает злоба и ненависть к поработителям, оно наполняется любовью и жалостью к замученным, вам хочется ринуться в бой, в смертельный бой, жестокий, чтобы вывести людей из темницы русской жизни, чтобы эти люди вздохнули свежим воздухом, пришли в себя, вернулись к жизни.

Вот эта потрясающая картина «темного «царства» — самодержавно-крепостнической России:

«Перед нами грустно-покорные лица наших младших братий, обреченных судьбою на зависимое, страдательное существование... Это мир затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении. Нет ни света, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один миг светлого дня не проникает в нее. В ней вспыхивает по временам только искра того священного пламени, которое пылает в каждой груди человека, пока не будет залито наплывом житейской грязи. Чуть тлеется эта искра в сырости и смраде темницы, но иногда, на минуту, вспыхивает она и обливает светом правды и добра томящихся узников. При помощи этого минутного освещения мы видим, что тут страдают наши братья, что в этих одичавших, бессловесных, грязных существах можно разобрать черты лица человеческого, — и наше сердце стесняется болью и ужасом. Они молчат, эти несчастные узники, — они сидят в летаргическом оцепенении и даже не потрясают своими цепями; они почти лишились даже способности сознавать свое страдательное положение; но, тем не менее, они чувствуют тяжесть, лежащую на них, они не потеряли способности ощущать свою боль. Если они безмолвно и неподвижно переносят ее, так это потому, что каждый крик, каждый вздох, среди этого смрадного омута, захватывает им горло, отдается колючею болью в груди, каждое движение тела, обремененного цепями, грозит им увеличением тяжести и мучительного неудобства их положения. И неоткуда ждать им отрады, негде искать облегчения: над ними буйно и безотчетно властвует бессмысленное *самодурство*... Только его дикие, безобразные крики нарушают эту мрачную тишину и производят пугливую суматоху на этом печальном кладбище человеческой мысли и воли» [1].

[1] Том IV, стр. 89.

Разбирая пьесу за пьесой, Добролюбов определяет различные виды самодурства; он отыскивает больших и малых самодуров; он собирает черты самодурства, определяет их корни и указывает их печальные последствия. Каждым своим указанием он говорит: смотрите, как ужасна наша жизнь! Так жить нельзя, если мы не хотим окончательно потерять человеческий облик. Он с глубокой скорбью резюмирует свой анализ комедий: «Ведь это ужасно — мы остаемся в неразрешимой дилемме: или умереть с голоду, броситься в пруд, сойти с ума, — или же убить в себе мысль и волю, потерять всякое нравственное достоинство и сделаться раболепным исполнителем чужой воли, взяточником, мошенником для того, чтобы безмятежно провести жизнь свою». Каждая строчка Добролюбова гневно и страстно кричит: эта жизнь должна быть разрушена. В переводе на политический язык это значит: «долой самодержавно-крепостнический строй». Картина настолько жутка, что всякий мыслящий и честный человек неизбежно приходит к выводу: лучше умереть, чем жить такой беспросветной, безнадежной жизнью; а если умереть, то не лучше ли умереть в борьбе за новую, светлую, радостную жизнь?

Добролюбову, однако, важно не только вскрыть сущность самодержавно-крепостнического строя, но и показать, насколько возможна борьба с ним, есть ли для этого силы, достаточны ли они и т. д. И он приходит к выводу: победа будет, но она еще далеко.

О, подожди еще, желанная, святая,
Помедли приходить в наш боязливый круг,
Теперь на твой призыв ответит тишь немая,
И лучшие друзья не приподымут рук.

Под «желанной», как известно, Добролюбов разумел революцию.

Островский не указал выхода из «темного царства». Добролюбов не винит его за это. В чем же выход? Где его искать? Критик не раз обращается к просвещению, к знанию, к нравственности, но материалистические элементы его философии заставляют заявлять: «Выход надо искать в самой жизни: литература только воспроизводит жизнь и не дает того, чего нет в действительности». Он предлагает оглянуться вокруг себя и «обратить свои требования к самой жизни, так вяло и однообразно плетущейся вокруг нас». И тут же указывает,что «попытки освобождения от тьмы бывают в жизни». В переводе на политический язык мысль критика должна быть представлена в таком виде: драматург не нашел выхода из современной мрачной действительности, не указал его. Сами ищите его в самой жизни; такие попытки, т. е. революции, были в истории.

Особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что силы, которые могли бы вывести народ из «смрадной темницы», из «гнилого болота», с «печального кладбища», спасти от гибели в «омуте», Добролюбов ищет не в привилегированном обществе, не в высших классах, а в самом народе, в самой «угнетенной партии». Критик подчеркивает глубокую мысль: как бы борьба ни была сложна и трудна, как бы она ни затягивалась, народ не может полагаться на чужие классовые силы, он должен искать эти силы внутри себя. Критик верит, что рано или поздно угнетенные победят.

Задача поставлена революционно, правильно. Добролюбов проявил высшее понимание политического момента. Никто из его противников до этого тогда не поднимался.

Отыскивая революционные силы, Добролюбов прежде всего со злой насмешкой отзывается о либералах. Он считает их людьми честными в этом подлом мире, но они могут быть страшны только для некоторых барышень. Во всяком случае, для практических деятелей они никак не опасны.

Добролюбов заставляет всматриваться в жизнь, всматриваться в героев «темного царства». Они ведь живые люди! Островский не указал выхода, но он помог осмотреться в «темном царстве» и показал в отдельных своих героях человеческие черты и некоторую силу. И вот критик начинает ходить по «печальному кладбищу» русской действительности и характеризовать узников.

«Не мертвецы же все эти жалкие люди, не в темных же могилах родились и живут они... Черный осадок недовольства, бессильной злобы, тупого ожесточения начинает шевелиться на дне мрачного омута, хочет всплыть на поверхность взволнованной бездны и своим мутным наплывом делает ее еще безобразнее и ужаснее. Нет простора и свободы для живой мысли, для задушевного слова, для благородного дела; тяжкий самодурный запрет наложен на громкую, открытую, широкую деятельность. Но пока жив человек, в нем нельзя уничтожить стремления жить, т. е. проявлять себя каким бы то ни было образом во внешних действиях. Чем более стремление это стесняется, тем его проявления бывают уродливее; но совсем *не быть* они не могут, пока человек не совсем замер. И такова сила самодурства в этом темном царстве... что много людей действительно замирает в нем, теряет и смысл и волю, и даже силу серьезного чувства — все, что составляет разумную жизнь, — и в идиотском бессилии прозябает, только совершая отправления животной жизни. Но есть и живучие натуры; те глубоко внутри себя собирают яд своего недовольства, чтобы при случае выпустить его, а между тем неслышно ползут, подобно змее, съеживаются, извиваются и перевертываются ужом и жабою... Они безмолвны, неслышны, незаметны, они знают, что всякое быстрое

и размашистое движение отзовется нестерпимой болью на их закованном теле; они понимают, что, рванувшись из своих желез, они не выбегут из тюрьмы, а только вырвут куски мяса из своего тела. И вот они принимаются за работу, глухую и тихую: изгибаясь, вертясь и сжимаясь, они пробуют все возможные маневры— нельзя ли втихомолку высвободить руки, чтобы потом распилить свои цепи. Начинают воровское, урывчатое движение, с оглядкою, чтобы кто-нибудь не подметил его; начинается обман и подлость, притворство и зложелательство, ожесточение на все окружающее и забота только о себе, о достижении личного спокойствия. Тут нет злобно обдуманных планов, нет сознательной решимости на систематическую подземную борьбу, нет даже особенной хитрости; тут просто невольное, вынужденное внешними обстоятельствами, вовсе не обдуманное и ни с чем хорошенько не соображенное, проявление чувства самосохранения... Нечего винить этих людей, хотя и не мешает остерегаться их: они сами не ведают, что творят. Под страхом нагоняя и потасовки, рабски воспитанные, с беспрестанным опасением остаться без куска хлеба, рабски живущие, они все силы свои напрягают на приобретение одной из главных рабских добродетелей — бессовестной хитрости. И чего же им совеститься, какую правду, какие права уважать им? Ведь самодурство властвует над ними, давит и убивает их совершенно бесправно, бессмысленно, бессовестно! Они могут вас надувать, обкрадывать, подводить под нож, и при всем этом оставаться искренно радушными и любезными с вами, сохранять невозмутимое добросердечие и множество истинно добродетельных качеств... Ведь у них самих отняли все, что они имели, *свою волю и свою мысль;* как же им рассуждать о том, что честно и что бесчестно? Как не захотеть надуть другого для своей личной выгоды?... Ничего святого, ничего чистого, ничего правого в этом темном мире: господствующее над ним самодурство, дикое, безумное, неправое, прогнало у него всякое сознание чести и права... И не может быть их там, где повержено в прах и нагло растоптано самодурами человеческое достоинство, свобода личности, вера в любовь и счастье и святыня честного труда.

А между тем тут же, рядом, только за стеною, идет другая жизнь, светлая, опрятная, образованная... Обе стороны темного царства чувствуют превосходство этой жизни и то пугаются ее, то привлекаются к ней. Но основы этой жизни, ее внутренняя сила совершенно непонятны для жалких людей, отвыкших от всякой разумности и правды в своих житейских отношениях. Только самые грубые и внешние, бьющие в глаза, проявления этой образованности понятны для них, только на них нападают, если вздумают *не взлюбить* образованность, и только *им подражают,* ежели увлекутся страстью жить *по-благородному*... И так через всю жизнь са-

модуров, через страдальческое существование *безответных* проходит эта борьба с волною новой жизни, которая зальет когда-нибудь всю издавна накопленную грязь и превратит топкое болото в светлую и величавую реку, но которая теперь еще только вздымает эту грязь и сама в нее всасывается и вместе с ней гниет и смердит... Теперь новые начала жизни только еще тревожат сознание всех обитателей темного царства, вроде далекого привидения или кошмара» [1].

Таково «нравственное растление» людей в тех «бессовестно-неестественных людских отношениях», которые нашел Добролюбов в комедиях Островского. Полный произвол — с одной стороны, полное рабство, материальное и моральное — с другой.

В описании «темного царства» все на месте. Весь стиль описания вызван политической установкой. От самодурства Большовых, Торцовых, Брусковых, Уланбековых и других, «не признающих никаких разумных прав и требований», от «грустно-покорных» лиц Мити, бедной невесты — Марьи Андреевны, опозоренной Авдотьи Максимовны, от несчастных Даши и Маши Добролюбов переходит к самодурству самодержавно-крепостнического порядка, к стону и плачу угнетенных. Лирическая картина «темного царства» — страстная, жуткая прокламация, в которой образы «смрадной тюрьмы» и «печального кладбища» сменяются острыми политическими формулировками о бесправии, беззаконии, свободе слова и т. д.

Страшно «темное царство» и забит в нем народ, и все же критик нашел, разглядел в жизни отдельные черты характера, которые нужны для людей, идущих в борьбу за освобождение народа-узника.

★

Добролюбов много уделяет внимания Любови Гордеевне из комедии «Бедность не порок». Он показывает, что тяжесть и невыносимость положения заставили и это покорное, смиренное, слабое существо выступить против воли самодура отца. Гордей Карпыч кричит: «Жена! ты меня знаешь: у меня сказано — сделано». Жена скорбно замолкает, чуя гибель своей дочери. Она не может и не смеет возразить. В дочери же просыпается чувство самосохранения, своеобразный протест, она осмеливается перечить отцу: «Тятенька! я приказа твоего не смею ослушаться... Тятенька, не захоти ты моего несчастья на всю мою жизнь! Передумай, тятенька! Что хочешь заставь, только не принуждай ты меня против сердца замуж итти за немилого». В условиях «темного царства» это уже протест, не тот протест, который сломит самодурство Гордея Карпыча, но все же протест, поскольку дочь заявляет

[1] Том IV, стр. 90—94.

о своих желаниях, не соглашается беспрекословно с волей отца, подчиняется ему как силе, которая ведет к гибели и разумность которой она открыто не признает.

Из истории русской интеллигенции мы знаем аналогичные, не менее показательные факты. Известно, например, что Н. А. Серно-Соловьевич, работая в Главном комитете по крестьянским делам, подал Александру II докладную записку о крестьянской реформе, в которой резко писал о положении в стране. Царь велел «расцеловать смелого откровенного автора», а Третье отделение арестовало его в ту же ночь и отправило в крепость.

В таких условиях самодержавного строя всякое несогласие с властью, всякое заявление о своей воле — несомненный протест, хотя и не ведущий к каким-либо результатам, кроме разве гибели выступившего со своим словом.

В Мите тоже загорается стихийная жажда иной жизни. «Эх, дайте душе простор — разгуляться хочет! По крайности, коли придется и в ответ итти, так уж зато буду знать, что потешился», говорит он. Но и это слабый порыв, безрезультатный.

Бóльшую нравственную силу критик видит в Дуне. «Это уже не та безразличная доброта, которою отличается дочь Русакова, не та овечья кротость, которую видим в Любови Гордеевне, не те *опытные* понятия, какими руководится Надя... Здесь сила сознательной решимости проглядывает в каждом слове; все существо этой девушки не придавлено и не убито; напротив, оно возвышено, просветлено сознанием того добра, которое она приносит, отказываясь от своих прав на Беневоленского» [1].

Еще бóльшую нравственную силу Добролюбов видит в Любиме Торцове. В прошлом Любим «грязен, пьян, тяжел», но он осознал свое беспутство, устыдился его, ищет работы, чтобы на старости лет пожить честно.

Самую высшую силу Добролюбов нашел в Катерине. Катерина не победила «темного царства», но она и не примирилась с ним. Она сломилась, но не согнулась под тяжестью законов этого царства. Она ушла из жизни, но не приняла ее такой, как она есть. Бросившись в Волгу, она победила морально, не найдя нужных сил для борьбы. Да и сил одного человека тут совершенно недостаточно. О Катерине, однако, речь впереди.

Ни комедии Островского, ни сама жизнь не открывали Добролюбову возможности дать образ освободителя народа. Зато он указал, и это имеет громадное политическое значение, что силы для освобождения народа надо искать в самой жизни, в самом народе, и что народ победит.

Свое внимание Добролюбов направляет на другую сторону

---

[1] Том IV стр. 244.

проблемы. Подчеркивая, что герои Островского обыденны, что «ничем особенным» они не выдаются из своей пошлой среды, что они не злодеи, а самые обычные будничные лица, критик усиливает жуткую картину русской действительности. Если бы это были одиночные злодеи, с ними справиться было бы сравнительно легко, но если вся жизнь сплошное злодейство, то неизбежно встает вопрос о полной, коренной перестройке жизни, встает вопрос о революции. Добролюбов его ставит, но в силу политических условий осторожно, между строк, и все же достаточно ясно, если вдумчиво вникать в смысл его статей, его иносказаний. В данной статье проблему революции Добролюбов ставит не столько в плоскости отыскания нужных революционных сил, что он делает в других статьях, сколько в характеристике основ «темного царства», которые революция должна начисто смести.

Сильно «темное царство»; все лежит на «печальном кладбище», все под тяжелым сапогом самодержавия. Но все же и в этом порядке, и наверху, и всюду, есть слабые пункты. Критик убеждает, что «темное царство» не только должно быть разрушено, но оно может быть и будет разрушено, несмотря на все трудности.

Самодур все задушил, все задавил; он требует: все подражайте мне. Закон его ясен и прост: «Мое детище, — хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю». «Как же не бывать, коли я захочу?» говорит Большов Подхалюзину, соединяя насильно руки жениха и невесты. Но Большов «самодурствует и кажется страшен» только потому, что он не встречает себе никакого отпора. В конкретном анализе комедий Добролюбов различает «несколько степеней угнетения», дает даже «систему в распределении самодурства», доказывая одновременно, что самодурство — «признак бесхарактерности», «внутреннего бессилия и холопства». Самодур «не только крайне ограничен в своих понятиях, но еще труслив и слабодушен». Он «дурит, ломается, артачится», «требует, приказывает», но «в нем есть всегда неопределенный, смутный страх за свои права». Он «запугивает», скрывая свое ничтожество. Самодур инстинктивно чувствует, что положение его непрочно, что «угнетенная партия» подрывает его благополучие. На протяжении статьи Добролюбов не раз указывает, что «темное царство» будет разрушено. Да и заканчивается статья словами: «В самом деле, слабо должно быть самодурство, если уж и Жадова стали бояться! Ведь это хороший признак!» Перенося самодурство Гордея Карпыча на барина в отношениях к лакею, на начальника в отношениях к его подчиненным, словом, на весь существующий порядок, Добролюбов намечает и первые шаги борьбы. Он убеждает, что человек должен иметь свое мнение, должен его высказывать и отстаивать.

Когда это объединит силы против самодурства, тогда оно падет. Критик рассуждает так: «Первая ваша попытка заикнуться

о вашем мнении будет предупреждена возвышением голоса самодура; но вы все-таки возражайте. Возражение ваше встречено будет бранью или выговором, более или менее неприличным, смотря по важности и по привычке лица, к которому вы обращаетесь. Но вы не смущайтесь: возвышайте свой голос наравне с голосом самодура, усиливайте ваши выражения соразмерно с его речью, принимайте более или менее решительный тон, смотря по степени его раздражения. Если разговор прекратился, возобновляйте его на другой и третий день, не возвращаясь назад, а начиная с того, на чем вы остановились вчера, — будьте уверены, что ваше дело будет выиграно. Самодур возненавидит вас, но еще более испугается... Бороться с человеком, который смело и неотступно пристает к вам, — это тоже работа немалая» [1].

С какого же пункта должно начаться решительное, систематическое и упорное наступление на «темное царство»? В своей характеристике «темного царства» Добролюбов указал, что внутри его стоит проблема «старших и младших, богатых и бедных, своевольных и безответных», т. е. в жизни идет борьба двух общественных групп — эксплоататоров и эксплоатируемых. Это — «искусственные» отношения. Они ненормальны и держатся на имущественном праве в обществе и на внедряемом командующими группами ложном чувстве о безусловной покорности закону. И то и другое должно быть разрушено, как основа «темного царства». Разрушь этот фундамент, восстановятся «естественные» отношения между людьми, исчезнут все пороки «темного царства». Сейчас существует только закон самодура, «все в военном положении». Отсюда все зло. Все имеющиеся преступления — не свойство человеческой натуры, а следствие ненормальных человеческих отношений. Раз будет разрешен имущественный вопрос, раз человек в средствах существования не будет зависеть от другого человека, он будет вступать с ним в договор в общественной жизни на равных правах и основаниях; никто не сможет встать в положение эксплоататора или эксплоатируемого. Тогда не будет оснований, не будет у человека соответствующей психики, чтобы беспрекословно повиноваться нелепым существующим законам, созданным самодурами, самодержавно-крепостническим строем. Господ и рабов не будет. Все будут равны. Словом, раз будет разрешен имущественный вопрос — основа всей общественной жизни, то падут и все уродливые последствия, вытекающие из принципов частной собственности. Добролюбов много раз доказывал, теоретически и на конкретном анализе комедий, что зло, процветающее в «темном царстве», лежит не в натуре людей, а в условиях жизни; зло — не причина, а следствие. Как последова-

[1] Том IV, стр. 181.

тельный демократ, социалист, революционер, как материалист-фейербахианец, Добролюбов глубоко верно рассмотрел устои «темного царства» и совершенно правильно наметил программу революционной борьбы. Проблему свержения самодержавия и уничтожения крепостного хозяйства он не разменял на ряд мелких, может быть, и серьезных, но все же второстепенных вопросов.

Он ясно и решительно ставил вопрос о революции и ставил вопрос не только о буржуазной революции, но и о социалистическом переустройстве жизни, поскольку считал для полной победы над «темным царством» необходимым уничтожить частную собственность. Конечно, Добролюбов не отвергал борьбы и частного порядка, борьбы с беззаконием, глумлением, мошенничеством и другими язвами самодержавно-крепостнического строя, но не в борьбе с ними он видел разрешение задачи, поэтому он так и ненавидел либералов, которые пытались подновлять и чинить старый режим, не затрагивая основ общественного устройства — собственности. В этом величайшее политическое значение данной статьи, в этом ее величайшая революционная сила. Добролюбов стоит во весь свой рост, он выше всех на целую голову; он не только поднялся над либералами, он заглянул, насколько позволяли экономические условия русской действительности, далеко вперед. Страстно и убежденно он звал туда все молодое, сильное, прогрессивное.

Самодур прекрасно понимает, что в имущественных отношениях его сила. Из-за имущественных отношений он ведет со всеми войну, держась принципа: «Если я тебя не разобью, так ты меня разобьешь; так лучше же я тебя разобью». Но чтобы обеспечить свою победу, самодур охраняет и так называемую законность, потому что эта законность всегда на его стороне, всегда охраняет его интересы, а не интересы им угнетенных.

Подрывая принцип частной собственности, Добролюбов одновременно подрывает учение о божественном происхождении власти, подрывает авторитет закона, как какого-то выражения абсолютных норм человеческих отношений, направленных к общему благу человечества. Добролюбов начинает с того, что доказывает, что «законы имеют условное значение по отношению к нам», «они и сами по себе не вечны и не абсолютны». Они должны служить на благо общества, и в силу этого чувство законности не может мириться с «застоем и неподвижностью в общественной организации; мысли и воле дается простор и работа; нарушение формального status quo нередко требуется тем же чувством законности». В «темном царстве», наоборот, «все идет машинально, раз навсегда заведенным порядком»; чувство законности выражается в послушании и терпении. В «темном царстве» рассуждают так: «Хоть я, быть может, сердце свое надорвала через это, да по крайности

я знаю, что я по *закону живу*, и никто мне в глаза насмеяться не смеет». Закон — не моральное правило в интересах всего общества, а какой-то внешний долг части общества по отношению к другой части общества — слабых по отношению к сильным. «Закон, — формулирует критик, — есть не что иное, как воля самодура, и все должны ей подчиняться, а он не должен стесняться ничем»... Каково жить людям под таким законом?! Между тем, «в естественный договор с обществом входит, по самой его сущности, и обязательство стараться об изыскании возможно лучших законов. С точки зрения общего, естественного человеческого права каждому члену общества вверяется забота о постоянном совершенствовании существующих постановлений и об уничтожении тех, которые стали вредны или не нужны. Нужно только, чтоб изменение в постановлениях, как клонящееся к общему благу, подвергалось общему суду и получило общее согласие»[1]. Такой взгляд на закон явно не соответствует самодержавно-крепостническому строю. Как этот взгляд ни суживай, он требует минимально парламентского строя, где законы принимались бы общим голосованием депутатов.

Добролюбов разрушает ложное чувство законности, которое существующий порядок использует в своих классовых интересах, и снова зовет к разрушению его. Свои революционные выводы Добролюбов подкрепляет ссылкой, что они «не плод какой-нибудь теории, заранее придуманной», «но сами собой сказались в его (Островского. — *В. П.)* произведениях и сказались убедительно».

Так Добролюбов разрушает основные принципы современного ему общества: собственность и законность.

Каково же новое общество? Добролюбов не дает прямого ответа на этот вопрос, но ответ его ясен, напрашивается сам собой. Раз принцип частной собственности уничтожен, раз закон существует в интересах всего общества, а не отдельных командующих классов, — это социалистическое общество. Оно будет полной противоположностью «темному царству». «Гнилое болото» уступит место «светлой реке». Если эту будущую жизнь представить в деталях, то в ней не будут и не могут процветать нравы «темного царства». Притворство, лицемерие, мошенничество, скрытое и явное, обман, хитрость, лесть, недоверие, испуг, раболепство, наглость, произвол, овечья кротость, кроткая жалоба, смиренная мольба, нерешительность, тупая покорность судьбе и т. п. пышно распустились на почве собственности и законности, на почве эксплоатации человека человеком. В будущем социалистическом обществе люди будут братья, товарищи. Все отврати-

[1] Том IV, стр. 199.

тельные черты, сопровождающие институт частной собственности, исчезнут, поскольку исчезнет почва, которой они питались.

★

Общий вывод: в своем разборе комедий Островского Добролюбов показал, что драматург, рисуя быт купечества и чиновников, дал картину русской действительности, картину самодержавно-крепостнической России. Эта Россия — «темное царство», застенок, темница, полная ужасов и страданий. Эта Россия должна быть разрушена. Чтобы разрушить ее, надо пробудить в угнетенных массах чувство сознания своих «естественных» прав и разрушить основу этой жизни — частную собственность, а ложное чувство законности перевоспитать в революционное сознание общности интересов, общности норм человеческих отношений. Разрушительную силу критик ищет не в привилегированных классах, не среди либералов, а в самой массе угнетенных, обездоленных. За них он ратует, ими восхищается, их зовет на борьбу за новую, светлую жизнь. В них он верит и на них надеется. «Темное царство» будет разрушено ими.

II

Роман Гончарова «*Обломов*» дал Добролюбову богатейший, прекраснейший материал для постановки другой основной политической проблемы — об отношении к либералам. Статью «Что такое обломовщина?» критик начинает опять с теоретических рассуждений. Цель та же, что и в статьях об Островском.

Гончарова считали талантом спокойным, объективным и проникновенным, талантом, который широко, глубоко и как бы вне всякой групповой борьбы и заинтересованности, со стороны, дает полную и правдивую картину жизни. Конечно, это не так, но художник с такой характеристикой был очень удобен для критика, потому что противники его не могли бросить ему упрека, что для обоснования своих революционных призывов критик выбрал писателя своего образа мыслей, писатели необъективного, который смотрит на жизнь через те же теории, что и критик.

Страстный, резкий, прямой, не знающий компромисса, Добролюбов одновременно обладал большим педагогическим тактом. Гончаров всеми считался писателем сугубо объективным, и все же свою статью критик начинает с анализа таланта Гончарова, доказывая его объективность, чтобы убедительнее звучали его политические выводы, его страстные призывы к борьбе с либерализмом. Добролюбов, как и при разборе произведений Островского, долго останавливается на том, насколько Гончаров спокойно и объективно дает картину поразившего его явления, насколь-

ко «объективное творчество его не смущается никакими теоретическими предубеждениями и заданными идеями, не поддается никаким исключительным симпатиям. Оно спокойно, трезво, бесстрастно».

Укрепляя свою позицию, критик убеждает читателя, что огромная сила таланта Гончарова заключается в «уменьи охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его». Критик показывает, что писатель, взяв явление, проследил его развитие, установил его социальные связи, нашел причины, его породившие, и выявил типичное, характерное для данного времени. Гончаров «не поражается одной стороною предмета, одним моментом события, а вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления, и тогда уже приступает к их художественной переработке». «Во всем, что касалось Обломова, не было для него вещей пустых и ничтожных. Всем занялся он с любовью, все очертил подробно и отчетливо». Мелькнувший перед ним образ он возвел в тип, придав ему «родовое и постоянное значение».

Наконец, Добролюбов ставит вопрос о художественности произведения. По его мнению, успех писателя заключается «сколько непосредственно в силе художественного таланта автора», то есть в уменьи дать интересный материал, яркие образы, сильные по своим краскам и другим средствам словесной изобразительности, «столько же и в необыкновенном содержании романа». Он находит роман глубоко содержательным, написанным с нужным чувством и пониманием. Своим искренним восхищением от романа критик гипнотизирует читателя, внушая ему, что, читая роман, «вы совершенно переноситесь в тот мир, в который ведет вас автор: вы находите в нем что-то родное, перед вами открывается не только внешняя форма, но и самая внутренность, душа каждого лица, каждого предмета. И после прочтения всего романа вы чувствуете, что в сфере вашей мысли прибавилось что-то новое, что к вам в душу запали новые образы, новые типы. Они вас долго преследуют, вам хочется думать над ними, хочется выяснить их значение и отношение к вашей собственной жизни, характеру, наклонностям».

К конкретному анализу романа Добролюбов приступает только тогда, когда ему кажется, что читатель уже убежден в полноте, глубине и жизненности изображения, данного художником, что читатель верит в большой объективный талант писателя, настолько захватывающий, что «вы готовы снова перечитывать многие страницы», думать над ними, страдать.

Намерения, которые скрываются за теоретическими рассуждениями, критик не открывает читателю, наоборот, пишет так, как будто никаких ближайших целей у него и нет. Намерения же его сводятся к тому, чтобы читатель целиком поверил писателю, полностью положился на его талантливость. Критик же только по-

могает читателю выяснить отношение героев романа к жизни, обнажая неизбежные политические выводы.

Теоретические экскурсы Добролюбова не случайны; они органичны, они необходимы, как первый акт психологического воздействия на читателя. Их служебная роль значительна.

В романе объективного и талантливого писателя «сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это — *обломовщина*». Полагаясь на объективность писателя, читатель, естественно, заинтересовывается новым явлением, хочет осмыслить его, хочет понять его социальное содержание и значение. На помощь идет критика. «Критика обязана изложить общие результаты, выводимые из произведений» писателя. К этому Добролюбов и приступает после своего теоретического введения.

Прежде всего он указывает, что новое слово — обломовщина — «служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени» [1].

Спокойно, но настойчиво и убедительно Добролюбов приводит читателя к мысли, что «Обломов» — знамение времени, что надо понять его сущность и значение в жизни. Критика, таким образом, сразу приобретает явно политический характер, хотя и выраженный в терминах не политических, а литературных.

★

Каковы же политические цели этой критики?

Прежде всего Добролюбов дает характеристику Обломову и обломовщине. Обломовщине свойственны апатия, инертность, капризы, бесхарактерность и заносчивость, полная бездеятельность, жизнь на-авось и стремление переложить дело на других. Обломов «не привык делать что-нибудь, следовательно, не может хорошенько определить, что он может сделать и чего нет, — следовательно, не может и серьезно, *деятельно* захотеть чего-нибудь... Его желания являются только в форме: «а хорошо бы, если бы вот это сделать», но как это может сделаться, он не знает». Идеал жизни Обломова — в сытом существовании, крепком сне, удобном халате, в спокойствии. Внутренний смысл такого прозябания не интересует Обломова, равно как он не задумывается и над тем, «откуда будут браться эти оранжереи и парники, кто их

[1] Том IV, стр. 11.

станет поддерживать и с какой стати будет он ими пользоваться». Вопросы права, законности перед ним не встают. А если бы и встали, он не усомнился бы в непреклонности существующего порядка. Вопросы же высшей правды, справедливости человеческих отношений ему были совсем чужды и непонятны. В Обломове есть силы, порою даже большие силы, но у него нет возможности проявить их. Он умеет молчать, желать, иногда даже как будто браться за дело, но сделать дела он не может, не способен.

Обломов — барин и одновременно раб своего положения. Чем больше у него Захарок, тем смелее может он «поддавать в зубы» и меньше встречать препятствий своим крепостническим стремлениям. Одновременно он раб этих Захарок, их нравственный раб. Критик резонно ставит вопрос: «Трудно решить, который из них более подчиняется власти другого». Несомненно, Обломовых породило крепостное хозяйство; оно обусловило и развитие их. Не будь Захарок, не было бы и Обломовых.

Таков непривлекательный и даже отвратительный портрет Обломова. Этот образ, запечатлеваясь ярко в сознании читателя, вызывает соответствующую реакцию — презрение к нему и брезгливое сожаление. Чтобы это эмоциональное состояние закрепить в сознании, перевести в убеждение, критик обращается к истории, экономике нашего феодального хозяйства. С величайшей настойчивостью, со всей силой своей логики Добролюбов приводит читателя к основному революционному выводу: если мы не хотим, чтобы обломовщина, как плесень, разъедала общественный организм, необходимо уничтожить крепостное хозяйство. Захарки родят Обломовых.

Но все же не в этом центр тяжести статьи. Как политик, Добролюбов убеждает читателя, что обломовщина явление не случайное, а органическое, явление большое, серьезное, опасное. Критик вспоминает Онегина, Тентетникова, Бельтова, Рудина, Лежнева и путем общественно-политического анализа поведения этих героев и породивших их условий показывает, что все эти люди одного исторического процесса, одной исторической формации. Критик рассматривает, как складывалась и протекала жизнь этих героев, каково их отношение к людям, к женщине, к труду, к службе, и приходит к твердому выводу, что все они в своей сущности одинаковы, несмотря на личную разницу. Онегин — зародыш, Обломов — завершение. Разница между этими людьми только в общественном возрасте. Глубокий старец не равен себе в молодости и в зрелом возрасте. Теперь он развалина, а тогда был герой, полный сил и энергии. В этом смысле Обломов не Онегин, не Рудин. Обломов — мразь, лежебок, не герой. А ведь Онегин и Рудин в свое время были герои общества, они увлекали его; общество восхищалось ими, видело в них своих передовых людей.

Сейчас же очевидна их социальная однородность. Обломов только яснее в своей сущности, откровеннее в своих поступках, он завершеннее. «То, что было тогда в зародыше, что выражалось только в неясном полуслове, произнесенном шопотом, то приняло уже теперь определенную и твердую форму, высказалось открыто и громко. Фраза потеряла свое значение; явилась в самом обществе потребность настоящего дела» [1]. «Прежде с любовью, с благоговением слушали фразеров, толкующих о необходимости того или другого, о высших стремлениях и т. п... Но теперь всякого фразера и прожектера встречают требованием: «А не угодно ли попробовать?» Попробовать обломовцы не могут. Это свыше их сил. Все это Добролюбов ведет к тому, чтобы показать, как прежние герои общества становятся ненужными, бесполезными фразерами и болтунами, не способными ни на какое дело, ходом истории перерождающимися в Обломова. Словом, становятся «лишними людьми». За всеми этими литературными характеристиками и рассуждениями скрывается основная политическая мысль критика.

Строя генеалогическую линию Онегин — Обломов, Добролюбов доказывает, что в этих представителях общества были силы, но они не сумели их проявить. У всех у них «одна общая черта — бесплодное стремление к деятельности, сознание, что из них многое могло бы выйти, но не выйдет ничего». Так думали Печорин, Рудин, так же думает и Обломов; он «болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно пора бы этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором». Добролюбов убеждает читателя, что любимые им герои не могут разрешить общественной задачи, они даже не знают, как к ней подойти. Поскольку же эти герои были выражением свободолюбивых, либеральных настроений и чаяний, критик показывает, что либерализм — пустоцвет, что самой историей он обречен на вырождение, на смерть, что с ним решительно надо порвать. Отрицание политической силы либерализма проходит красной нитью через всю статью. В этом ее основной смысл.

Проблема либерализма переплетается в статье тесно с проблемой «лишних людей». Либеральная критика сильно упрекала Добролюбова в том, что он слишком расширил круг «лишних людей», а через это прежде времени отстранил многие жизненные элементы общества от разрешения очередных социальных задач. Суждения критика суровы, бьют насмерть, особенно если принять во внимание, что тогда русское общество еще не в состоянии было поставить Онегина, Рудина, Печорина и других рядом с

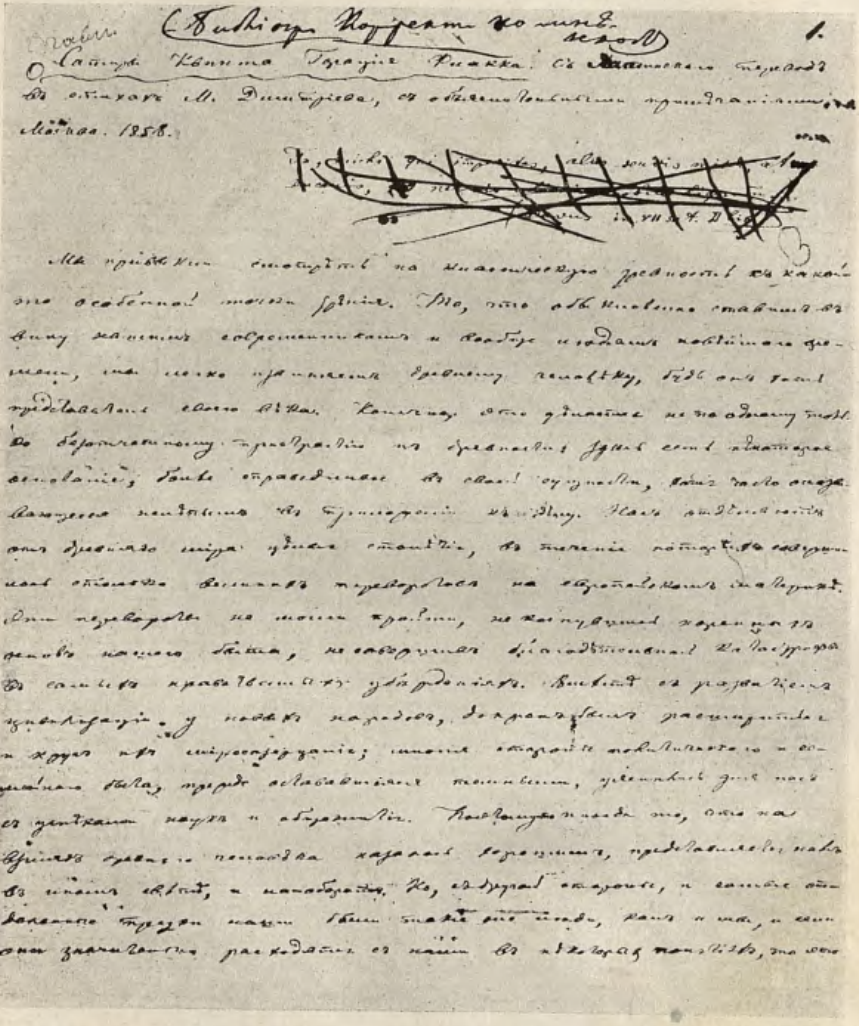
[1] Том IV, стр. 36.

Обломовым. Все же он своими историческими параллелями дал убедительную картину, как Онегины и Рудины исторически неизбежно превращаются в Обломовых. Эта принципиальная постановка политически глубоко верна и тактически неизбежна, в классовом отношении выдержана.

В революции 1905 года большевики постоянно предостерегали от мелкобуржуазных иллюзий, настойчиво подчеркивали, что руководящая роль в революции принадлежит пролетариату, что революция победит, если победа будет за рабочим классом. Большевизму не раз приходилось уже в те годы наносить удары меньшевистскому крылу русской социал-демократии, поскольку меньшевизм руководящую роль пролетариата передавал либеральной буржуазии, поскольку считал российскую революцию революцией чисто буржуазной, общенациональной. Меньшевики слишком много заботились о единстве «революционных» сил, так много, что т. Ленин уже тогда видел, что в дальнейшем историческом развитии меньшевизм придет к предательству рабочего класса, к социал-фашизму. Вскрывая его политическую сущность, он порывал с ним все организационные связи.

Все те, кто упрекал Добролюбова, что он слишком многих и слишком рано зачислил в разряд «лишних людей» и тем самым отодвинул их на задворки исторической борьбы, не понимают критика, не осмысливают его политической прозорливости, четкости и классовой выдержанности. Больше: они в политическом отношении стоят ниже его. Добролюбов не хотел поддерживать в обществе иллюзий насчет либерализма, насчет его руководящей, всеспасающей роли. В ясном классовом сознании, что либерализм в дальнейшей борьбе найдет контакт с существующим режимом, пойдет на компромисс и даже пойдет к нему на поклон и предаст интересы трудящихся, критик рвал с либерализмом и страстно, неустанно звал к этому разрыву все молодые революционные силы страны. Родословной Обломова Добролюбов убеждал, что силою Рудина, Лежнева и им подобных, силою либерализма нельзя разрешить очередной исторической задачи. Если раньше были основания полагаться на либерализм, то теперь, когда изменилась историческая обстановка, когда Рудины превратились в Обломовых, а народ сам берется за дело своего освобождения, вредные иллюзии насчет политической силы и активности либерализма должны быть похоронены.

Свою мысль критик художественно иллюстрирует сценой в лесу. Народ находится в дремучем неведомом лесу, в топких болотах; его жалят ядовитые змеи и гады. Это — картина русской общественной жизни: самодержавие, крепостничество, бюрократия загнали народ в эти опасные места. Люди, которые захотели вывести народ на поляну, забрались на дерево, чтобы с высоты разгля-



АВТОГРАФ ДОБРОЛЮБОВА. РЕЦЕНЗИЯ НА САТИРЫ ГОРАЦИЯ

деть дорогу, но дороги не высмотрели, да и не очень высматривали ее. Ничего конкретно-полезного для народа сделать они не могли, а, забравшись на дерево, сравнительно хорошо на нем устроились и даже стали поедать кое-какие плоды, бросая скорлупу вниз, народу, все еще страдающему в топком болоте. К ним, на дерево, кое-кто поднялся и из народа и тоже успокоился. Сначала стоящие в болоте верили в их деятельность, верили, что они определят дорогу и выведут на светлый путь, тем более, что сидящие на дереве красноречиво тех убеждали подождать. Это были либералы-идеалисты прошлых десятилетий. Они много, до скуки много, говорили о высоких идеалах, о благе народа, о путях к светлой жизни, но, забравшись на философские высоты, успокаивались на вершинах своего гуманизма, приспособляясь к существующим условиям и даже пользуясь ими в своих классовых интересах и всегда в ущерб интересам широких трудящихся масс. Когда же народ, изнывая в болоте, потерял терпение, потерял веру в своих избавителей, познал их беспомощность и неспособность и сам взялся за дело, сам начал прокладывать дорогу, вырубая лес, сидящие на дереве не только не спустились вниз, к народу, не только не отказались от своих бесплодных теорий, не только не взялись за дело вместе с народом, но в трусости за свое благополучие стали посылать народу проклятия. Сначала они спокойно смотрели на общее движение народа, но потом начали трусить: «Ай, ай, — не делайте этого, оставьте — кричали они, видя, что подсекается дерево, на котором они сидят. — Помилуйте, ведь мы можем убиться, и вместе с нами погибнут те прекрасные идеи, те высокие чувства, те гуманные стремления, то красноречие, тот пафос, любовь ко всему прекрасному и благородному, которые в нас всегда жили...»

В этой живописной, но жестокой картине Добролюбов показывает, что либералы не только бездельники, не только прячутся от дела за словом, но объективно они лгуны. Приспособляясь к существующему режиму, живя им, они боятся движения народа, крестьянской революции, оставляют народ, предают его, поскольку классовые интересы либералов и всех, которые шли за ними, шли вразрез с интересами народных масс, крестьянства.

Жуткая картина в лесу заставляла задумываться над вопросом: за кем итти? Кому верить? Кто может разрешить очередные общественные задачи? Ответ был один: только не либералы; все они по своему существу отвратительные Обломовы, только разного общественного возраста. Гончаров раскрыл тип своего героя; «Обломов является перед нами разоблаченный, как он есть, молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом. Вопрос: что

он делает? В чем смысл и цель его жизни? — поставлен прямо и ясно, не забит никакими побочными вопросами»[1].

Поставлен основной политический вопрос, и ответ на него дан определенно отрицательный. Кто же может вывести народ из неведомого леса и топких болот? Кто избавит его от гнета самодержавно-крепостнического строя? Только сам народ; только у него хватит сил и уменья. Для народа это — дело жизни; у либералов «нет дела, которое было бы для них жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически сраслось с ними, так что отнять его у них значило бы лишить их жизни». Этой формулой критик ставит вопрос о том, что классовые интересы дворян, помещиков-либералов резко расходятся с интересами народа. Что для народа является вопросом жизни, без чего он не может жить, за что он будет бороться насмерть, то для либералов — чужое дело, оно не совпадает с их классовыми интересами. Чувствуя себя борцами за интересы других, они больше предаются словам, чем делу, скорее идут на соглашение с существующим режимом, чем на решительную борьбу с ним.

Итти надо за народом и с народом. Вместе с народом надо от слов перейти к делу, вместе с народом надо искать в стране молодые, свежие, здоровые силы, способные на революционное дело.

Все аллегорические рассуждения Добролюбова о либерализме свидетельствуют о его глубокой политической прозорливости. Постановка принципиальная, революционная, единственно политически правильная.

Добролюбов был суров и беспощаден; резал, невзирая на лица. Это оскорбляло многие политические и литературные авторитеты, всяких болтунов о благе народа. И несомненно, по некоторым персонам удар пришелся сильнее, больнее, чем они может быть заслуживали, но ведь нужно было в корне, во что бы то ни стало дискредитировать русский либерализм, а в таком случае всякие оговорки и оговорочки только путали бы дело, смазывали, затушевывали бы действительную расстановку классовых сил. Всякие колебания и оговорочки были бы на пользу либералам, на пользу существующему порядку, в ущерб народу, революции. Твердость, решительность, последовательность, ясность прежде всего; этого требовали интересы крестьянской революции, этого требовала революционная демократия, претендовавшая на гегемонию в общественном движении. Она была бесспорно исторически права, когда расправлялась не только с правым либералом, дворянином И. С. Тургеневым, но и с либеральствующим социалистом Герценом, когда последний не только перестал понимать революционную демократию, но резко выступил печатно против нее в лице Черны-

[1] Том, IV, стр. 39.

шевского, Добролюбова и вообще круга «Современника». Последовательный революционер-демократ в тех условиях только так и мог ставить политическую задачу, как ставил ее Добролюбов. А то, что некоторые получили сверх положенного, в том виноваты они сами: нельзя болтаться между баррикадами. Становись сюда или туда.

Небесполезно привести некоторые исторические свидетельства о «лишних людях», особенно для тех, кто по-меньшевистски склонен ко всякого рода компромиссам, к притуплению классовой борьбы, к заключению политических блоков с классовыми противниками. Очень характерны показания Ап. Григорьева. Этот искренний человек до боли ненавидел круг «Современника». Он с гордостью писал о себе, что он «столь же далек от Аскоченского, сколько и от Добролюбова». Этот круг он называл саркастически теоретиками, тушинцами. О Добролюбове он мог в своем классовом ослеплении писать только так: «Ведь только подлец мог такою слюною бешеной собаки обливать родную мать, под именем обломовщины, и свалить все вины гражданской жизни на самодурство «темного царства». Он боялся, что эти тушинцы «огадят и опозорят названье либерала». И этот человек, ненавидевший Добролюбова, искренно размышлял:

«Великая минута дела (т. е. начало 60-х годов, 1857—1861 гг. *В. П.*) застала меня и множество других праздных людей совершенно врасплох...»

«Мы, люди энциклопедического образования и философских идей, нужны были для того, чтобы будить, шевелить, дразнить и тревожить спавшую теплым сном жизнь.

Дело наше покончено...

Жизнь просыпается: здоровая, простая, с силами, требующая деятельности, и в нас не нуждается: мы «упразднены»...

Не мы ли звали всеми помыслами нашими, всеми нашими стремлениями великую минуту? Ведь мы звали ее все, да? Не правда ли? Мы, мыслившие, страдавшие, вопившие, «выкликавшие голосами разными» люди! Ну вот, она и наступила — давно желанная, жарко званная, страстно желанная минута...

Но увы! Нам, столько о ней хлопотавшим, нам, юродивым крикунам во времена застоя, решительно *нечего* делать в минуту настоящего дела. Нам тревожить, шевелить нечего. Все само тревожится и шевелится, или, лучше, все — спокойно, сознательно просыпается к жизни.

Сознаете ли вы это, братья нам по духу, господа «ненужные» люди?.. Ежели не сознаете, то сознаете: одни раньше, другие позже...»

«Мало честных стремлений, господа и братья, надо, чтоб дело было честно.

А что мы можем делать?..»

«А мы никакого дела не знаем; мы умеем только выкликать «голосами разными», ненавидеть неправду и ждать рассвета!

Эх! филины мы, горькие филины»[1].

Ап. Григорьев свои позднейшие статьи подписывал псевдонимом: «Один из ненужных людей».

Исповедь яркая, сильная, искренняя. Она убедительна, особенно, если принять во внимание, что Ап. Григорьев, выражаясь современным языком, был классовый враг Добролюбова. Как ни горько, как ни печально было, но Григорьев вынужден был себя и других признать «лишними людьми». А ведь он был старше Добролюбова всего на 14 лет (Ап. Григорьев родился в 1822 г., а Добролюбов в 1836 г.). И нам ли упрекать Добролюбова в том, что он без всяких оснований расширил круг «лишних людей» и тем самым сузил круг борцов за интересы крестьянской революции? У Добролюбова «лишние люди» хотят, но не могут, у Щедрина они и не хотят и не могут. Добролюбов размежевался, чтобы крепче сплотиться и быть сильнее. Не понимать в этом пункте революционных позиций Добролюбова значит не понимать эпохи 60-х годов.

★

Разделавшись с либерализмом, показав его политическую беспомощность, Добролюбов переходит ко второй половине своей проблемы.

Недостаточно низвергнуть либерализм, надо найти и показать ту общественную силу, которая его заменит, и не только показать, но и доказать, что эта новая сила уже есть, что она складывается, оформляется и действительно сможет вывести народ из дремучего леса и топкого болота русского самодержавия, — задача более тяжелая и сложная, чем сокрушительная критика либерализма.

К этой стороне вопроса Добролюбов подходит очень осторожно и в данной статье намечает разрешение задачи лишь в самых общих чертах. Он снова возвращается к мысли, что Онегин стал Обломовым, Печорин — Обломов, Рудин — Обломов, помещик, чиновник, офицер, журналист, если они выражают «радость о том, что, наконец, сделано то, что мы давно надеялись и желали», — Обломовы. Вопрос об освободителях народа, о движущих силах грядущей крестьянской революции критик разбирает как основной вопрос в других своих статьях.

---

[1] *Ап. Григорьев*, Воспоминания, «Academia», 1930, «Безвыходное положение», стр. 322, 325, 335.

Обломову, который не в силах свои мечты превратить в дело, Добролюбов противопоставляет Штольца и Ольгу. Прежде всего это люди дела, и в этом отношении они полная противоположность всякого рода Обломовым. От Ольги «можно ожидать слова, которое сожжет и развеет обломовщину». Ее чувство и воля в полном согласии, у нее нет разрыва между словом и делом; ясность, простота, конкретность характеризуют ее мышление. «Эта простота и ясность мышления заключают в себе задатки новой жизни, не той, в условиях которой выросло современное общество». Ольга выше Мери, Натальи и многих других русских женщин, идеалисток и мечтательниц. Она оставила Обломова, сказав ему просто и кратко и, если хотите, даже деловито:

«Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья; ты нежен... как голубь; ты спрячешь голову под крыло — и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей... Да я не такая: мне мало этого, мне нужно что-то еще, а чего — не знаю!» [1].

Что хочет Ольга, Гончаров не раскрывает; своим художественным сознанием он понял, что новые люди — люди дела, но куда направлены их силы, стремления, какого дела они жаждут, он еще не осознал полностью и ясно. Не раскрывает этого и Добролюбов. Оставаясь в рамках романа, он на этот раз ограничивается противопоставлением ясности и простоты мышления Ольги туманно-гуманитарным рассуждениям либерализма. Ольга готова и отчасти уже идет на борьбу.

Стремлению Обломова к халату и покою критик противопоставляет энергию и предприимчивость Штольца. Все время имея в виду либералов, критик отмечает, что Штольцы есть в массах, но их еще нет в образованном обществе. Словом, Добролюбов заставляет сосредоточить внимание на людях дела, которые вместе с народом начали бы революционную борьбу с существующим порядком. Штольц, как и Ольга, недостаточно ясен в своих общественных устремлениях. Как развернутся его силы, чьи интересы он будет отстаивать, каково их классовое содержание, из романа и из критики не видно. Добролюбов противопоставляет Штольца людям слова как человека дела. Штольц вызывает в этом отношении симпатии читателя. Критик и автор романа призывают следовать за ним, а не за Обломовым. Позже, в статье «Светлый луч в темном царстве», появляется отрицательная характеристика Штольца. Он — «отлично управляющий имениями и умеющий живо уничтожать фальшивые векселя при помощи благодетельного

[1] Том IV, стр. 53.

начальства»[1]. В другом месте этой же статьи критик сближает со Штольцем Подхалюзина и Чичикова. «Самое лучшее, о чем можно мечтать для этих практиков, — это уподобление Штольцу, то есть уменье обделывать кругленько свои делишки без подлости, но общественного, живого деятеля из них не явится»[2].

Добролюбов характеризует Штольца как человека, который «не дорос еще до идеала общественного русского деятеля». Вообще Штольц еще не понятен. Но критик не обвиняет за эту неопределенность ни героя, ни романиста, он поясняет: рано еще появиться настоящему герою. Добролюбов удивляется, «как мог Штольц в своей деятельности успокоиться от всех стремлений и потребностей, которые одолевали даже Обломова, «как мог он удовлетвориться своим положением, успокоиться на своем одиноком, отдельном, исключительном счастье... Не надо забывать, что под ним болото, что вблизи находится старая Обломовка, что нужно еще расчищать лес, чтобы выйти на большую дорогу и убежать от обломовщины. Делал ли что-нибудь для этого Штольц, что именно делал и как делал, — мы не знаем. А без этого мы не можем удовлетвориться его личностью»... Добролюбов высказывает «только то, что он не тот человек, который «сумеет, на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово «вперед»[3].

Ставя перед собой вопрос, как «определятся новые стремления в отдельной личности», каков будет ее характер, как совершится разрыв со «старыми, нелепыми и насильственными отношениями», он приходит к выводу, что «в действительной жизни пробуждающегося общества мы видели лишь намеки на решение наших вопросов, в литературе — слабое повторение этих намеков». Большую определенность черт новой личности, как увидим дальше, Добролюбов находит в Катерине.

Из романа, однако, видно, что Ольга выше Штольца. Он хочет спокойствия, у него нет желания борьбы с «мятежными вопросами», а Ольга жаждет борьбы, тихое счастье ее не устраивает. Ольга способна разглядеть обломовщину, в каком бы виде она ни проявилась в жизни. Потому критик и заканчивает свою статью указанием, что Ольга оставила Обломова, оставит и Штольца, «ежели вопросы и сомнения не перестанут мучить ее, а он (Штольц. — *В. П.*) будет продолжать ей советы,—принять их, как новую стихию жизни, и склонить голову». Это своего рода предупреждение революционным силам, чтобы они пристальнее всматривались в людей дела, чтобы боролись в них с остатками обло-

---

[1] Том IV, стр. 317.
[2] Там же, стр. 50.
[3] Там же, стр. 320.

мовщины, а в случае нужды рвали с ними без всякого сожаления.

Добролюбов много раз повторял, что «литература не может забегать слишком далеко вперед жизни». Это сказал он и в данной статье, подчеркнув, что Гончаров не мог дать более определенных и четких фигур, чем Ольга и Штольц. Эти фигуры в русской жизни определились позже.

Упрекает критик романиста в другом, в том, что он отпевает, хоронит обломовщину русской жизни. Добролюбов считает это преждевременным, повторяет, что обломовщина еще жива и сильна. Всякие разговоры о смерти обломовщины он считает вредной иллюзией, отвлекающей людей от борьбы с «лишними людьми», расслабляющей их волю и тем самым дезорганизующей борьбу народа «с насильственными условиями» жизни. Как дальновидный политик, критик на всем протяжении статьи держит читателя в напряжении, все время убеждает его, что борьба с Обломовыми, либералами, за людей типа Штольца и Ольги, должна вестись со всей решительностью и непримиримостью. Если обломовщина уже изжила себя, Добролюбов должен был бы признать роман Гончарова запоздалым явлением, не имеющим активного общественного значения, а ведь он считал его «знаменем времени». Да и зачем звать к борьбе с тем, что умерло?

Романист не мог наделить своих героев чертами революционной демократии 60-х годов, он показал их как людей дела, противопоставив людям обломовского склада, да и то взяв под сомнение Штольца. Критик развернул художественную картину и перевел ее на общественно-политический язык. Он во всем согласился с писателем, за исключением смерти обломовщины. Значительную долю ее Ольга нашла и в Штольце. Своим анализом критик дал покуда общий ответ, но основной, коренной ответ: либералы в данной исторической обстановке, в силу своей классовой природы, не могут разрешить очередной общественной задачи; нужны другие, новые силы. С либералами должна вестись ожесточенная борьба.

Откуда и как придут эти молодые силы, какова их общественная сущность и программа, Добролюбов показывает в других своих статьях.

III

В «Темном царстве» критик, давая анализ самодурства, выясняя его корни, его влияния, его последствия, поднялся до величайшего социального обобщения, дав «темное царство» как символ самодержавно-крепостнического строя. В статье «*Луч света в темном царстве*» критик широчайшим образом показывает, какие жизненные условия вызвали характер Катерины, как этот ха-

рактер складывался; критик доказывает, что этот характер сильный, героический, новый; он может сломиться, погибнуть, но не подчиниться; он в своей борьбе не остановится ни перед чем. Особенно важно то, что критик вскрыл, как в образе Катерины собраны воедино отдельные черты характера людей из «угнетенной партии», черты глубоко жизненные и необходимые в борьбе.

Добролюбов не раз пытался классифицировать литературных героев с точки зрения их общественной роли и значения. Говоря о либералах, о лишних людях, он построил ряд: Онегин, Тентетников, Печорин, Бельтов, Лежнев, Рудин, Обломов, указав, что разница между этими людьми в социальном возрасте, но не в их общественной сущности. Отыскивая и характеризуя людей дела, людей нового времени, которые сумели бы вывести народ из топких, ржавых болот самодержавия и крепостничества, он строит второй ряд: Штольц, Ольга, Елена, Катерина, Инсаров. О социальных основах первого ряда мы уже говорили. В основу второго ряда Добролюбов положил следующее основное соображение: герои этого ряда в своей деятельности руководятся не отвлеченными принципами, не мгновенным пафосом, а своею *натурою*, всем существом своим. В цельности их характера — их сила, особенно, если учесть, что старые, дикие отношения расшатываются, внутренняя связь их исчезает, теряется, и держатся они преимущественно механическою связью.

Говоря об отвлеченных принципах и пафосе, критик, конечно, имел в виду героев первого ряда. Он клеймит их, издевается над ними при всякой возможности. Касаясь характера Тихона, безвольного, забитого, но утешающего себя, что «он тоже мужчина», Добролюбов вставляет ряд злых фраз: «Нынче еще можно встретить множество Тихонов, если не вином, то какими-нибудь рассуждениями и спичами отводящих душу в шуме словесных оргий... Ясно, что от подобных людей и замашек никогда не могло и не может ничего выйти». Под множеством Тихонов Добролюбов имеет в виду все тех же героев первого ряда, все тех же либералов, о которых он так красочно писал при разборе романа Гончарова.

Обрекая на социальную смерть героев первого ряда, видя торжество людей второго ряда, Добролюбов объясняет: «Русская жизнь дошла, наконец, до того, что добродетельные и почтенные, но слабые и безразличные существа не удовлетворяют общественного сознания и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность в людях, хотя бы и менее прекрасных, но более деятельных и энергичных. Иначе и невозможно: как скоро сознание правды и права, здравый смысл проснулись в людях, они непременно требуют не только отвлеченного с ними согласия, ко-

торым так блистали всегда добродетельные герои прежнего времени, но и внесения их в жизнь и деятельность.

Но, чтобы внести их в жизнь, надо побороть много препятствий, доставляемых Дикими, Кабановыми и т. п.; для преодоления нужны характеры предприимчивые, решительные, настойчивые. Нужно, чтобы в них воплотилось, с ними слилось то общее требование правды и права, которое, наконец, прорывается в людях сквозь все преграды, доставляемые Дикими-самодурами»[1].

Второй ряд как раз и состоит из людей дела, из людей «натуры», «цельности и гармонии характера». Однако второй ряд не имеет той цельности и стройности, как первый ряд. Люди дела, эти грядущие герои жизни, ее строители, только еще носят в себе какую-либо одну черту, нужную для людей нового поколения. «В жизни есть отдельные черты характера, необходимого для борьбы, но не было еще героев, которые могли бы служить представителями того общественного движения, которое чувствуется уже теперь»[2]. Добролюбов не обвиняет своих героев, но объясняет, что жизнь еще не пришла в такое состояние, когда явятся цельные, сильные личности. Героев второго ряда он рассматривает как попытку художников-писателей создать наиболее цельный характер людей дела и борьбы. Сам он ими не удовлетворен. О Штольце он бросает резкое замечание, что из этого дельца не может выйти общественного деятеля. Ему ясно также, что ни Ольга, ни Елена, не являются теми героями, которые могли бы с полным успехом защищать интересы «угнетенной партии», да и она не может на них положиться целиком, с полным доверием. Елена, выйдя из дворянской среды и не зная нужд народа, не сумела найти себе живого дела в России, а связала свою судьбу с иностранцем и погибла за границей. Довольно иронически критик отзывается и об Инсарове. Это человек, «бросающий немца в воду, не соглашающийся жить даром в гостях на даче у приятеля и даже решающийся жениться на любимой девушке!!»[3]. Ирония сквозит в каждом слове. И только Катерина имеет цельный характер, «которым совершится решительный разрыв с старыми, нелепыми отношениями жизни», тот характер, который нужен для серьезной, решительной революционной борьбы. Конечно, Добролюбов понимает, что Катерина не завершение революционного характера, а только основа, но это нисколько не мешает ему заявить, что «Гроза» «есть именно художественное соединение однородных черт, проявляющихся в разных положениях русской жизни, но служащих выражением од-

---

[1] Том IV, стр. 316.
[2] Там же, стр. 321.
[3] Там же, стр. 317.

ной цели». В показе этой целеустремленности велика заслуга Островского, громадно общественное значение «Грозы»; этой целеустремленностью и близка Добролюбову, революционеру, демократу и социалисту, Катерина.

Добролюбов восторгается Катериной не только потому, что она цельный характер, какого еще не было в литературе, но еще и потому, что этот характер выделила сама «угнетенная партия». Катерина — революционная сила, идущая с низов, из среды угнетенных и замученных. Катерина первая решительно протестует против упрямого самодурства. Показывая, как жизнь создает и выдвигает характеры типа Катерины, критик убеждал читателя, что будущее народа в его собственных руках, что он должен полагаться на свои классовые силы, а не на силы других классов, разговаривающих о благе народа. Этим он поворачивал общественные симпатии от людей сороковых годов, от либералов, к людям нового поколения, к разночинцам-демократам.

Нанося удар за ударом прошлым руководителям борьбы за интересы народа, Добролюбов чувствует силу Катерины.

«Катерина может быть уподоблена большой, многоводной реке: она течет, как требует ее природное свойство; характер ее течения изменяется сообразно с местностью, через которую она проходит, но течение не останавливается; ровное дно, хорошее — она течет спокойно; камни большие встретились — льется каскадом; запружают ее — она бушует и прорывается в другом месте. Не потому бурлит она, чтобы воде вдруг захотелось пошуметь или рассердиться на препятствия, а просто потому, что это ей необходимо для выполнения ее естественных требований. — для дальнейшего течения... Мы знаем, что он (характер Катерины. — *В. П.)* выдержит себя, несмотря ни на какие препятствия, а когда сил не хватит, то погибнет, но не изменит себе. Высокие ораторы правды, претендующие на «отречение от себя для великой идеи», весьма часто оканчивают тем, что отступают от своего служения, говоря, что борьба со злом еще слишком безнадежна, что она повела бы только к напрасной гибели и пр. Они справедливы, и нельзя их упрекать в малодушии; но, во всяком случае, нельзя не видеть в этом, что «идея», которой они хотят служить, составляет для них что-то внешнее, без чего они могут обойтись, что они умеют хорошо отделить от своих личных прямых потребностей. Ясно, что как бы ни был велик их азарт в пользу идеи, он всегда будет гораздо слабее и ниже того простого, инстинктивного, неотразимого влечения, которое управляет поступками личностей, вроде Катерины, даже и не думающих ни о каких высоких «идеях» [1].

[1] Том IV, стр. 342.

Катерина выше не только героев первого ряда, так политически скомпрометированных критиком. Она занимает первое место и во втором ряду. Правда, как увидим ниже, Добролюбов, несмотря на отмеченную нами иронию, очень высоко ставит Инсарова, но Инсаров не русский, он иностранец, он болгарин; русская жизнь скоро выдвинет своих Инсаровых, но пока она их еще не выдвинула. Русские Инсаровы — это те же Катерины, но имеющие бо́льший социальный возраст, бо́льший опыт, бо́льшие знания. Это люди одной классовой группы, люди народа. Они, как Катерина, пойдут на все, пойдут на смерть. Им чужды соглашательство и компромисс с существующим положением дел, они не только говорят о благе народа, но борются за народ, за свою жизнь без всяких красивых, гуманных фраз о благе народа и самопожертвовании.

Итак, дело народа должно быть делом самого народа, а не привилегированных классов общества. Катерина — первый сильный героический представитель народа в борьбе за его классовые интересы. Добролюбов прекрасно понял, что Островский сумел «создать такое лицо, которое служит представителем великой народной идеи, не нося великих идей ни на языке, ни в голове, самоотверженно идет до конца в неравной борьбе и гибнет, вовсе не обрекая себя на высокое самопожертвование. Ее (Катерины. — *В. П.)* поступки находятся в гармонии с натурой, они для нее естественны, необходимы, она не может от них отказаться, хотя бы это имело самые печальные последствия» [1].

★

Чтобы придать бо́льшую убедительность характеристике таланта Островского, характеру Катерины и своим революционным выводам, Добролюбов начинает доказывать жизненную неизбежность и необходимость людей типа Катерины, как действительных борцов за народное дело. Свою аргументацию критик начинает издалека, убеждая, что Катерина неизбежна, как явление, историей вызванное, историей обусловленное.

Сначала критик указывает, что писатели всех народов преданы главным образом «искусственным» интересам, интересам эксплоатирующих классов; интересы «естественные», интересы народа им чужды и непонятны. В жизни однако «естественные стремления» начинают о себе заявлять. Отражение этого появляется и в художественной литературе. Поэтому задача критики состоит в том, чтобы «определить, стоит ли автор в уровень с теми естественными стремлениями, которые уже пробудились в народе или должны скоро пробудиться по требованию современного порядка

[1] Том IV, стр. 341.

дел; затем — в какой мере он умел их понять и выразить и взял ли он существо дела, корень его, или только внешность, обнял ли общность предмета или только некоторые его стороны». Естественные же стремления критик, как известно, сводит к краткой формуле: «чтобы всем было хорошо». Заслугу Островского критик видит в том, что он в своих комедиях «очень полно и многосторонне умел изобразить существенные стороны и требования русской жизни». Островский во всех житейских мелочах показал «темное царство», русскую действительность, самодержавно-крепостнический строй; он же показал и подтачивающие его, внутри его развивающиеся противоречия; показал, как сам отмирающий строй вызвал к жизни характер Катерины и как этот характер развился и окреп. Добролюбов доказывает, что жизнь, изображенная Островским, «заключает в себе задачи более разумного, законного, правильного порядка дел... Стремление к новому, более естественному устройству отношений заключает в себе сущность всего, что мы называем прогрессом, составляет задачу нашего развития, поглощает всю работу новых поколений»[1]. Правда, у Островского не всегда это резко выступает на первый план, не всегда видно сразу, но оно «всегда находилось в корне его произведений».

Добролюбов был материалист-фейербахианец; свойственно ему было и диалектическое мышление. Естественно, что он особенно подчеркивает в творчестве драматурга тот момент, что, разрешая историческую задачу, Островский подходил к ней не только с нравственной стороны, но всегда анализировал и освещал «житейскую, экономическую сторону вопроса, а в этом-то и сущность дела». Все это важно было для критика потому, что этой стороной творчества Островского он убеждал, что образ Катерины создан не в силу отвлеченно-нравственных требований автора, а автор нашел его в действительности, в повседневной жизни.

Критик ценит, что драматург, раскрывая «будничную обстановку», показывает, что самодурство есть продукт жизни и времени, что оно исторически неизбежно. Еще больше он ценит то, что драматург показывает исторически неизбежную его гибель, и то, что содержание жизни всецело определяет содержание и характер борьбы, ее силу, характеры борющихся сил. Поскольку «толстая мошна» дает силу самодурству, а «безответственность людей перед ним определяется материальною от него зависимостью», поскольку все это превращает жизнь в «сырую темницу», постольку и борьба должна начаться с борьбы за средства существования и свободу и должна вестись, не останавливаясь ни перед чем, иначе борьба будет безуспешной. Все эти соображения придают ув-

[1] Том IV, стр. 291.

лекающему образу Катерины глубокий жизненный характер не только в основном направлении, но и во всех частных проявлениях. Одновременно критик подчеркивает, что все, кому дороги «естественные стремления» народа, должны итти, как и Катерина, до самого конца, без всяких компромиссов с существующим режимом, не останавливаясь перед смертью, ибо этой смерти завидуют оставшиеся в живых, ибо эта смерть зовет и вдохновляет на дальнейшую революционную борьбу. Катерина не может существовать, не осуществив своих стремлений полностью, у нее нет почвы для соглашения с существующим режимом, нет почвы ни идеологической, ни моральной, ни материальной. Для нее и для всех идущих с ней проблема стоит так: или жизнь, или смерть, — середины нет.

Очень много Добролюбов останавливается на тех моментах в комедиях Островского, где драматург показывает, как само по себе начинает разлагаться, изживать себя «темное царство». Как художник, Островский не вводит экономических выкладок, но он показывает, как вся экономика отражается на быту и как она, поддерживая его, в то же время вызывает к жизни силы, смертельно враждебные ему. Самодержавно-крепостнический строй смутно предчувствуют свою гибель. Вскрывая силу и слабость властителей «темного царства», Добролюбов пишет про них: «Но — чудное дело! В своем непререкаемом, безответственном темном владычестве, давая полную свободу своим прихотям, ставя ни во что всякие законы и логику, самодуры русской жизни начинают, однако же, ощущать какое-то недовольство и страх, сами не зная — перед чем и почему. Все, кажется, попрежнему, все хорошо: Дикой ругает, кого хочет; когда ему говорят: «Как это на тебя никто в целом доме угодить не может!», он самодовольно отвечает: «Вот поди ж ты!». Кабанова держит попрежнему в страхе своих детей, заставляет невестку соблюдать все этикеты старины, ест ее как ржа железо, считает себя вполне непогрешимой и ублажается разными Феклушами. А все как-то неспокойно, нехорошо им. Помимо них, не спросясь их, выросла другая жизнь, с другими началами и хоть далеко она, еще и не видна хорошенько, но уже дает себя предчувствовать и посылает нехорошие видения темному произволу самодуров. Они ожесточенно ищут своего врага, готовы напуститься на самого невинного, на какого-нибудь Кулигина; но нет ни врага, ни виновного, которого могли бы они уничтожить; закон времени, закон природы и истории берет свое, и тяжело дышат старые Кабановы, чувствуя, что есть сила выше их, которой они одолеть не могут, к которой даже и подступить не знают как. Они не хотят уступать (да никто покамест и не требует от них уступок), но съеживаются, сокращаются, прежде они хотели утвердить свою систему жизни, навеки нерушимую, и теперь то же стара-

ются проповедывать; но уже надежда изменяет им, и они в сущности хлопочут только о том, как бы на их век стало».

«Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старых порядков, с которыми она век изжила. Она предвидит конец их, старается поддержать их значение, но уже чувствует, что нет к ним прежнего почтения, что их сохраняют уже неохотно, только поневоле, и что при первой возможности их бросят. Она уже и сама как-то потеряла часть своего рыцарского жанра: уже не с прежней энергией заботится она о соблюдении старых обычаев, во многих случаях она уже махнула рукой, поникла пред невозможностью остановить поток и только с отчаянием смотрит, как он затопляет мало-по-малу пестрые цветники ее прихотливых суеверий».

«Для самой Кабанихи и для той старины, которую она защищает, гораздо выгоднее было бы отказаться от некоторых пустых форм и сделать уступки, чтобы удержать сущность дела. Но порода Кабановых не понимает этого: они не дошли даже до того, чтобы представлять или защищать какой-либо принцип вне себя, — они сами принцип, и потому все, касающееся их, они признают абсолютно важным» [1].

Кабаниха «в этом случае гораздо ниже того сорта людей, которых принято называть просвещенными консерваторами. Те расширяли несколько свой эгоизм, слившись с ним требование порядка общего, так что для сохранения порядка способны даже жертвовать некоторыми личными вкусами и выгодами».

В переводе на политический язык это означает, что старый режим начинает чувствовать свою шаткость; держаться на крепостном хозяйстве он не может. Представители его заботятся уже не о том, чтобы сохранить этот порядок навеки вечные, а чтобы дожить свой век при нем, но и настолько у них уже нет сил. Крымская кампания воочию убедила всех, что старый режим сгнил, что нужны серьезные перемены. Однако представители и защитники существующего строя не понимают даже своих интересов: консервативны они настолько, что не идут ни на какие уступки; они не могут стать даже на точку зрения просвещенного абсолютизма, на позицию частных уступок, чтобы сохранить целое.

Этой неумной упрямой силе старой жизни Островский противопоставил Катерину. Она — носитель начал новой жизни. Она — сила; ее можно убить, но не подчинить; она сломится, но не согнется.

Показав, как колеблется старый мир, как подгнивают его основы, как он неизбежно идет к своей гибели, Добролюбов одновре-

[1] Том IV, стр. 305, 306, 309.

менно показывает, как возник, как развивается, растет, оформляется, крепнет характер Катерины. Он противопоставляет два мира: мир старый, отмирающий, и мир новый, поднимающийся. Один мир — командующий, но уже с подорванной верой в свое могущество; другой мир — еще загнанный, но уже крепко растущий, с верой в свою конечную победу. Критик по цензурным условиям не сделал политических выводов, но они напрашиваются сами собой при вдумчивом чтении критической статьи. Свой революционный вывод он подсказывал, когда писал, что на нас веет новой жизнью даже в самой гибели Катерины. Эта сила колеблет старый мир, и всякие «добродетельные и почтенные, но слабые и безразличные существа» уступают ей.

★

Самое интересное в статье Добролюбова то, что он в деталях анализирует историю характера Катерины. Доказав, что жизнь выдвигает новых героев, более сильных, чем давали сороковые годы, что эти герои выходят из «партии угнетенных», что они сильны, несмотря на то, что борьба приводит их к Волге, Добролюбов шаг за шагов прослеживает жизнь Катерины и показывает, как складывается ее характер.

Катерина не получила никакого образования, она не знает и не понимает, что делается на белом свете. Девочкой, живя на свободе, у матери, среди богомолок и странниц, она не отличала мир действительный от своей мечты. Мир же «она строила себе иной, без страстей, без нужды, без горя, мир, посвященный добру исключительно. Но что это за мир, в конкретности она не представляла. Когда она подросла, когда ею представляемый мир разошелся с действительностью, у нее родилось неудовлетворение. Слабая натура могла подпасть под власть давящей жизни и безропотно покориться ей; Катерина оказалась не такой: родившееся неудовлетворение вызвало у ней протест против действительности. Когда она вышла замуж, то пробует найти утешение в религии, но не находит; не находит она удовлетворения и в «неопределенных воображениях блаженства, которыми она наслаждалась раньше». Она возмужала, в ней проснулись другие желания, более реальные. Без любви она вышла замуж за Тихона, но это не по слабости характера; Катерине покуда все равно, и у нее нет достаточного опыта, чтобы учесть все последствия этого шага. «Но когда она поймет, что ей нужно, и захочет чего-нибудь достигнуть, то добьется своего, во что бы то ни стало: тут-то и проявится вполне сила ее характера, не растраченная в мелочных выходках. Сначала по врожденной доброте и благородству души своей, она будет делать всевозможные усилия, чтобы не нарушать мира и прав других, чтобы получить желаемое с возможно

большим соблюдением всех требований, какие на нее налагаются людьми, чем-нибудь связанными с ней; и если они сумеют воспользоваться этим первоначальным настроением и решатся дать ей новое удовлетворение, — хорошо тогда и ей, и им. Но если нет, — она ни перед чем не остановится, — закон, рабство, обычай, людской суд, правила благоразумия — все исчезает для нее перед силою внутреннего влечения, она не щадит себя и не думает о других» [1].

Старый мир, мир Кабановых, не сумел использовать врожденной доброты Катерины, не сделал ей уступок, и она пошла против всех, «вооруженная единственно силою своего чувства, инстинктивным сознанием своего прямого, неотъемлемого права на жизнь, счастье и любовь». Теоретически Катерина не могла отвергнуть мир Кабановых, но нутром она его не приняла. Тяжел мир Кабановых, мрачно все кругом. Катерина еще одиночка и новичок в борьбе. Нужно было много сил, моральных и умственных, чтобы дойти до отрицания «темного царства» и признания настоящей жизнью жизнь на совершенно новых началах. Еще более сил нужно было, чтобы заявить о своем разрыве со старой жизнью и начать борьбу за новую жизнь. «Страшна и тяжела для каждого новичка попытка итти наперекор требованиям и убеждениям этой темной массы, ужасной в своей наивности и искренности. Ведь она проклянет нас, будет бегать, как зачумленных — не по злобе, не по расчетам, а по глубокому убеждению в том, что мы сродни антихристу; хорошо еще, если только полоумным сочтет и будет подсмеиваться» [2].

«Вольный воздух и свет, вопреки всем предосторожностям погибающего самодурства, врываются в келью Катерины, она чувствует возможность удовлетворить естественной жажде своей души и не может долее оставаться неподвижною: она рвется к новой жизни, хотя бы пришлось умереть в этом порыве. Что ей смерть? Все равно — она не считает жизнью то прозябание, которое выпало ей на долю в семье Кабановых» [3].

Таков характер Катерины в своем развитии. Он поражает своей органичностью, целостностью. В нем нет ничего случайного, наносного, взятого из книжек. Все обусловлено самой жизнью, будничной обстановкой, все обусловлено самой натурой Катерины. «Натура заменяет здесь и соображения рассудка, и требования чувства и воображения; все это сливается в общем чувстве организма, требующего себе воздуха, пищи, свободы».

Вот эта-то основа характера Катерины, замечает критик, «на-

---

[1] Том IV, стр. 333.
[2] Там же, стр. 301.
[3] Там же, стр. 327.

дежнее всех возможных теорий и пафосов, потому что она лежит в самой сущности данного положения, влечет человека к делу неотразимо, не зависит от той или другой способности или впечатления в частности, а опирается на всей сложности требований организма, на выработке всей натуры человека» [1].

Этими своими рассуждениями Добролюбов настойчиво доказывает, что в жизнь идет новый герой, более сильный, могучий и активный, не останавливающийся даже перед смертью. Герой этот идет из низов, из народа, из угнетенной партии, идет неизбежно, в силу исторического развития, на смену всем предшествующим героям из привилегированных и образованных слоев общества. Самоотверженный характер новых героев не случаен, не составлен на основании логических и нравственных побуждений, а его выдвигает сама жизнь, и чем дальше, тем характер этот будет крепнуть и оформляться, да и характеров этих будет больше; настолько много, что старый мир не будет уже в состоянии им сопротивляться и падет покоренный и разбитый.

Во всех этих политических выводах одновременно скрывается глубоко обоснованный призыв к борьбе с существующим режимом. Критик доказывает, что сама история — за эту борьбу, что она на стороне восстающих, что, как бы борьба ни была мучительна, как бы много жертв она ни потребовала, победа восставших неизбежна. Не очень уж много надо воображения, чтобы представить, как подобная критика волновала сердца революционной молодежи, как она звала ее к смертельной схватке с самодержавием. И мы знаем, что молодежь понимала призывы Добролюбова и шла за ним.

Катерина погибла в Волге. В этом некоторые склонны видеть слабость характера. Им хотелось видеть Катерину победительницей, торжествующей, с красным знаменем в руках. Чтобы к Катерине не предъявляли требований, исторически непосильных, чтобы читатель видел, что Катерина ничего более не могла сделать в условиях тогдашней действительности, а эта действительность, несмотря на свое загнивание, была еще достаточно крепка, чтобы выдержать серьезный напор, Добролюбов хвалит Островского не только за его талант на основе жизненных, будничных явлений показать, что «характер Катерины составляет шаг вперед» во всей нашей литературе, но в сильной степени и за умение художественно убедить, что «история, разыгравшаяся с Катериной, решительно зависит от того положения, какое неизбежно выпадает на долю ее между этими лицами, в том быте, который установился под их влиянием». Иначе на данной стадии общественного развития и не могло быть: Катерина не могла свергнуть цар-

[1] Том IV, стр. 363.

ства самодуров, так как не было налицо всех нужных предпосылок. Она только начинала его решительно и настойчиво расшатывать.

Революция 1905 г. потерпела поражение. Пролетариат и революционное крестьянство еще не в силах были сломить самодержавие. Тем не менее, революция 1905 г. нанесла самодержавию решительный удар, настолько решительный, что через десяток лет не только самодержавие пало окончательно, но распались и силы, поддерживавшие капиталистический республиканский мир, созданный февралем, а революция в своем наступательном движении закончилась диктатурой пролетариата. Жертвы революции 1905 г. не оплакивались нами, как символ гибели революции; наоборот, все клялись перед могилами погибших, что оставшиеся в живых пойдут их дорогой и закончат начатое ими революционное дело. Все повторяли, что погибли они не даром. Аналогичные соображения заставили Добролюбова написать, что «Гроза» производит впечатление менее тяжелое и грустное, нежели другие пьесы Островского. В других пьесах царствует непрерывный гнет и произвол, там «гнилое болото» поглощает все живое, там — темница, в которой медленная, но неизбежная смерть. Здесь трагическая смерть, борьба; здесь развертывается гроза над «темным царством». Буря не вырвала старого, гнилого, но почву поколебала. Всякий чувствует, что с гибелью Катерины гроза не кончается, гром ударит с новой силой, придут новые Катерины, более сильные и в большем количестве. Вот они-то и сломят мир Кабанихи. Это сознание и делает пьесу менее тяжелой и заставляет чувствовать что-то освежающее и бодрящее в самой гибели Катерины. Недаром Некрасов писал про революционеров: «Есть времена, есть целые века, в которых нет ничего желанней, прекрасней тернового венца».

Могут указать, что Добролюбов не имел никаких оснований переносить семейную, чисто личную трагедию Катерины на трагедию общественную. Этот вопрос в известной степени праздный, пустой вопрос. Давно уже установлено, что Островский — автор социальный. И если критик имел все основания изобразить «темное царство» как символ самодержавно-крепостнического государства, то не меньше основания у него было и к тому, чтобы от личной трагедии Катерины подняться в своем обобщении до социальной трагедии, увидев в Катерине новый тип борца и новую жертву устоев «темного царства». Это возражение критик предвидел и дал на него исчерпывающе убедительный ответ как теоретическими соображениями, так и всей своей литературно-критической деятельностью, положив в основу этой деятельности не эстетическую критику, а общественную, обращая внимание «на явления русской жизни», воспроизводимые в пьесах Островского, стараясь «установить их общий характер и допытаться, таков ли смысл этих явлений в действительности, каким он представляется

нам в произведении драматурга». Возможно, найдутся критики и публицисты, которые не примут этого взгляда критика, но тогда они вообще не примут Добролюбова, и с такими людьми у нас нет почвы для обсуждения вопроса.

Добролюбов, чтобы укрепить свои политические выводы, ставит вопрос о том, почему Островский в качестве главного героя взял женщину, а не мужчину. Этот вопрос имеет серьезное значение. Женщина была самое забитое, угнетенное, бессловесное существо. Женщина — существо самое слабое, беспомощное; о ней рассуждали: курица не птица, женщина не человек. И вот если такое угнетенное и слабое существо не выдерживает, поднимается на борьбу, значит, существующий режим абсолютно невыносим. Ясно «если уже женщина захочет высвободиться от подобного положения, то ее дело будет серьезно и решительно». Иначе и не может быть. Легкомысленная, непоследовательная борьба приведет только к дальнейшему беспросветному рабству и попранию всего человеческого. Серьезность и решительность борьбы требуют от женщины «много сил и характера», потому что ей сразу дадут почувствовать, и это она хорошо знает заранее, что «она ничто, что ее раздавить могут». И раз она на борьбу все же идет до конца, значит, она женщина героическая, готова ко всему. Так изображает дело Островский.

Добролюбов истолковал это так: старые борцы — обломовцы, — они уже беспомощны. Новые борцы идут из низов, из самой «угнетенной партии», причем они идут из самых забитых и самых угнетенных народных масс. Если эти массы, хотя бы и в лице одиночек, поднимают свой протест, значит, им больше нет возможности жить, значит, они пойдут в бой с самодержавно-крепостническим порядком. Пойдут в бой насмерть. Иного выхода им нет: жизнь или смерть. Мы думаем, что критик не случайно, не бессознательно употребляет термин «восстание». Катерина «хочет итти до конца в своем восстании против угнетения и произвола старших», пишет Добролюбов. Этой фразой он подчеркивает, что народ, забитый, задушенный, вынужден сам восстать против гнета господствующих классов и в своем восстании «итти до конца». Победит — будет торжественно строить новую жизнь; побежденный — будет готовиться к новым, не менее жарким схваткам. Вопрос стоит решительно: кто кого?

Выведена в пьесе женщина не случайно.

Островского далеко не все поняли во всем его социальном значении. Известно, что Писарев отрицательно отнесся к Катерине: какой она герой современности, герой «живого дела», когда она бросилась в Волгу и тем самым сбежала от борьбы!

Как последовательный просветитель, он писал: «Русская жизнь, в самых глубоких своих недрах, не заключает решитель-

но никаких задатков самостоятельного обновления; в ней лежат только сырые материалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны влиянием общечеловеческих идей». Насколько Писарев ниже Добролюбова в своих воззрениях, и философских и политических, известно хорошо. Эти взгляды и помешали понять ему революционный характер Катерины; это они продиктовали ему строки: «Катерина, совершив множество глупостей, бросается в воду и делает таким образом последнюю и величайшую нелепость» [1].

Совершенно не понял «Грозы» и Ап. Григорьев. Этот «лишний человек», как он любил называть себя, и совершенно справедливо, пытался обескровить творчество Островского, пытался убить в нем всякое не только революционное, но и просто оппозиционное содержание. Он писал: «Имя для этого писателя, для такого большого, несмотря на его недостатки, писателя — не сатирик, *а народный поэт.* (Подчеркнуто нами.— *В. П.)* Слово для разгадки его деятельности не «самодурство», а «народность». Только это слово может быть ключом к пониманию его произведений» [2].

Эти мысли, хотя и в смягченном виде и не с той прямолинейностью, которая свойственна была страстным натурам Писарева и Григорьева, повторяют, как это ни странно, до сих пор, и даже те критики и историки литературы, которые претендуют на звание марксистов. В данном случае они так же неправы, как и в вопросе о «лишних людях». И корень ошибки их прежний. Они не в состоянии материалистически и диалектически осмыслить характер Катерины; они значительно ниже Добролюбова в понимании «Грозы». Эти критики свой политический оппортунизм переносят и на толкование Добролюбова. Политически он для них далек в вопросе о «лишних людях» и в вопросе о Катерине. По существу, это один политический вопрос. Добролюбов не мог возражать своим противникам с политической точки зрения; он вынужден был отвечать им с литературно-теоретических позиций. Его критики продолжают исходить, как это ни странно и как бы они от этого ни отрекались, из положения, которое Добролюбов, как материалист, отверг и осмеял с первых строк своей статьи. Эти критики «прежде говорят себе: что *должно* содержаться в произведении (по их понятиям, разумеется) и в какой мере все *должное* действительно в нем находится (опять сообразно их понятию)».

Эту критику Добролюбов отрицает, хотя и не отвергает упрека противников, что его критика — это способ «на приискание нравственного вывода к басне»; он, однако, добавляет, что раз-

[1] *Д. И. Писарев.* Сочинения, т. III, стр. 306, 307. «Мотивы русской драмы».

[2] *Ап. Григорьев.* Сочинения, т. I, стр. 464. Изд. «Общ. польза», 1876. «После «Грозы» Островского».

ница «будет лишь настолько велика, насколько комедия отличается от басни и насколько человеческая жизнь, изображаемая в комедиях, для нас важнее и ближе ослов, лисиц, тростинок и прочих персонажей, изображаемых в баснях» [1].

Свои рассуждения Добролюбов последовательно выводит из материалистического тезиса. Он указывает, и за это хвалит Островского, что «не отвлеченные верования, а характерные факты управляют человеком, что не образ мыслей, не принципы, а натура нужна для образования и проявления крепкого характера». Вот это-то предпочтение живой действительности — верности силлогизма и придает суждениям Добролюбова бо́льшую диалектическую силу, чем суждениям его противника. Он сумел подойти к «Грозе» и материалистически, и диалектически, и как последовательный демократ, и как решительный революционер; он подошел к «Грозе» как реальный политик в лучшем смысле этого слова.

Для него герой — не абстракция; он отыскивает его в живых человеческих отношениях, в экономике и правовых отношениях общества. Этими сторонами общественной жизни определяется вся деятельность героя, ее широта, глубина, ее возможности, ее успехи и неудачи. В зависимости от развития и изменения действительности меняется характер героя и характер его деятельности. В этот материалистически-диалектический процесс и поставлена Катерина.

Критик жестоко бичевал так называемых людей сороковых годов за их книжное народолюбие. Катерина никаких книг, теорий не знает, у нее нет «великих идей» ни в голове, ни на языке; у нее все вытекает не из воображения, а из живой потребности, из «жизненной необходимости натуры». Она борется не в силу гуманных идей, не в силу морального долга перед народом, — ее борьба идет из «глубины всего организма». Катерина борется не за отвлеченное благо, а за реальное право, без которого она не может жить. Либерал борется до тех пор, пока борьба не затрагивает его классовых интересов. При своей классовой ограниченности и трусости он даже боится таких характеров, как Катерина, хотя и любит выставлять себя самоотверженным борцом за народное дело. Катерина борется самоотверженно, борется до конца, не вступая в конфликт со своей классовой природой; этого конфликта у нее нет; исход конфликта зависит исключительно от соотношения классовых сил. Но она, кажется, даже не думает о своей самоотверженности, о своем геройстве.

Вот этого-то живого, жизненного характера и не поняли противники Добролюбова, его современники и некоторые современ-

[1] Том IV, стр. 251.

ники наши. Самоубийство Катерины они истолковали как капитуляцию перед жизнью, перед классовым врагом, тогда как это был геройский выход из положения, когда человеку в его неравной и смертельной борьбе приходится выбирать: или покорная сдача на милость победителя, рабство и медленная смерть и тем самым укрепление существующего порядка, укрепление в нем уверенности в его жизненности и силах; — или смерть, хотя бы и от своей руки, но только не сдача врагу, и через это дезорганизация врага, ибо враг хотя избавляется от противника, но чувствует его силу; противник бьется, погибает, но не сдается. Друг народа, хотя и понимает, «что грустно, горько такое освобождение», но в этой смерти он черпает силы для дальнейшей борьбы. «Живые завидуют мертвым, да еще каким — самоубийцам».

★

В разборе комедий Островского Добролюбов показал, что русская действительность, самодержавно-крепостнический порядок — это строй самодурства, царство угнетения, эксплоатации человека человеком, и это царство должно быть разрушено в самом своем основании. Иного выхода нет.

Разбором романа Гончарова Добролюбов показал, что люди сороковых годов, борцы за народ из высших привилегированных классов, разбить «темное царство» в силу своего классового положения не в состоянии. Они больше говорят, чем делают, а когда делают, то трусят и кончают компромиссом, спасая себя и предавая интересы народа. Их идеал отвлеченен, не жизненен; реальной жизни они не знают. В «Грозе» Добролюбов показал, что действительные, настоящие борцы за интересы народа выходят из глубин самого народа. Эти характеры жизненны, последовательны, самоотверженны: они не смогут предать народ. Они идут на смену прежним краснобаям. Если сил у них не хватит, они не сдаются, а погибая, завещают живым вести дальнейшую борьбу.

IV

Для обоснования своих взглядов на возможность появления героев борьбы, героев, которые могли бы поднять крестьянскую революцию, Добролюбов взял повесть Тургенева «Накануне» и написал статью *«Когда же придет настоящий день?»*

Эту статью Добролюбов также начинает с анализа таланта писателя. Он указывает, что Тургенев не принадлежит к тем «титаническим талантам, которые единственно силою поэтического представления поражают, захватывают вас и влекут к сочувствию такому явлению или идее, которым мы вовсе не расположены сочувствовать. Не бурная, порывистая сила, а, напротив, мягкость

и какая-то поэтическая умеренность служат характеризующими чертами его таланта». Тургенев увлекает вопросами современности, вопросами, которые волнуют общество и которые он пытается разрешить.

Рассматривая литературное явление «как совершившийся факт, как жизненное явление, стоящее перед нами», критик не в первый раз напоминает, что степень таланта писателя измеряется тем, как широко захвачена им жизнь, «в какой мере прочны и многообразны те образы, которые им созданы». Добролюбов ценит в Тургеневе то, что в его творчестве отразились «все колебания общественной мысли», что, «если уже г. Тургенев тронул какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь новую сторону общественных отношений, — это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно поднимается или скоро поднимется в сознании образованного общества, что эта новая сторона жизни начинает выдаваться и скоро выкажется резко и ярко пред глазами всех» [1]. В этом широта, жизненность творчества Тургенева. Однако этих качеств для писателя недостаточно; важно еще и то, как, с какой классовой точки зрения, как глубоко писатель понимает общественное явление. В этом отношении критик сильно, резко, но справедливо ударяет по писателю, характеризуя его без всяких оговорок как «представителя и певца той морали и философии, которая господствовала в нашем образованном обществе в последнее десятилетие» [2]. А как критик относился к образованному обществу того времени, хорошо известно. Хваля Тургенева за его жизненность и широту, Добролюбов одновременно сразу подрывает авторитет писателя, указав, что все общественные проблемы он решает с точки зрения образованного общества, высших классов, а не исходя из взгляда самого народа.

Очень интересно суждение Добролюбова сопоставить с суждениями народовольцев. Во время похорон Тургенева в 1883 г. 27 сентября «Народная воля» выпустила нелегальную прокламацию, в которой пером П. Ф. Якубовича писала: «Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, «постепеновец» по убеждению, Тургенев, быть может, бессознательно для самого себя, своим чутким и любящим сердцем сочувствовал и даже служил самой революции» [3]. Как ни странно, «Народная воля» даже заявила, что ей безразлично, желал он революции или был «искренним постепеновцем». Этого вот человека в 1879 г., во время его празднества, звали стать во главе общественного движения, наивно полагая, что только один Тургенев «сумеет объединить все направ-

[1] Том IV, стр. 364.
[2] Том IV, стр. 363.
[3] «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников» «Academia», 1930, стр. 47.

ления и партии, сумеет оформить это движение, придать ему силу и прочность». Празднества были, как известно, в обстановке террористических актов; либералы намеревались использовать маститого писателя против революции, против «Народной воли», которая ошибочно возносила его и даже считала революционным за «сердечный смысл» произведений и якобы за любовь к революционной молодежи. И Тургенев было решился стать «руководителем политического движения в России». П. Лавров в своей статье «И. С. Тургенев и русское общество» пытался комментировать в пользу писателя даже речь С. И. Бардиной на «процессе 50» в 1877 г. Правда, Бардина считала «насильственную революцию при известных обстоятельствах неизбежным злом», но ее речь не совпадала никоим образом со взглядами писателя, а участники процесса совершенно не походили на героев «Нови». Бардина не была «постепеновцем», либералом старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформ *только свыше*, принципиальным противником революции, не говоря уже о безобразиях последнего времени» [1].

Это в свое время очень хорошо понял Н. Щедрин. Он писал о «Нови» П. В. Анненкову: «Что касается меня, то роман этот показался мне в высшей степени противным и неприятным... Что касается до так называемых «новых людей», то описание их таково, что хочется сказать автору: старый болтунище! Неужели седые волосы не могут обуздать твоего лганья? Перечтите паскудные сцены переодевания, сжигания письма, припомните, как Неждановъ берет подводу и вдруг начинает революцию, как идеальный Соломин говорит: «Делайте революцию, только не у меня во дворе». Продолжая свою мысль о Тургеневе, Салтыков в другом письме сообщил Анненкову:

«А у нас, между тем, политические процессы своим чередом идут. На-днях один кончился (вероятно, по газетам знаете) каторгами и поселениями, только трое оправданы, да и тех сейчас же спровадили с места рождения. Я на процессе не был, а говорят, были замечательные речи подсудимых, в особенности одного крестьянина Алексеева и акушерки Бардиной. Повидимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеванием, как полагает Иван Сергеевич» [2].

Революционеры-семидесятники относились к таланту Тургенева с большой симпатией и этим наглядно показали, насколько в политическом отношении они стояли ниже Добролюбова. Классовое чутье критика не притупилось от «сердечности» писателя. Он

[1] «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников» «Academia», 1930, стр. 57. Из письма И. С. Тургенева в редакцию журнала «Вестник Европы» в декабре 1879 г.

[2] *М. Салтыков-Щедрин,* Письма, Гиз, 1925, стр. 156, 162.

понял, что писатель — классовый враг выступающей на сцену революционно-демократической интеллигенции, носительницы идей крестьянской революции, которой боялись либеральное дворянство и помещик И. Тургенев.

Но чтобы у читателя не возникло недоуменного вопроса: «Как же Тургенев, певец дворянских усадеб, создал тип Елены и Инсарова?» — Добролюбов свои теоретические соображения сопровождает рядом замечаний, из которых самое основное: «Важно то, что сказалось автором, хотя бы это и сказалось неожиданно, помимо его воли, ненамеренно».

Такое вступление нужно было критику в тех же целях, что и в других статьях. Добролюбов хочет, чтобы читатель поверил Тургеневу, что Елена новый человек в жизни, что она не единична, что она становится уже типом, что общественная жизнь складывается так, что тип Елены становится более законченным, таким, какой нужен для борьбы с существующим порядком.

Добролюбов указывает, что Тургенев, «сознавши, что прежние герои уже сделали свое дело и не могут возбуждать прежней симпатии в лучшей части нашего общества, решился оставить их и, уловивши в нескольких отрывочных проявлениях веяние новых требований жизни, попробовал стать на дорогу, по которой совершается передовое движение настоящего времени».

С одной стороны, критик указывает, что писатель живет отжившими идеями, что он не может быть вождем так называемого передового общества и народа; делает он это весьма деликатно, но вполне ясно. С другой стороны, критик говорит о попытке стать на новую дорогу и воздает ему за это должное, как писателю, который заглянул вперед и сумел увидать там новое типичное явление.

Убеждая читателя, что героиня романа Елена не вымышленное лицо, а живая действительность, Добролюбов доказывает, что люди дела уже нарождаются.

Считая эту задачу разрешенной, критик переходит к характеристике Елены. Он дает эту характеристику в сравнении с прежними типами Тургенева.

★

Добролюбов начинает издалека и осторожно, спокойно развивая свою излюбленную мысль: «Те понятия и стремления, которые прежде давали титул передового человека, теперь уже считаются первой необходимой принадлежностью самой обыкновенной образованности». Нынче «нужно уже нечто другое, нужно итти дальше». «Ясно, что теперь нужны нам не такие люди, которые бы еще более «возвышали нас над окружающей действительностью», а такие, которые бы подняли или нас научили под-

нять — самую действительность до уровня тех разумных требований, какие мы уже сознали. Словом, нужны люди дела, а не отвлеченных, всегда немножко эпикурейских рассуждений»[1]. Если раньше был период осознания передовых стремлений, то теперь должен быть период осуществления их, а общество за последние 20—30 лет в этом отношении ничего не сделало. Лаврецкие пассивны перед торжествующими в жизни понятиями. Эти возвышенные характеры покорно склоняются под ударами судьбы. Михалевич обругал Лаврецкого байбаком; Гончаров сблизил его с Обломовым. Елена хочет делать дело, но не может, не смеет; ей не на чем было в соответствующем направлении развить свои способности.

Как в анализе характера Катерины, так и в анализе характера Елены критик прослеживает всю жизнь своей героини, начиная с ранних детских лет. В умном, впечатлительном ребенке с доброй, сострадательной душой мать своим убитым видом вызвала гуманные чувства сострадания. От сострадания Елена естественно перешла к стремлению делать добро. Но проявить себя она нигде не могла. «Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше; но чего — она не знала, а если и знала, то не умела приняться за дело»... «Ясно, что она еще находится в неопределенных сомнениях относительно самой себя, она еще не определила своей роли. Она поняла, что ей не нужно, и смотрит гордо и независимо на обычную обстановку своей жизни; но что ей нужно и главное — что делать, чтобы достигнуть того, что нужно, — этого она еще не знает, и потому все существо ее напряжено, неровно, порывисто. Она все ждет, все живет накануне чего-то... Она готова к самой живой, энергической деятельности, но приступить к делу сама по себе, одна — она не смеет»[2].

Вскрывая пассивность и несмелость характера Елены при ее страстном стремлении к деятельности, при ее внутренних силах, критик, с одной стороны, показывает органическую связь своей героини с образованным обществом, которое больше разговаривает и совсем не действует; с другой стороны, он убеждает, что Елена — живой, действительный человек, а не тепличное, чужеземное растение. Елена реальна, а не сочинена романистом. Наконец, критик подчеркнул,— это особенно для него важно, — что Елена выше Ольги, что ее характер свидетельствует о том, что «во всем нашем обществе заметно теперь только еще пробудившееся желание приняться за настоящее дело, сознание пошлости разных красивых игрушек, возвышенных рассуждений и недвижимых форм, которыми мы так долго себя тешили и дура-

[1] Том IV, стр. 369.
[2] Том IV, стр. 376.

чили. Но мы еще все-таки не вышли из этой сферы, в которой так спокойно было нам спать»[1].

Елена выше Ольги. Ольга может создать новую жизнь, но она вынуждена жить в пошлости: «от этой пошлости некуда уйти ей» Елена как бы отвечает на «проклятые вопросы» Ольги,—она уже «ищет возможности устроить счастье вокруг себя, потому что она не понимает возможности не только счастья, но и спокойствия собственного, если ее окружает горе, несчастье, бедность и унижение ее ближних».

Добролюбов неоднократно повторяет, что Тургенев сумел найти в обществе людей, которые уже не могут жить в бездеятельности, вынужденная пассивность отравляет их существование, убивает их. Но среда, из которой они вышли, держит их еще довольно крепко, не пуская вперед. Надо иметь большую силу и соответствующие условия, чтобы разорвать эти цепи.

Критик не клеймит либералов-идеалистов со всей той беспощадностью, которую он проявил в статье об обломовщине, но все же решительно и ясно подчеркивает, что эта среда мертва и умерщвляет все, что могло бы жить и действовать в духе времени.

Вот эта среда: она дала Пасынкова, Рудина, Лаврецкого, Елену. Каждый из этих людей смелее, полнее предыдущих, но в своей основе они одинаковы. Они вызывали сострадание к себе, любовь, потому что их благородные стремления постоянно вступали в конфликт с жестокой действительностью. Елена совершеннее их, но среда крепко держит в своих путах и эту активную натуру. Таково свойство породившей ее среды. Родители живут старыми понятиями, — о них говорить не приходится. Шубин — натура художественная и может быть не бесталанная, но он глубокий индивидуалист, непостоянен, у него «все зависит от минуты», он не способен ни на что серьезное, активное; он сплошное противоречие, ленив, желчен, презирает себя и гордится собой. Берсенев самоотвержен, но пассивен. Он даже не понимает и не умеет соединить свои интересы, свое счастье с интересами и счастьем родины. Этот человек рассуждает даже о Фейербахе, но все его рассуждения критик называет «пустопорожне-романтическими». Курнатовский как будто активнее, но у него все выходит как-то по-казенному. Елена одинока. В ее сердце не нашлось ни одного человека, который удовлетворил бы ее запросы, который указал бы путь к новой жизни, который направил бы ее к определенной деятельности. А между тем в груди этой девушки кипит желание узнать: что делать? «С болью недоумения она пишет в своем дневнике: «О, если бы мне кто-нибудь сказал: вот что ты должна

[1] Том IV, стр. 377.

делать! Быть доброю — этого мало; делать добро... да, это главное в жизни. *Но как делать добро?*» [1] Среда пассивна и этой пассивностью заражает Елену. Елена даже начинает приходить к убеждению, что ее идеалы могут быть достигнуты без борьбы...

Тонко, деликатно, политично, но определенно и решительно Добролюбов убеждает читателя, что общество поднялось на высшую ступень развития, в нем стали возможны деятельные характеры, которые не мирятся с положением вещей и только ждут, кто бы им указал, что и как делать. Критик, подчеркивая новый этап общественного развития, вместе с тем внушает мысль, что без борьбы достичь своих идеалов нельзя, что все передовое общество должно к ней готовиться. Далее он указывает, что придут люди, руководители борьбы, но этих людей дела нужно искать не в среде либерального дворянства (тут умирает все живое), а в другом общественном слое. Люди дворянской среды часто боялись соприкосновения с действительностью. Они рассуждали: «Тут невозможно сохранить себя чистым, и притом вся эта среда так мелка и пошла, что лучше удалиться от нее в сторону». Не случайно и то, что Елена на протяжении всей повести не вмешалась в окружающую ее действительность. Елена билась, как птица в клетке, хотя этой клетки и не было: ее никто не стеснял.

На путь борьбы Елену вывел Инсаров. Инсаров — революционер, но не русский, а болгарин. Елена пошла за иностранцем; она не вернулась в Россию и после его смерти, — осталась за границей. «Призыв родной матери, дошедший до нее почти в самую минуту, когда она лишилась мужа, не смягчил ее отвращения к этой пошлой, бесцветной, бездеятельной жизни. «Вернуться в Россию? Зачем? Что делать в России?» — написала она матери и отправилась в Зару, чтобы потеряться в волнах восстания» [2]. В России ей не было дела? Так выходит по повести Тургенева. Тургенев, как либерал-постепеновец, не желал революции и не видел, как нарастает революционная сила. Понятно, он и не мог дать соответствующего конца для своей повести, конца, который раскрывал бы революционное настроение демократии, как новой силы прогресса, конца, в котором писатель мог бы показать деятельность революционеров, Елен и Инсаровых, на русской почве.

Иначе смотрит на дело Добролюбов. Как революционер, демократ, как идеолог крестьянской демократии, он видел, как эта сила нарастает и уже начинает действовать, как эту силу вызывает к жизни сама история, в силу чего победа на ее стороне обеспечена. Столкнулись две классовые точки зрения. Естественно, что критик остался недоволен концом повести и характеристикой

---

[1] Том IV, стр. 395.
[2] Том IV, стр. 419.

Инсарова. Критик указывает, что «тоска ожидания давно уже томит русское общество»... «И так, день изо дня, проходит жизнь, пока она не умерла в сердце человека, и день изо дня ждет живой человек: не будет ли завтра лучше, не разрешится ли завтра сомнение, не явится ли завтра тот, кто скажет нам, как делать добро» [1]. Критик понимает, что современные русские Инсаровы — Дон-Кихоты; они смешны, бесполезны, «возятся попусту»; «они не понимают общего значения той среды, в которой действуют». «Да и как им понять, когда они сами-то в ней находятся, когда верхушки их тянутся вверх, а корень все-таки прикреплен к той же почве? Они хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители. Как же тут быть? Всю эту среду перевернуть, — так надо будет повернуть себя; а подите-ка, сядьте в пустой ящик, да и попробуйте его повернуть вместе с собой. Каких усилий это потребует от вас!» [2].

Словом, Добролюбов начинает развивать ту же мысль, что и в статье об обломовщине, что современные Инсаровы не могут подрубать дерево, на котором они выросли; они стараются уверить, что дерево гнило только снаружи, поэтому они борются только с мелочами. Из-за этих мелочей они даже кончают свою жизнь, но все же основ жизни не затрагивают.

Если в обломовщине критик показал либералов бездеятельных, пустословов, то в этой статье он говорит о либералах действующих. Но он отмечает, что деятельность их нерешительна, непоследовательна, половинчата, что они в сущности так же бесполезны, как и либералы бездействующие, поскольку не затрагивают основ существующего порядка. Они хотят бороться с беззаконием, не понимая того, что все у нас идет по закону, но что самый закон никуда не годен и что этот закон можно отменить, только изменивши государственный строй, свергнув самодержавие. «Они, например, вдруг вообразят, что надо спасать крестьян от произвола помещиков; и знать того не хотят, что никакого произвола тут нет, что права помещиков строго определены законом и должны быть неприкосновенны, пока законы эти существуют, и что восстановить крестьян собственно против этого произвола, значит, не избавив их от помещика, подвергнуть еще наказанию по закону». Однако упор Добролюбова не столько в том, чтобы показать, что либералы непригодны к борьбе за народные интересы, непригодны по самой классовой природе, сколько в том, чтобы показать, что у нас уже наступают такие общественные условия, которые родят настоящих русских Инсаровых.

---

[1] Том IV, стр. 396.
[2] Там же, стр. 403.

Хотя критик иронически и утверждал, что Россия самое благоустроенное государство, он не раз спрашивал: «Но разве мало у нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними и разве не требуется геройства для этой борьбы?» И он ждет «новых людей», которые расчистили бы дорогу для героев, призванных историей перестроить жизнь вместе с народом в духе его «естественных» стремлений. Добролюбов понимал, что общественная задача в России гораздо сложнее той, которая стояла перед Инсаровым-болгарином, понимал, что нужна еще подготовительная, предварительная работа, чтобы создать условия для появления русских Инсаровых.

Вопрос о социальном государственном перевороте Добролюбов ставит со всей резкостью. «С этим внутренним врагом,— пишет он, — ничего не сделаешь обыкновенным оружием; от него можно избавиться, только переменивши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился и вырос, и усилился, и обвеявши себя таким воздухом, которым он дышать не может» [1]. Что это значит политически? Ответ ясен: в корне изменить порядок может только народ, только крестьянская революция. Естественно, что критик ставит вопросы: «Возможно ли это? Когда это возможно?» И твердо отвечает: да, возможно, но когда, еще неизвестно. «Старая общественная рутина отживает свой век: еще несколько колебаний, еще несколько сильных слов и благоприятных фактов, и явятся деятели» [2].

«Правда, — пишет Добролюбов, — наши гражданские деятели лишены сердца и часто крепколобы; наши умники палец о палец не ударят, чтобы доставить торжество своим убеждениям, наши либералы и реформаторы отправляются в своих проектах от юридических тонкостей, а не от стона и вопля несчастных братьев. Все это так. Но мы все-таки думаем, что *теперь* в нашем обществе есть уже место великим идеям и сочувствиям, и что недалеко время, когда этим идеям можно будет проявиться на деле» [3]. Раз Елена возможна в литературе — значит, черты ее характера есть уже в жизни. Русского Инсарова еще нет, но «недолго нам ждать его». Мы живем накануне.

Эта политическая постановка вопроса о положении дел в России и заставила Добролюбова резко поставить вопрос о том, что Тургенев «недостаточно приблизил к нам этого героя даже просто как героя». В этом отношении, согласно своим методологическим установкам, критик увидел «главный художественный недостаток повести». Добролюбов понимает, что писатель не мог сделать

---

[1] Том IV, стр. 422.
[2] Там же, стр. 423.
[3] Там же, стр. 421.

Инсарова *«нашим»;* ему мудрено было бы жить в Москве, ничего не делая, «и мудрено было ему высказаться вполне со своей идеей» вооруженного восстания. Этого критик не требует, Инсарова еще нет в жизни, но приблизить Инсарова к русской действительности было необходимо, так как русское общество жило накануне прихода русских Инсаровых. Либерал Тургенев этого не видел и не понимал; демократ, революционер, социалист Добролюбов, наоборот, четко видел жизненность русских Инсаровых, крестьянской революции, и, естественно, приближение болгарина Инсарова к русским условиям должно было быть одним из главных условий художественности произведения. Вне этого Добролюбов не видел полноты, правдивости изображения, глубинного проникновения в сущность общественного процесса, отображаемого художником. За иностранцем, за чужим Инсаровым русское общество не могло пойти. Добролюбов же хотел видеть Инсарова, и на законном основании, настолько близким русскому обществу, чтобы оно, не колеблясь, с энтузиазмом и самоотвержением Елены воскликнуло: «Идем за тобой!» Либерал Тургенев в силу своей классовой природы этого сказать не мог и этим не удовлетворил Добролюбова, представителя другой социальной силы.

С этого политического пункта критик и начинает поправлять писателя. Он начинает приближать к нам, русским, болгарина Инсарова. Прежде всего Добролюбов категорически заявляет, что у нас в передовой части общества сильно развита «любовь к страждущим и притесненным, желание деятельного добра, томительное искание того, кто бы показал, как делать добро». Для удовлетворения этого чувства нужны не Онегины, не Рудины, не Лаврецкие, не Берсеневы, а люди другого склада. «Для удовлетворения нашего чувства, нашей жажды нужно более: нужен человек, как Инсаров, но русский Инсаров»[1]. Только русский Инсаров может поднять общество на вооруженную борьбу с существующим режимом; тогда и Елены найдут приложение своим силам у себя на родине, незачем им будет стремиться за границу.

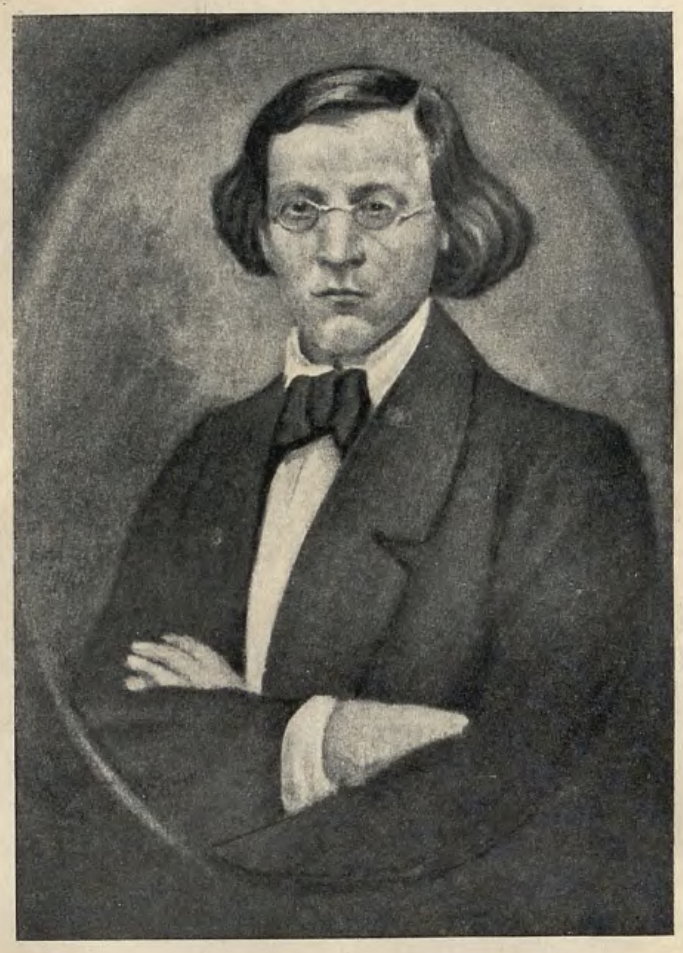
Добролюбов восхищается Инсаровым, потому что идея, которой он живет, «озаряет мрак нашего существования», потому что он живет страстной, глубокой ненавистью к поработителям, он ненавидит существующий порядок вещей. Стремление Инсарова, пишет критик, заключается в величии и святости той идеи, которой проникнуто все его существо. «В нем только и есть постоянная, слитая с ним идея родины и ее свободы»... «Идея эта так свята, так возвышенна». Личное счастье и интересы Инсарова неразрывно связаны со счастьем и интересами родины. Он может заниматься только таким делом, которое ведет к освобож-

[1] Том IV, стр. 421.

дению родины. Словом, конечная цель жизни — «страстное желание освободить родину, и этой мысли он предается весь открыто и уверенно». Естественно, революционер и демократ Добролюбов, поскольку он предвидел приход в скором времени русских Инсаровых, упрекал художника в том, что он не показал «величия и красоты» идеи, которая руководит поведением Инсарова. Критик упрекал романиста за то, что он дал Инсарова недостаточно определенным, не настолько определенным, «чтобы мы сами прониклись его идеями и в гордом воодушевлении воскликнули: «Идем за тобой!»

В соответствии со своим взглядом на общественное развитие России, в соответствии со всем политическим смыслом статьи критик указывает, что русские Инсаровы будут, условия, которые их вызовут к жизни, скоро придут, хотя их сейчас и нет. Развивая свои материалистические взгляды на взаимоотношения человека и общества, Добролюбов замечает, что героя формирует общественная среда,— сформирует она и русского Инсарова. Доказывая это, Добролюбов в силу цензурных условий говорил совершенно обратное, но говорил так, что читатель находил и понимал скрытую мысль автора. Инсаров-болгарин возможен, потому что «в Болгарии нет общественных прав и гарантий», страна порабощена и для завоевания ее свободы приходится поднимать вооруженное восстание. Инсаров-русский в настоящий момент невозможен, потому что «Россия, напротив того, государство благоустроенное, в нем существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует, процветает благодетельная гласность и т. д.» Говорит критик внешне серьезным тоном, но всякий видит, что тут скрыта злая ирония, издевательство над русским самодержавием. В других местах он, язвительно характеризуя русское общество, говорит о том, что всякая гласность задавлена русским самодуром — самодержавием. Всякий, всматривавшийся в порядки существующего режима, понимал, что они ничем не отличаются от болгарских, и если в Болгарии неизбежно вооруженное восстание за свободу страны и есть уже Инсаров, организатор этого восстания, то такое же вооруженное восстание неизбежно и в России; неизбежен и русский Инсаров, идеолог и руководитель крестьянской революции, крестьянского вооруженного восстания против царя, помещиков и бюрократии. Логика — политически ясная и определенная.

Добролюбов, насколько позволяет повесть, подробно останавливается на характере Инсарова. Инсаров не герой прежнего типа, это обыкновенный человек, но только с определенной идеей, которой подчинена вся жизнь, человек, у которого дело не расходится со словом, — человек, который не разменивается на мел-



Н. Чернышевский

кие дела, а разрешает основную общественную проблему. Русский человек, разжалованный в фельдшерские помощники и не выдержавший зверского с ним обращения в течение двух недель, застрелился. У Инсарова убили отца, и он не мстит за это, так как он прекрасно понимает, что свобода родины зависит не от его личных интересов и не этот частный факт решает дело: «Тут не до частной мести, когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет».

Вот эту-то черту превосходства болгарина Инсарова и хотелось Добролюбову видеть особенно выпукло подчеркнутой. Этим художник наносил бы удар по разным либералам и реформаторам. Но то, что хотел революционер-демократ, не мог сделать либерал, да еще ждавший реформ *только сверху*.

Методические и политические установки Добролюбова совпадают полностью. Полагая, что литература определяется жизнью, критик в то же время постоянно подчеркивал, что литература имеет социальную функцию, она пропагандирует какую-либо идею, и необходимо, чтобы эта идея отражала развитие жизни полно, глубоко, правдиво. Литература заражает своей идеей общество. Критик и хотел, чтобы Инсаров заражал, зовя русское общество к вооруженному восстанию против самодержавного режима. «Бледность очертаний» Инсарова не нравится критику. Такой герой не сможет зажечь сердца и ума, не сможет увлечь. Критик знает, что у нас было много подражателей Онегину, Рудину, Печорину. Теперь все это «лишние люди». Он хочет, чтобы подражали Инсарову,— это герой нового типа: «он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос, как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит, он делал и будет делать» [1]. Недоговоренность либерала демократ восполняет сравнительной характеристикой Шубина, Берсенева и Инсарова. Критик приближает Инсарова к России, «бледность» и «неопределенность» очертаний его критик вскрывает через сравнение Инсарова с русскими героями.

Характер Инсарова во всем совершенно противоположен характеру других героев Тургенева. Он выше их во всем. «Лишние люди» — герои-мученики. Инсаров — герой органический. Он делает свое дело и не кичится страданиями, которые ему приходится испытывать; он обыкновенный человек. «Лишние люди» не знают, что делать и как делать. Инсаров точно знает программу своей деятельности; «освободить родину» — вот идеал, который управляет его поведением. Из такого сравнения читатель, естественно, приходит к выводу, что прежние русские герои не герои, а России нужен русский Инсаров. Он будет настоящим

[1] Том IV, стр. 397.

героем, он освободит родину. И он, конечно, выйдет не из той среды, которая дала Печорина, Рудина и других. За Инсаровым-болгарином пошла русская Елена; тем более пойдет она за русским Инсаровым. Герой Тургенева «в повести не действует, а только собирается на дело; это и русский может. Характер его тоже возможен и в русской коже, особенно в таких проявлениях». Хваля Тургенева за Елену, которую он показал отравленной дворянской средой, порицая его за то, что он не мог дать более определенного Инсарова, приближенного к русскому обществу, Добролюбов всем этим еще раз нанес удар русскому дворянскому либерализму, а вместе с тем и пропел отходную таланту великого писателя, умиравшего вместе со своим классом. Писатель пытался встать на новую дорогу, но — увы! — не смог, его хватило только на Елену, поскольку она связана с прошлым, но у него не нашлось художественного проникновения на Инсарова, поскольку он связан с будущим.

★

Это было время, когда «имя Чернышевского возбуждало в публике большое движение, что видно между прочим и из писем к нам, то есть в редакцию «Современника», — писал И. Панаев В. Боткину 11 февраля 1858 г. Книгу же Чернышевского, его диссертацию, Тургенев в письме к Панаеву от 10 июля 1855 г. охарактеризовал как «гнусную мертвечину», как «порождение злобной тупости и слепости».

Настроение Тургенева и его друзей с особенной выпуклостью сказалось в письме Боткина к Панаеву от 29 января 1858 г. Боткин писал: «Здесь есть слухи, что новые распоряжения встречают большую оппозицию со стороны помещиков. Этого надобно было ожидать. Где этим паразитам, отрешенным и от государственной и от народной почвы, понять, что в крепостном праве заключается узел, связывающий Россию по рукам и по ногам? В конец испорченные своим крепостным правом и гаремною жизнью, эти паразиты менее всякого другого сословия способны на какой-либо великодушный поступок. Какое бессмертное, святое имя будет иметь в истории Александр II! К каким великим подвигам может быть способно доброе и любящее сердце! Правду говорят, что любовь может творить чудеса, а эти распоряжения ввиду почти несомненной оппозиции помещиков, право, можно считать чудесами. Дай бог только ему силу и твердость устоять в своей воле! Отвратительнее всего, что эти самые помещики на словах почти все ужаснейшие либералы, любят читать запрещенные книжки и с самодовольствием указывают на соломинки в глазах европейских, не замечая целых бревен в собственных своих... Любопытно исследовать, какой государственный эле-

мент представляет собою масса помещиков. Я знаю, что из этого же сословия выработалась и русская поэзия, и литература, и вообще та некоторая доля цивилизации, которая приготовила нам вступление на европейский путь истории. Да, в русской истории был период, когда государству действительно нужно было это сословие, как в средние века нужно было для цивилизации руководжение римской церкви. Но ребенок вырос и даже перерос своего учителя. Обновиться и отрезвиться нужно нашему дворянству — иначе оно впадет в такой же идиотизм, в какой впали представители наших аристократических фамилий. А освобождение крестьян именно на тех основаниях, которые указываются последними распоряжениями, есть первый и необходимейший шаг к его обновлению и отрезвлению от всяческого опьянения»[1].

Как низок уровень политического понимания у круга Тургенева! Как высоко стояли над ним Чернышевский и Добролюбов! У одних надежда на царя, на реформы свыше, у других — надежда на народ, на крестьянскую революцию. Достаточно сравнить статьи Чернышевского по вопросу о крепостном праве с высказываниями о нем Тургенева и его друзей, чтобы видеть, что между этими классовыми силами никакого примирения быть не может. Умный дворянин Тургенев понял это и из литературной статьи Добролюбова, статьи, деликатной по форме, но острой, жгучей по своим политическим выводам. Как известно, Тургенев предъявил редактору «Современника» Н. А. Некрасову ультиматум: я или Добролюбов в журнале. В литературе, особенно мемуарной, постоянно подчеркивается, что статья Добролюбова не содержит в себе ничего оскорбительного для писателя и что последний покинул «Современник» якобы из-за своего каприза и личной неприязни к молодому критику. Мы думаем совершенно иначе. Конечно, в статье нет ругани по адресу Тургенева, нет даже случайных особо злых замечаний, но ведь окончательный вывод статьи убийственен: Тургенев, как писатель, кончился, он — в прошлом, в умирающем прошлом, а в настоящее время нужны другие писатели, которые глубже, конкретнее могут обрисовать Инсарова, сблизить его с русским обществом и тем самым вызвать свежие классовые силы общества на революционную борьбу с самодержавием. Деликатно, но ведь Добролюбов ставит над Тургеневым крест. Что же это за писатель, да еще передовой, который как раз и не чувствует и не улавливает новых веяний и новых людей жизни? Этого, конечно, стерпеть было нельзя. Тургенев видел торжество своего классового врага и работать с ним вместе, естественно, не мог. Сущность расхождения лежала не в характере лиц, не в их личных столкновениях, не в случайных

[1] «Тургенев и круг «Современника», «Academia», 1930, стр. 435.

и частных препирательствах, а в основном понимании исторического процесса. Тургенев, ожидая реформы только сверху, должен был убрать с дороги Добролюбова, который призывал революцию снизу. Принять советы критика писатель не мог: они не отвечали классовым интересам сладенького, умеренного либерала. Как почимал Тургенев отношение к себе Добролюбова, метко сформулировано в письме писателя к Анненкову по поводу смерти критика. Тургенев писал: «Огорчила меня смерть Добролюбова, хотя он собирался меня съесть живьем». Действительно, Добролюбов хотел «съесть» Тургенева, как идеолога либерализма.

Русское общество сразу поняло смысл статьи Добролюбова. Одних она вместе с Тургеневым оттолкнула от «Современника», других, наоборот, сплотила, спаяла,— неизбежный исторический процесс размежевания классовых сил, когда наступила пора политической активности в связи с так называемой крестьянской реформой. Особенно статья выделилась на фоне деятельности такого крупного человека, как Герцен, который в это время обнаруживал сильные колебания, часто становился на либеральные позиции и даже выступал враждебно против «Современника», против Чернышевского и Добролюбова.

Статья о «Накануне» не самая блестящая в литературном отношении, но она самая ясная и определенная в политическом смысле. В этом ее исключительное значение как для своего времени, так и для нас. Это своеобразный политический манифест, своеобразная программа действий, почему статья и начинается указанием, что Добролюбов «отказывается от роли воспитателя эстетического вкуса барышень». До эстетики ли тут, когда идет вопрос о вооруженной борьбе с самодержавно-помещичьей властью?

Как идеолог революционной демократии, Добролюбов провел через статью такую политическую мысль: даже самые лучшие из либералов и реформаторов не в состоянии разрешить очередной исторической задачи. Нужны новые люди, новые герои, совершенно иные по своему складу характера, люди дела, а не пустых слов. Прообразом этих героев является болгарин Инсаров; русских Инсаровых еще нет, но они скоро будут,— условия к тому складываются. И они поднимут вооруженное восстание за свободу своей родины, пойдут на смертную борьбу с царско-помещичьим строем. Критик похоронил, как историческую силу, либералов и твердо указал на новую революционную силу.

Когда Добролюбов, призывая к вооруженной борьбе, стал подрубать дерево, на котором сидели либералы и реформисты, тогда последние закричали «караул» и, отколовшись от «Современника», самого революционного в то время органа, пошли на соглашение с существующим порядком, возлагая надежды на царя, ли-

берально начавшего свое царствование. Предвидя это, Добролюбов писал об этом еще в статье об обломовщине, поэтому он так решительно и расширял круг «лишних людей». Действительно, либералы, как класс, во время Добролюбова уже были «лишними людьми». Отдельные личности не спасали положения.

Когда многие, боясь раскола в рабочем движении, надеясь, что меньшевики так или иначе будут служить пролетарской революции, говорили и писали о единстве рабочего движения, тов. Ленин не убоялся расколов и в острые моменты борьбы в рядах РСДРП всегда вскрывал предательскую роль меньшевизма, чем приводил многих в смущение и негодование и вызывал упреки в узости, фракционности. Кто оказался прав? Целиком, без всяких оговорок оказался прав тов. Ленин. Он был гениальный прозорливец. За социалистической фразеологией меньшевизма он раньше всех и лучше всех разглядел неизбежное предательство меньшевизмом рабочего класса. Об этом он постоянно и усиленно предупреждал. Большевики размежевывались с меньшевиками, чтобы крепче сплотить свои ряды.

Так в свое время и Добролюбов, раньше чем кто-либо другой, вместе с Чернышевским разглядел политическую сущность русского либерализма, его беспомощность, его предательскую роль в освобождении народа, то есть в крестьянской революции. Он считал: чем скорее радикальная демократическая интеллигенция порвет с либерализмом, чем скорее его дискредитирует и оторвет от него все мало-мальски оппозиционно настроенное, тем скорее и успешнее можно будет поднять знамя вооруженной борьбы народа с царем и помещиками.

Елена — накануне крестьянской революции, но «еще несколько колебаний, еще несколько сильных слов и благоприятных фактов, и явятся деятели» крестьянской революции.

Этого не сумел сказать либерал Тургенев; это разъяснил революционер, демократ Добролюбов.

V

Остановимся, наконец, на статье «*Забитые люди*». Эта статья Добролюбова была всегда как-то в тени, а между тем и она имеет серьезное политическое значение.

Как всегда, критик начинает с методологических рассуждений, с указаний, что есть писатели, «у которых художественное чутье, хотя бы даже и слабое, направлено здраво, в которых не только верно отражаются явления жизни, но которым доступен, более или менее, и общий таинственный смысл ее. Такие писатели становятся замечательными художниками, если их предприимчивость многообъемлюща, если жизнь открывается им не в

отдельных явлениях, а во всем своем стройном течении, если чутки они не к одной только внешней стороне явлений, но и к их внутренней связи и последовательности. Тогда они создают что-нибудь прочно остающееся в литературе и служат двигателями общественного сознания».

Добролюбов не очень высоко ставил талант Достоевского. Но, чтобы привлечь к писателю общественное внимание, критик, развивая мысль о характере писателей, говорит: «Но и люди с более ограниченною восприимчивостью, с более слабым, только бы верным, чутьем, не проходят без следа и заслуживают внимания, если хоть одну черту разъяснили, или даже указали нам в этой жизни, которая у них перед глазами, всех задевает собою и, однако же, так немногих наводит на серьезную думу, так немногими понимается». К этой второй категории писателей критик и относит автора «Забитых людей». Достоевский «не понял общего таинственного смысла жизни», не уловил «внутренней связи и последовательности» во взятых им явлениях, но зато он показал нам галлерею средних, забитых жизнью людей, которые вызывают не только сожаление к своему личному страданию и положению, но и поднимают раздражение, негодование против общественных условий, породивших это страдание. Достоевского принято считать писателем реакционным,— это бесспорно. Общественный идеал писателя, как он отразился в «Бесах», безусловно реакционен. И все же писатель не раз вызывал своим творчеством революционное настроение. Не надо учиться у Достоевского, но по Достоевскому учиться можно и даже должно, поскольку он вскрывает гнилостность и ненормальность существующего порядка вещей. А это писатель делает, вскрывая гнойные язвы общества, скорбя о боли человека, «который признает себя не в силах или, наконец, даже не в праве быть человеком настоящим, полным, самостоятельным человеком, самим по себе». Писатель отыскивает примеры этого ненормального положения. Достоевский, однако, не этим силен. Он силен тем, что «вопрос у него поставлен, и никто из читателей сам не может избавиться от этого вопроса после прочтения его повестей. Самый тон каждой повести унылый, мрачный, болезненный, так и вышибает из сердца раздражительный вопрос, так и поднимает в нас какую-то нервную боль». Затем из повестей Достоевского видно, что у него есть свой общественный идеал, по которому «каждый человек должен быть человеком и относиться к другим, как человек к человеку», а этого в жизни нет.

Итак, Достоевский привлекает Добролюбова тем, что так или иначе он ставит проблему равенства между людьми и показывает, что в современных условиях она неразрешима. Но что неразрешимо для реакционера Достоевского, то вполне разрешимо для

революционера и демократа Добролюбова. Критик сосредоточивает свое внимание на негативной стороне творчества писателя. В характере лиц, выводимых писателем, критик хочет найти ответ на основной свой вопрос: «Где причина всех этих диких, поразительно странных людских отношений? В чем корень этого непонятного разлада между тем, что должно бы быть по естественному, разумному порядку, и тем, что оказывается на деле?» [1]. Насколько дики человеческие отношения, на этой стороне вопроса критик не останавливается. Это прекрасно выполнил сам писатель. Критик ищет корней всей этой дикости и находит их, конечно, со своей классовой точки зрения. Но чтобы кто-нибудь из противников не упрекнул Добролюбова в критике «по поводу», в «навязывании художнику» своих «утилитарных тем», он указывает, что, так как художественная литература никогда «не достигает действительно художественного значения» и имеет лишь «практический смысл», то и он своей критике придает «несколько практический характер». Мы сказали бы — политический характер, поскольку в своей статье на анализе героев повестей он вскрывает корни диких общественных отношений и намечает выход из них.

★

Необходимо отметить органическую идейную связь между статьями об Островском и Достоевском. Тут и там критик ставит проблему «загнанных», «запуганных», «забитых» жизнью людей. Тут и там критик зовет к решительной борьбе с создавшимся положением всех, в ком осталась хоть капля понимания ненормальности существующего порядка вещей.

Добролюбову кажется: «дело простое — человек родился, значит, должен жить, значит, имеет право на существование; это естественное право должно иметь и естественные условия для своего поддержания, то есть средства к жизни. А так как эта потребность средств есть потребность общая, то и удовлетворение ее должно быть одинаково общее для всех без подразделений, что вот, дескать, такие-то имеют право, а такие-то нет. Отрицать чье-нибудь право в этом случае значит отрицать самое право на жизнь. А если так, то в пределах естественных условий решительно каждый человек должен быть полным, самостоятельным человеком и, вступая в сложные комбинации общественных отношений, вносить туда вполне свою личность, и, принимаясь за соответственную работу, хотя бы самую ничтожную, тем не менее — никак не складывать, не уничтожать и не заглушать свои прямые человеческие права и требования» [2].

[1] Том V, стр. 163.
[2] Там же, стр. 161.

А ведь забитые люди Достоевского «жалки», «робки»; у них «дрожат коленки», они стыдятся за свою жизнь. «Забитый, тощий пес Улисса, с воем и ласкою встречающий своего господина, неизмеримо ближе и равнее с ним, нежели этот чиновник (Девушкин. — *В. П.*) с благодетельным его превосходительством». И все это из-за того, что в жизни существует между людьми разделение, «установившаяся иерархия»: на одном конце ее командующие классы, а на другом — «забитые люди», дрожащие за свое существование. Самое страшное для критика не то, что эта ужасная иерархия существует, а то, что «все при ней сознают себя счастливыми и довольными». Несчастный Девушкин «счастлив собственным унижением и в умилении молит бога простить ему «ропот и *либеральные мысли*», которые он позволял себе подчас в прежнее время». Высмеивая такое «идеальное», «счастливое» государство, в котором «все члены прониклись бы чистыми понятиями об общественной иерархии», критик вскрывает, что эта насильническая теория государства «проводилась в разных учреждениях, преподавалась в школах, проповедывалась в церквах монахами разных орденов, проникала даже в домашнее воспитание, захватывая таким образом человека в самые нежные, самые впечатлительные его годы: но все не в прок! Большинство принимало теорию, не имело ничего сказать против нее»; но всегда находились люди, которые не успокаивались на этой теории, чего-то искали другого. «И вот какая-нибудь пустая случайность, ничтожное столкновение,— и все взволновано, и идеал непрерывной тишины взлетел прахом на воздух».

Заслуга Достоевского и заключается в том, что «от него не ускользнула правда жизни, и он чрезвычайно метко и ясно положил грань между официальным настроением, между внешностью, форменностью человека, и тем, что составляет его внутреннее существо, что скрывается в тайниках его натуры и лишь по временам, в минуты особенного настроения, невольно проявляется на поверхности»[1]. Словом, Добролюбов ценит Достоевского, поскольку он раскрывает, что современный общественный порядок не соответствует требованиям человека, если за человеком признать право на существование.

Как всегда, Добролюбов, исходя из философских позиций Фейербаха, впадает в идеалистическую ошибку, апеллируя к природе человека, а не к классовым отношениям.

Разбором повести «Слабое сердце» критик показывает, что «идеальная теория общественного механизма с успокоением всех людей на своем месте и на своем деле вовсе не обеспечивает всеобщего благоденствия». Он рассуждает о том, что исторически

[1] Том V, стр. 174.

такой порядок может быть. Согласно с «естественной инерцией человека» он привык, чтобы о нем кто-то заботился, за него решал и даже «его мысли устраивал», но теперь общество уже вышло из своего состояния младенчества, «высокие добродетели слепой, безумной преданности, безусловного доверия к авторитетам, безотчетной веры в чужое слово — становятся все реже и реже; мертвенное подчинение всего своего существа известной формальной программе — и в ордене иезуитов осталось едва ли не на бумаге только. «Естественная человеку инерция» признается уже каким-то отрицательным качеством, вроде способности воды замерзать; напротив, на первом плане стоит теперь *инициатива,* то есть способность человека самостоятельно, самому по себе браться за дело,— и о достоинствах человека судят уже по степени присутствия в нем инициативы и по ее направлению. Все как-то стремится стать на свои ноги и жить по милости других считает недостойным себя. Такое изменение тенденций произошло в обществах новых народов Европы с конца прошлого столетия. Можем сказать, что изменение это не миновало отчасти и нас»[1]. Добролюбов не только раскрывает дикость отношений в русском обществе, но и показывает, что в Европе это дикое положение изменилось в конце прошлого столетия, со времени французской революции. Всеми своими рассуждениями он воздействует на читателя, осуждая его пассивность, призывая к инициативе, то есть к изменению общественных условий, к революционной борьбе, иначе критик и не намекал бы на конец прошлого столетия.

Но критик не дал развернутой социалистической системы общественных отношений, хотя проблема поставлена им по-социалистически и глубоко, поскольку на творчестве Достоевского он показал, как существующий порядок вещей убивает человека и физически и морально, и нужен такой порядок только привилегированным классам. Существующие общественные отношения превратили целые группы людей в «грязную ветошь», но «в самых грязных складках этой ветоши сохраняются и чувство и мысль, — хоть и безответные, незаметные, но все же чувство и мысль». На героях Достоевского критик это положение вещей и вскрывает.

Показывая, что Достоевский «в забитом, затерянном, обезличенном человеке» отыскивает и показывает нам живые, никогда не заглушенные стремления и потребности к лучшей жизни, показывая, как Голядкин и Девушкин мучаются в силу одних и тех же «общих причин» — в силу разлада требований человечности с «официальными требованиями его положения», разлада «офи-

[1] Том V, стр. 189.

циальных основ жизни с ее действительными требованиями», критик ищет выхода. Критику очень хотелось раскрыть со всей полнотой, как люди обращаются в ветошку, чтобы лучше было видно, с чем бороться и какие меры наиболее действительны, но он вынужденно предупреждает, чтобы проницательный читатель «не ждал решительных объяснений: для них еще время не пришло». А дальше он все же показывает, как с детства человека опутывают известной философией и моралью, чтобы он признал законность и разумность существующего порядка. В статье о «Накануне» Добролюбов вскрыл это на автобиографическом материале, в данном случае — на показе героев Достоевского. Оказывается: «человек поглощается и уничтожается общим впечатлением того механизма, которого он не в состоянии даже обнять своим рассудком». Люди гибнут, сходят с ума, с ними «жар и бред», но выхода из положения они не находят. Ихменев затеял с князем процесс. Чувствует старик, что «несправедливо, оскорбительно, бессовестно» продают с аукциона деревню, но... ничего не поделаешь! Все идет «по законному порядку. Порядок этот оказывается в пользу князя». Да и «не в князе тут сила, а в том, что, каков бы он ни был, он всегда огражден от всякой попытки Ихменевых и т. п.—своим экипажем, швейцаром, связями, наконец, даже полицейским порядком, необходимым для охранения общественного спокойствия»[1]. Вывод политически ясный: чтобы восстановить справедливый, нормальный порядок, нужно разрушить государство, которое держится на этой полицейской силе. Разрушить эту машину не так легко. «Кто же теснит и давит Макара Алексеевича? Обстоятельства! А что делать против обстоятельств, когда они сложились так прочно и неизменно, так неразлучны с нашим порядком, с нашей цивилизацией?» В делах с князем установлены «церемонии и условия», их приходится соблюдать, а они всегда «в пользу князя». Значит, преодолеть обстоятельства цивилизованного князя (олицетворение существующего порядка) можно только с нарушением «установленных церемоний и условий», то есть революционным путем, лишив князя,— сильных мира,— их экипажей, швейцаров, законов, охраняющих их и т. п., то есть лишив их богатства и власти, поставив в такие условия существования, чтобы человек не мог иначе относиться к другому человеку, как равный к равному, «как человек к человеку». Чтобы заставить читателя самому задуматься над положением и взаимоотношениями князя и Ихменева, над общественными отношениями вообще, Добролюбов снова просит читателя не ждать от него «объяснений» по

---

[1] Том V, стр. 203.

этому вопросу. Цензура исключала возможность «подобных» объяснений.

Добролюбов показывает, как у героев романа вспыхивает моментами сознание своего положения и быстро гаснет, и человек ограничивается «больше вздохами да пустыми мечтами». Констатируя это, критик подчеркивает, что все это зависит от общих условий человеческого общежития; они «развивают в человеческом обществе инерцию, в ущерб деятельности и подвижности сил». Получается как бы заколдованный круг. Общество поработило людей, часть людей чувствует существующую несправедливость, но не может преодолеть этого, так как общественные условия не дают развиться соответствующим характерам. Значит, сильнее надо проявлять *инициативу*, то есть революционное наступление на самодержавно-крепостнический строй. Критик сознает, что положение трудное; он даже менее решительно, чем в других случаях, говорит о выходе из создавшегося положения. Он говорит: «Не знаю, может быть, есть выход» «Где этот выход, когда и как, это должна показать сама жизнь». Верный фейербахианскому материализму, критик призывает своего читателя: «Главное, следите за непрерывным, стройным, могучим, ничем не сдерживаемым течением истории, и будете живы, а не мертвы». Со времени появления Макара Алексеевича с братиею, жизнь уже сделала многое, только это многое еще не формулировано. Критик заметил «общее стремление к восстановлению человеческого достоинства и полноправности во всех и каждом. Может быть, здесь уже и открывается выход из горького положения загнанных и забитых, конечно, не их собственными усилиями, но при помощи характеров, менее подвергавшихся тяжести положения, убивающего и гнетущего».

★

Добролюбов, как представитель общественной критики, естественно, должен был дать ответ на вопрос: где выход? Прежде всего он указывает, что «многое сделала уже сама жизнь», «только это многое не формулировано». Что сделала жизнь, это видно по статьям о Гончарове, Островском и Тургеневе. Правда, и там многое не сформулировано. Цензурная власть настолько была строга, что и самое упоминание о том, что многое не сформулировано, в свое время было выкинуто. Самое важное, однако, было сформулировано. Это то, что общество от либеральной болтовни перешло к демократическому делу, что стали появляться нужные характеры, что эти характеры идут из рядов самой массы, что эти новые характеры имеют нужные задатки вождей революционной борьбы. Но ведь вожди появляются только тогда,

когда есть соответствующие условия, когда есть масса, которую можно вести. В данном случае критик и останавливается, так сказать, на вопросе о массах. Он прямо заявляет: «Мы нашли, что забитых, униженных и оскорбленных личностей у нас много в среднем классе, что им тяжко и в нравственном и в физическом смысле, что, несмотря на наружное примирение со своим положением, они чувствуют его горечь, *готовы на раздражение и протест* (подчеркнуто мною. — *В. П.),* жаждут выхода» [1]. Если вспомнить статью о «Грозе», в которой Катерина символизирует самые низшие угнетенные классы, то выходит, что низшие и средние классы не только не могут жить в данном обществе, но уже как бы готовы на протест, то есть на решительную схватку с самодержавно-крепостническим строем. Несомненно, Добролюбов смотрел на вещи слишком оптимистически. В данном случае важно другое: он находил, что все складывается благоприятно для революционной борьбы: есть громадная масса, готовая на протест и уже протестующая, хотя и слабо, и появляются вожди, нужные люди, которые могли бы объединить эту массу. Раз у героев Достоевского есть общее стремление к восстановлению человеческого достоинства и «полноправности во всех и каждом», значит, это есть, согласно теоретическим взглядам критика, и в самой жизни, есть в низшем и среднем классах. Такое положение дает воодушевление; оно дает много уверенности и сил в предстоящей борьбе. Оно разбивает ту слабохарактерность, то приниженное состояние, которе рисует писатель.

Общее стремление и готовность к протесту в среднем и низшем классах! Это ли не залог успеха в борьбе за новые общественные отношения? Сам критик понимает, что в этом общем чувстве громадной части людей «уже открывается выход из горького положения загнанных и забитых» людей.

Следовательно, в своей статье Добролюбов выполняет не только разрушительную функцию, критикуя современные отношения людей, но и положительную, организационную. Силе старого порядка противостоит общество, вышедшее из младенческого возраста, средние и низшие классы которого ищут выхода для себя и готовы на борьбу. Все недовольные своим положением, следовательно, должны объединиться. Но критик понимает, что «собственными усилиями» они ничего еще не могут сделать. Нужны люди более сильные, еще не униженные и не разбитые до сознания своего ничтожества, а понимающие положение дел. Эти люди, «имеющие достаточную волю инициативы», должны воспользоваться положением «забитых людей», их правом на «жизнь и счастье», чтобы добиться всеобщего удовлетворения естествен-

[1] Том V, стр. 204.

ных потребностей, чтобы уничтожить общество, существующее на основе «установившейся иерархии», торжествующей на принципах собственности и законности. Иначе, критик звал людей инициативы, революционеров, объединить общее недовольство в общий протест, разрушить навсегда собственность и пресловутую законность, поддерживающую «иерархию» и защищающую ее, а на развалинах старого общества создать новый порядок общечеловеческих отношений, социалистическое общество. Он звал революционно настроенное молодое поколение, «имеющее в себе достаточную волю инициативы», то есть революционной решимости, «вникнуть в положение дела». Он указывал, что «полезно знать, что большая часть этих забитых, которых они считали, может быть, пропавшими и умершими нравственно, все-таки крепко и глубоко хранят в себе живую душу и вечное и неисторжимое никакими муками сознание своего человеческого права на жизнь и счастье. Иначе, революционеры-демократы должны обратить серьезное внимание на низшие, задавленные слои мелкой буржуазной интеллигенции. Это нужный материал для борьбы. Как мрачно и безнадежно ни описывал своих героев Достоевский, разделив их на «кротких и ожесточенных», критик нашел, что «Макар Алексеевич для своего образования является слишком метким оценщиком и противоречий официальных основ жизни с ее действительными требованиями», Голядкин «сходит с ума совершенно по тем же общим причинам,— вследствие неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения».

Критик считает, что роман Достоевского «Униженные и оскорбленные» не настолько художественен, чтобы он мог быть «предметом подробного эстетического разбора». Заслуги художника в другом — в том, что «он открывает, что слепой не совсем слеп; он находит в глупом человеке проблески самого ясного здравого смысла; в забитом, потерянном, обезличенном человеке он отыскивает и показывает нам живые, никогда не заглушаемые стремления и потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души затерянный протест личности против внешнего, насильственного давления»[1]. Политик не должен гнушаться этой массы, он должен суметь использовать каждую искру протеста, раздуть ее из-под пепла.

Достоевский показал общественную группу «забитых людей». Не видя выхода из тупика жизни, художник своих героев умертвил, свел с ума. Добролюбов поправил художника. Он подтвердил выводы художника, что жизнь действительно полна «забитыми людьми», что их несчастье глубоко, оно коренится в самой

[1] Том V, стр. 165.

основе общественного порядка и всей цивилизации вообще. Но, поскольку в среднем и низшем классе, несмотря на все, сильна готовность на протест, люди инициативы, революционеры должны использовать этот общий протест, чтобы стереть с лица земли собственническую цивилизацию и государство привилегированных классов, а взамен создать новое общество, в котором процветали бы «естественные» отношения людей, не было бы богатых и бедных, командующих и подчиненных. Как это сделать, покажет жизнь: она намечает пути борьбы и приоткрывает перспективы победы, жизни вне «установившейся иерархии». Решительно разорвав с либералами, Добролюбов намечает союз со всеми угнетенными, со «средним классом».

Профессор Е. В. Аничков, различая в критический деятельности Добролюбова два периода, указывая, что статья «Забитые люди» относится ко второму периоду, упрекает критика в том, что он, в сущности, повторяет старые мысли, высказанные в предыдущих статьях. Аничков пишет: «Конечно, надо было повторять все то же. Эта драма между людьми «забитыми» и «сильными» и есть основная драма жизни, и в особенности русской жизни. Но разве только это в произведениях Достоевского, хотя бы того времени? Разве дело в этой слишком элементарной проблеме, а не в ее художественном и философско-психологическом понимании, таком различном у Островского и у Достоевского? Мысль Добролюбова, как критика, перестала развиваться» [1].

Профессор Аничков обнаруживает величайшее непонимание Добролюбова. Он не усвоил основной мысли критика, что как в художественном творчестве, так и в критике надо искать прежде всего «практических» указаний к общественной борьбе. Эти указания критик нашел и у Островского и у Достоевского. Правда, в «Забитых людях» много мыслей, высказанных ранее, но отсюда нельзя делать вывод, что мысль критика остановилась в своем развитии. Проф. Аничков хочет, чтобы критик остановил свое внимание на художественной и философско-психологической стороне. Тут между Островским и Достоевским, действительно, глубокая разница, но ведь критик и художественность, и философию, и психику всегда разбирал и разбирает в данном случае в свете социологическом, и только в нем, в свете классовой борьбы сильных и слабых. Для проф. Аничкова это была элементарная проблема, которую он задвигал на задний план, ставил после философско-психологической. Для нас, как и для Добролюбова, это не элементарная проблема, а самая насущная проблема. Ве-

[1] Том V, стр. 8. Вступительный очерк. «Последние критические статьи».

личайшая заслуга критика именно в том и состоит, что он искал разрешения этой проблемы в творчестве Достоевского, не ушедши в разбор художественности, философских взглядов автора и психологических переживаний его героев. Как всегда, критик сумел от отдельных характеров подняться до широкого обобщения, от Девушкина и Голядкина, Ихменева он поднялся до протеста среднего класса. Эта мысль, особенно по тем временам, далеко не элементарна. Наоборот, она оказалась не по силам даже проф. Аничкову, выпускавшему сочинения Добролюбова в десятых годах XX столетия. Конечно, между героями Островского и Достоевского глубокая разница как в их общественном положении, так и в их взглядах и настроениях. Можно сожалеть, что критик не провел общественной параллели между этими двумя общественными группами. Параллель несомненно была бы интересна и глубоко поучительна. Сожалеть можно, можно даже строить всякого рода гипотезы о том, почему критик не сделал этого: потому ли, что он был сильно болен и у него не хватало физических сил или времени, или почему-либо еще, но нет никаких оснований говорить о приостановке развития мысли критика. В самом высшем обобщении социалистические выводы из разбора комедий Островского и повестей Достоевского тождественны: нарастает общий протест угнетенных классов против командующих классов. Этот протест — залог победы, и люди революции должны этот протест оформить, превратить в крепкий удар против самодержавно-крепостнического строя и создать социалистическое общество. Нельзя забывать и того, что Добролюбов писал свою статью о Достоевском, уже стоя одной ногой в гробу, разбитый, замученный своим недугом и тяжестью жизни, из которой так мучительно и так страстно он искал выхода. Наконец, повести Достоевского и не давали критику материала для каких-либо новых политических выводов. Разменивать же общую, основную политическую задачу на частные Добролюбов, как революционер, не мог, — это не соответствовало его политическим взглядам; весь прогресс русской жизни он обусловливал разрушением самодержавно-крепостнического порядка.

Вздор пишет проф. Аничков и об эстетических установках Добролюбова. Добролюбов их не изменил. Аничков пересказывает критика: «Художник умеет уловить в каждом предмете что-нибудь близкое и родственное своей душе». «Наблюдательность, верное отображение и отсюда возможность судить о жизни через посредство искусства». Действительно, и Чернышевский и Добролюбов строили свою эстетику на этих двух основных принципах. Однако проф. Аничкову мы должны заметить, что он взял не самые яркие и точные формулировки. Но дело не в словах, а в общем смысле. Проф. Аничков думает, что впоследствии, во вто-

рой период, Добролюбов отошел от этих принципов, потребовав у художника слова повестей и романов-притч! Это решительно ниоткуда не видно. Как раз критик хвалит писателя и за его наблюдательность и за верное изображение; критик ценит автора за то, что он уловил «во всяком предмете» близкое и родственное своей душе. У Достоевского есть общественный идеал: «каждый человек должен быть человеком и относиться к другим, как человек к человеку». Глубже эту формулу критик не расшифровывает. В данном случае это ему и не нужно было. Он принимал у Достоевского общую постановку задачи, ни в какой мере не разделяя его конкретных социальных взглядов. Достоевский нужен был Добролюбову только одной стороной своего творчества.

В своем творчестве Достоевский излил душу, отразил свою боль о человеке, который признает себя «не в силах или даже не в праве быть человеком настоящим, полным, самостоятельным, человеком самим по себе». Критик слишком верен своим методологическим установкам, уклоняясь от эстетической критики, указывая, что Достоевский дал одну общую черту, а «не всю глубину жизненной правды», на что у него не хватило дарования и в силу чего его рассказы нуждаются в дополнениях и комментариях. Естественно возникает вопрос: как же это проф. Аничков не доглядел такой простой вещи? Подобные происшествия бывают нередко, и зависят они от взгляда, впадающего в ошибку. Добролюбов был последователен и верен себе до последней статьи. Аничков же не понял того, что критик разумел под «душой» художника, упустил из виду, что эта «душа» изменяется в зависимости от целого ряда социальных условий. Под «душой» художника критик разумел его мировоззрение, его политические взгляды. Истинными художниками он считал тех, которые отстаивают интересы народа и которым доступен «общий таинственный смысл жизни», а творчество других художников, поддерживающих «искусственные отношения» людей, хотя бы они субъективно и не лгали, объективно ложно, потому что им недоступен «общий таинственный смысл жизни». Действительно, за последние годы своей литературной деятельности Добролюбов много говорил о мировоззрении художника и этим мировоззрением, «душой» художника обусловливал достоинство творчества. Никакого отступления от прежних принципов эстетики нет; нет и никаких новых эстетических установок. Просто критик, в силу определенных политических задач, требовал большей определенности от «души» художника, требовал, чтобы взгляды писателя отвечали народным интересам, интересам революционной демократии. Эстетическая установка осталась прежняя; видоизменилось, стало настойчивее и определеннее требование «души» художника, но это уже вопрос другой, вопрос мировоззрения, по-

литики, но не чистой эстетики, о которой пишет проф. Аничков. Добролюбов стал более приближаться к классовой точке зрения, а проф. Аничков этого не понял, увидев в росте социального сознания критика остановку в развитии и требование тенденциозных притч, хотя от такого требования предостерегал сам Добролюбов. В статье «Забитые люди» он писал: «Не говорю, чтобы художник задавал себе задачу, а чтоб у него отразилась, разрешилась она сама собою, хотя бы неведомо для него, а то опять скажут, что я навязываю художнику утилитарные темы»[1]. Запутался проф. Аничков потому, что он оказался эклектиком, либералом. Этот человек должен был бы современную пролетарскую литературу считать насквозь тенденциозной притчей, а самих писателей людьми, которые не только остановили развитие эстетики, но и на много отстали от сделанных ранее завоеваний. Мы же думаем, что пролетарская литература, при всех своих чисто эстетических недостатках, постигает «общий таинственный смысл жизни», ведет человечество к коммунизму, и в этом ее общественная значимость. Такая постановка вопроса либералу Аничкову совершенно недоступна.

Добролюбов к концу своей жизни не изменил ни своим политическим, ни эстетическим взглядам, истинного художества не подменивал тенденциозными притчами; он только, как идеолог крестьянской революции, в полном согласии с «таинственным смыслом» жизни, требовал, чтобы литература служила этой крестьянской революции, а не господствующим классам. В этом смысле он был тенденциозен, но это была здоровая тенденция, согласованная с ходом истории. За это мы любим и чтим критика. Это не было извращение действительности в угоду предвзятой идее, как думает проф. Аничков. В силу своей классовой либеральной установки проф. Аничков сам в высшей степени тенденциозно подошел к Добролюбову, снижая его работы второго периода. Мы же констатируем: поскольку Добролюбов стал сближать содержание литературы с интересами крестьянской революции, он поднялся на самую высшую ступень общественного сознания, на какую только можно было подняться в условиях тогдашней действительности.

Проф. Аничков закончил свой очерк «Последние критические статьи» словами: «Различие между прежними и последующими взглядами Добролюбова и сводится к тому, что мерку, основанную на внутреннем чувстве правды, заключающейся в художественных произведениях, он применил к рассказам-притчам. Тут расхождение публицистики и художественной критики в тесном смысле». Бедная либеральная мысль! Она никак не могла понять, что

[1] Том V, стр. 145.

у Добролюбова и публицистика и художественная критика в тесном смысле составляли единое, органически целостное, стройное, что и устраняло всякие противоречия и расхождения. Они были только в голове либеральствующего профессора, но не в практике революционера-критика Добролюбова. Свою политическую ограниченность и методологическую беспомощность вскрывает проф. Аничков сам, конечно, не подозревая этого. Он пишет: «Вывод из последних статей Добролюбова был и мог быть только один: признание законности направленства в произведениях искусства. И мало того, только шаг от того, чтобы сказать: направление важнее, чем художественное совершенство». Профессор хотел подчеркнуть односторонность и ограниченность Добролюбова. Бедный! Он забыл, что, как писал Огарев Грановскому, «Esprit de partie еще не есть односторонность, точно так же, как терпимость не есть многосторонность». В своей профессорской мудрости Е. Аничков и не подозревал, что он возносил Добролюбова на пьедестал и приближал его к тем, кто литературное творчество и литературную критику рассматривает в свете классовой борьбы, что не дано либеральному мышлению, блуждающему в эмпиреях абстрактного идеализма.

VI

Литературно-критическая деятельность Добролюбова, как видит читатель, сводилась к тому, чтобы вскрыть весь ужас самодержавно-крепостнического строя, вызвать к нему острую ненависть и стремление его разрушить. Нужны были соответствующие силы. Где они? Либералы и реформаторы пусты, жалки; они способны говорить, но не делать. Классовые интересы не позволяют им итти с народом; они изменяют ему, идя на соглашение с существующим порядком. Этот порядок может разрушить только сам народ, своими силами, привлекая к борьбе всех обездоленных, угнетенных, оскорбленных и униженных. Сильный существующий порядок таит в себе разложение. Забитый народ хранит зреющие силы; в нем растет протест. Но нужны люди, которые сумели бы этот протест и эти зреющие силы объединить и поднять на борьбу. Эти люди уже идут в жизнь. Это — революционная демократия. Под знаменем крестьянской революции она сотрет самодержавно-крепостнический строй, и при политических свободах демократической республики можно будет поднять борьбу на высшую ступень, то есть развернуть борьбу за социалистическое общество.

Ф. Энгельс писал: «Социалистический тенденциозный роман *целиком* (подчеркнуто нами. — *В. П.*) выполняет, на мой взгляд, свое назначение, добросовестно изображая реальные отношения,

разрывая господствующие условные иллюзии о природе этих отношений, расшатывая оптимизм буржуазного мира, вселяя сомнение по поводу неизменности основ существующего порядка,— хотя бы автор и не предлагал при этом никакого определенного решения и даже иной раз не становился явно на чью-либо сторону».

Тем более «целиком выполнила свое назначение» критика Добролюбова; он не только звал к крестьянской революции, не только организовывал силы революции, но и всегда предлагал «определенные решения», всегда явно становился на сторону угнетенных масс крестьянства не только против открытых угнетателей, но и всех тех, у кого «было всегда стремление укоротить активность масс и отстоять кусочек привилегий помещиков, вроде выкупа и так далее» *(Н. Ленин)*.

Сила и величие революционера-демократа Добролюбова не только в его гениальности, остроте, широте и глубине политической мысли, не только в его литературном таланте, но и в его железной, непоколебимой революционной последовательности, в органическом слиянии слова с делом.

После его смерти Н. Г. Чернышевский писал: «О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих!»

Недаром тов. Ленин в своей политической борьбе не раз с глубокой любовью вспоминал имена Чернышевского и Добролюбова, подчеркивая, что мы не можем отказываться от их идейного наследства.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

Аксаков С. Т. — 178, 253.
Александр II — 25, 29, 278, 322.
Александрович В. — 222.
Алексеев П. А. — 312.
Алексей Михайлович, царь — 121, 122.
Алмазов Б. Н. — 212.
Анастасевич В. Г. — 39.
Аничков Е. В. — 104, 334—338.
Анненков П. В. — 11, 13, 75, 312, 324.
Анненский Н. Ф. — 166.
Антонович М. А. — 13, 42, 56, 59.
Аскоченский В. И. — 291.
Афанасьев А. Н. — 207.

Бабеф Ф. Н. — 58.
Бабст И. К. — 169.
Байрон Д.-Г. — 120, 202, 212, 234.
Бакунин М. А. — 7.
Бальзак О. — 8.
Бардина С. И. — 312.
Батюшков К. Н. — 217.
Бауэр Бруно — 9, 73, 76, 78, 80, 81, 87.
Бебель А. — 109.
Бекетов В. Н. — 13, 51.
Белинский В. Г. — 9, 11, 12, 18, 22, 25, 33, 43, 45—49, 51, 62—65, 73—77, 107, 108, 120, 123, 152, 161, 167, 171, 187, 192—194, 198, 206, 208, 215, 227, 228, 259, 271, 273.
Беранже П.-Ж. — 204, 220.
Берви В. (Флеровский) — 71, 82.
Берлинер Г. — 49.
Бетховен Ф. — 8.
Бибиков П. А. — 44, 77.
Благовещенский Н. М. — 39.
Благообразовы — 54.
Богданович И. Ф. — 8.
Богучарский В. Я. — 192.
Бордюгов И. И. — 22, 29, 32, 63.
Боткин В. П. — 11, 63, 75, 195, 222, 322.
Брайт Д. — 163.
Булгарин Ф. В. — 27.
Булыгин П. — 33.
Бурбоны — 51, 141—143, 149, 154.
Бюхнер Ф. — 71.

Вайян Э. — 109.
Васильков Ф. А. — 16, 18.
В. В. (Воронцов В. П.) — 186.
Вельтман — 37.
Веневитинов Д. В. — 61.
Виктор-Эммануил — 142.
Вовчек Марко (Маркович М. А.) — 143, 145, 216, 234.

Гавацци А. — 141, 142, 152, 153, 176.
Гагарин И. С. — 30.
Галахов С. П. — 9, 28.
Гарибальди Д. — 142, 143, 152, 153, 156, 175.
Гаркнес М. — 224.
Гегель Г. В. — 47, 71—74, 79, 87, 99, 101, 102, 107, 220.
Гейне Г. — 219, 220.
Герцен А. И. — 5, 9, 11, 27, 28, 33, 63, 73—75, 77, 96, 97, 162, 165, 170, 176, 187, 238, 290, 324.
Гете В. — 202, 212, 213, 234.
Гизо Ф. — 117, 118, 120.
Гоголь, Н. В. — 8, 18, 37, 48, 209, 217, 220—222, 227, 237, 244, 258, 273.
Голицын А. П. — 30.

Гончаров И. А. — 11, 104, 150, 194, 204, 229, 230, 283—285, 289, 293, 295, 296, 310, 314, 331.
Гораций — 8, 219.
Гракхи — 58.
Грановский Т. Н. — 144, 338.
Греч Н. И. — 9, 27.
Грибоедов А. С. — 49.
Григорович Д. В. — 11, 36.
Григорьев А. А. — 271, 272, 291, 292, 308.
Гринвальд Т. К. — 63, 66.

Давыдов И. И. — 58, 257.
Даниэльсон Н. Ф. (Николай-он) — 6, 186.
Данте Алигиери — 202, 234.
Делицын — 36.
Дельвиг А. А. — 252.
Делянов И. Д. — 50.
Державин Г. Р. — 8, 209, 217.
Дидро Д. — 6.
Дорфгут Ф. — 74.
Достоевский Ф. М. — 13, 37, 91, 204, 219, 241, 244, 326—330, 332—336.
Дружинин А. В. — 12, 48.
Дюбуа-Реймон Э. — 71.
Дюма А. — 8, 38.

Елисеев Г. З. — 13.

Жадовская Ю. В. — 254, 256.
Жанлис С.-Ф. — 8.
Жеребцов Н. А. — 118, 133, 183.
Жорж Санд — 8.
Жуковский В. А. — 16.

Зайцев В. А. — 47, 146.
Зарин Е. Ф. — 6.
Засулич В. И. — 34.
Зеленецкий К. П. — 257.
Зепон — 61.
Златовратский А. П. — 22.

Иванов И. И. — 34.
Иванов-Разумник Р. В. — 75.
Иеремия архиерей — 18.
Искандер — см. Герцен А. И.

Кавелин К. Д. — 5, 46, 53.
Кавур К.-Б. — 46, 47, 51, 152—154, 156, 172, 173, 175.
Кант И. — 98.
Каракозов Д. В. — 11.
Карамзин Н. М. — 209, 217, 254, 258.
Катков М. Н. — 114.
Катон — 61.
Каутская М. — 224.
Качоровский К. Р. — 166.
Ковалевский — 50.
Кокорев И. Т. — 143, 204, 216, 245.
Колошин С. П. — 212.
Кольцов А. В. — 36, 204, 208, 210, 220, 221, 240, 252, 253.
Костров М. А. — 14.
Котляревский Н. А. — 32, 34.
Кошанский Н. Ф. — 257.
Кривенко С. Н. — 187.
Крылов А. М. — 55.
Кудринский Ф. — 14, 36.
Кусков П. А. — 86.

Лавров П. Л. — 312.
Лаврский В. В. — 8, 18, 26, 76, 77.
Лакиер А. — 180, 184.
Лассаль Ф. — 234.
Левицкий Г. (Цедербаум В. О.) — 34.
Ленин В. И. — 34, 35, 44, 53, 74, 87, 93, 109, 130, 163, 165—168, 187, 288, 325, 339.
Лермонтов М. Ю. — 8, 38, 48, 209, 217, 220, 253, 255.
Леру П. — 100.
Лессинг Г.-Э. — 6, 7.
Либих Ю. — 71, 85.
Либкнехт В. — 109.
Литре — 39.
Ломоносов М. В. — 218.
Людовик XVI — 174.
Ляцкий Е. А. — 50.

Маркс К. — 6, 81, 85, 87, 89, 97—99, 105, 109, 124, 134, 137, 165, 187, 226, 232, 234.
Мартов Л. (Цедербаум Ю. О.) — 35.
Маццини Д. — 156.
Медем Н. В. — 50.
Мерзляков А. Ф. — 252, 256.
Миллер О. Ф. — 195.
Милль Д.-С. — 6.
Милюков П. Н. — 33.
Минин Козьма — 48.
Михайлов М. И. — 13.
Михайловский Н. К. — 187.
Молешотт Я. — 71.
Монталамбер Ш. — 154—156.
Монтескье Ш. — 8.
Моцарт В.-А. — 8.

Надимов — 238.
Наполеон III — 153—155.
Нарежный В. Т. — 8.
Неведомский М. (Миклашевский М. П.) — 34.
Некрасов Н. А. — 7, 11—13, 30, 38, 40, 50, 77, 306, 323.
Нелединский-Мелецкий Ю. А. — 252.
Никитин И. С. — 208, 209, 253, 254.
Николадзе Н. Я. — 31.
Николай-он — см. Даниэльсон Н. Ф.
Николай I — 22, 140.

Обручев В. А. — 31.
Овсянико-Куликовский Д. Н. — 56, 166, 193.
Огарев Н. П. — 143, 144, 166, 253, 338.
Окен Л. — 71.
О'Коннель Д. — 154.
Оливье Д. — 163.
Островская Н. А. — 32, 62, 242.
Островский А. Н. — 11, 48, 52, 104, 194, 204, 235, 244, 257, 262—264, 270—275, 277—279, 282, 283, 298—302, 305—310, 327, 331, 334, 335.
Оуэн Р. — 114, 135—137.

Паисий иеромонах — 15, 18.
Пальмерстон Г.-Д. — 46.
Панаев И. И. — 11, 13, 38, 39, 50, 53, 54, 322.
Панаева Е. Я. — 12, 13.
Паприц Е. — 6.
Пекарский П. П. — 50.
Петр I — 121, 122, 129, 139, 144, 181, 183.
Печерин В. С. — 30.
Пещурова Л. Н. — 66.
Пиотровский И. А. — 31.
Писарев Д. И. — 33, 43, 108, 146, 159, 201, 220, 235, 307, 308.
Писемский А. Ф. — 11, 37.
Платон — 71, 200.
Плеханов Г. В. — 73, 74, 98, 104—106, 108, 130, 134, 136, 165, 166, 264, 265.
Плещеев А. Н. — 58, 191, 204, 236.
Плюшар А. — 8.
Погодин М. П. — 212.
Полежаев А. И. — 59, 242.
Полонский Я. П. — 11.
Помяловский Н. Г. — 13.
Поп А. — 8.
Поржницкий И. И. — 22, 25.
Посошков И. Т. — 218.
Потапов А. Л. — 31.
Протопопов М. А. — 42, 43, 191.
Пугачев Е. И. — 144, 159.
Пушкин А. С. — 11, 48, 209, 210, 212, 217, 221, 235, 253, 255.
Пыпин А. Н. — 13, 40, 46.

Радонежский А. — 17, 22, 38, 55, 56.
Разин Степан — 144, 159.
Расин Ж.-Б. — 257.
Растопчина Е. П. — 37.
Ратклиф — 8.
Рахманинов — 50.
Решетников Ф. М. — 13.
Романовы — 51, 141, 142.
Ротшер — 193.
Руге А. — 9, 234.
Руссо Ж.-Ж. — 9.

Саллюстий — 129, 183.
Салтыков М. Е. (Н. Щедрин) — 13, 35, 124, 160, 203, 204, 238, 246, 248, 292, 312.
Сен-Симон К.-А. — 97.
Серно-Соловьевич Н. А. — 278.
Сидоров — 22.
Скабичевский А. М. — 60.
Славутинский С. Т. — 204, 205, 216, 245.
Сладкопевцев И. М. — 8, 55.
Сологуб В. А. — 248, 260.
Соловьев Н. И. — 47.
Сопиков В. С. — 39.
Софья, царевна — 122.
Спешнев Н. А. — 58.
Срезневский И. И. — 39, 53.
Станкевич Н. В. — 48, 61, 65, 95, 120.
Страхов Н. Н. — 193.
Сциборский Б. Н. — 9, 22—25, 57.

Татаринова Н. А. — см. Островская Н. А.
Толстой Л. Н. — 11, 12, 48.
Трубецкой В. А. — 8.
Тургенев И. С. — 11—13, 35, 39, 45—48, 51, 53, 65, 162, 193—195, 204, 216, 227, 248, 251, 290, 310—313, 315, 316, 318, 319, 321—325, 331.
Турчанинов Н. П. — 22.
Тютчев Ф. И. — 36, 244.

Улыбышев А. Д. — 8.
Успенский Н. В. — 205.

Устрялов Н. Г. — 116, 119, 120.
Утин Б. И. — 50.

Фавр Ж. — 163.
Федоров К. — 38.
Феербах Л. — 9, 18, 47, 49, 65, 72—82, 84, 87—99, 101—103, 105, 107—109, 123, 135, 138, 185, 205, 206, 226, 232, 315, 328.
Фет А. А. — 11, 195, 222, 227, 244.
Филиппов М. А. — 60.
Фихте И.-Г. — 47.
Фохт К. — 71.
Фурье Ш. — 97.

Хомяков А. С. — 212.

Цыганов Н. Г. — 252, 256.

Чаадаев П. И. — 30.
Чернышевский Н. Г. — 5—7, 9—15, 19, 22, 23, 25—27, 31, 33, 35, 38, 40—43, 45, 48—50, 53, 57, 59, 62—67, 73—77, 88, 93, 96, 98—103, 107, 108, 114, 123, 148, 152, 159, 161, 164—167, 170, 186, 187, 191, 193, 205, 206, 290, 322—325, 335, 339.
Чистяков М. Б. — 257.
Чичерин Б. Н. — 33.

Шамиль — 38.
Шейдеман Ф. — 35.
Шекспир В. — 202, 234, 258.
Шелгунов Н. В. — 192.
Шеллинг Ф.-В. — 47, 71.
Шемановский М. И. — 22, 29, 30.
Шиллер Ф. — 212.
Шишков А. С. — 172.
Штраус Д.-Ф. — 9, 73, 76, 78, 80, 81, 87.

Щапов А. П. — 186.
Щеглов Д. Ф. — 17, 19, 22—25, 28.
Щедрин Н. — см. Салтыков М. Е.
Щепотьева Феничка — 15, 62.

Эдельсон Е. Н. — 212.
Энгельс Ф. — 6, 7, 72, 81, 82, 87—89, 97—99, 105, 124, 137, 165, 219, 224, 234, 246, 247, 338.
Эрлиб (Добролюбов Н. А.) — 6.

Южаков С. Н. — 187.
Юлий Цезарь — 129, 183.

Якубович П. Ф. — 311.

ВЕЧЕРН... ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
193 г.
№ 11951
Новосибирск

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Глава первая

Путь развития Н. А. Добролюбова. Основные биографические сведения. От православной веры к атеизму. От консервативной безответственности и законности к революции и социализму. От ученического журнала к редакторству «Современника». Добролюбов как тип революционной демократии 5

Глава вторая

Философские взгляды Н. А. Добролюбова. Знакомство с философией Л. Фейербаха. Взгляд на религию. Проблема духа и материи, бытия и мышления. Теория разумного эгоизма и вопросы совести. Основы эстетики. Выводы 71

Глава третья

Общественно-политические взгляды Н. А. Добролюбова. Роль идеи и личности в историческом процессе. Классовая борьба в истории. Социализм. Характеристика общественного состояния и классовых сил России. Россия и Западная Европа. Выводы 113

Глава четвертая

Литературно-критические взгляды Н. А. Добролюбова. Критика „по поводу". Литература и наука. Литература определяется направлением жизни. Литература и действительность. Критика „чистого искусства". Классовый характер литературы. Художественное произведение и идея. Литература как средство пропаганды. Правда художественного произведения; Писатель и „естественные стремления народа. Поэтическое чувство и предмет его. Реальная критика. Выводы 191

Глава пятая

Политический смысл литературно-критической деятельности Н. А. Добролюбова. Комедии Островского—символ русской общественной жизни. „Обломов" и русский либерализм. „Гроза"—символ революционного пробуждения народов. „Накануне" и восстание против самодержавно-крепостнического строя России. „Забитые люди" и всеобщее стремление к счастью Выводы 269

Указатель имен 341

н. 547

Редактор С. И. Кавтарадзе
Технический редактор Н. И. Гарвей
Коррек. В. Казанский и Л. Покровская
Переплет А. П. Радищева

★

Заказ Изд-ва № 956. Тираж 10.000
Уполномоченный Главлита Б 13298
Сдано в набор 9 октября 1935 г.
Подп. к п. 23 января 1936 г.
Форм. бум. 62×94 в 1/16
Красно-Вишерского
бумаж. к-та им.
Менжинского
Зак. тип.
547.
21 3/4 п. л.

★

Цена 4 р. 75 к.
Переплет 1 р. 25 к.